

Алис Зенитер

ИСКУССТВО ТЕРЯТЬ

Самый ожидаемый
роман 2021 года

по версии

The New York Times,
The Millions и *Forbes*

Лауреат

Гонкуровской
премии
лицеистов

Лауреат премии

Le Monde



- Часть третья

- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••
- •••

- Благодарности

- notes

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)

- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)

- [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
-

Алис Зенитер

Искусство терять

© Editions Flammarion, Paris, 2017

© Нина Хотинская, перевод на русский язык, 2021

© Livebook Publishing, оформление, 2021

Пролог

Вот уже несколько лет Наима осваивается с новой бедой: с той, что теперь всегда приходит с похмельем. Нет, не просто болит голова, сохнет во рту, крутит и не работает желудок. Когда она открывает глаза наутро после вечеринки, где было слишком много выпито (пить теперь приходится реже, не дай бог, чтобы беда настигала ее раз в неделю, тем более два), ее первая мысль:

У меня не получится.

Поначалу она недоумевала, что это за ожидающий ее неминуемый провал. Фраза могла означать, что стыд наконец станет нестерпимым – ибо ей каждый раз стыдно за вчерашнее (ты слишком громко разговариваешь, врешь напропалую, ищешь всеобщего внимания, ты вульгарна), или сожаление – столько пьет и не знает меры (это ведь ты крикнула: «Эй, да вы что, не пойдем же мы баиньки, еще рано!»). Или фраза напоминала о ее физическом недомогании, ломоте... А потом она поняла.

В эти дни похмелья она как никогда чувствует, до чего ей трудно быть живой – обычно усилием воли удается это скрывать.

У меня не получится.

Глобально. Подниматься каждое утро. Есть три раза в день. Любить. Больше не любить. Расчесывать волосы. Думать. Двигаться. Дышать. Смеяться.

Бывает, что она не может этого скрыть, и признание вырывается, стоит ей войти в галерею.

– Как самочувствие?

– У меня не получится.

Камель и Элиза смеются или пожимают плечами. Они не понимают. Наима смотрит, как они снуют по выставочному залу, чуть медленнее двигаясь из-за вчерашних излишеств, – им незнакомо это раздавившее ее откровение: повседневная жизнь – спортивная дисциплина высокого уровня, и ее только что дисквалифицировали.

Ничего не получается, и в дни похмелья ничем заниматься нельзя. Хорошее в них может только испортиться, а плохое, не встретив никакого сопротивления, разрушит все изнутри.

Единственное, что могут стерпеть дни похмелья, это тарелки макарон с кусочком масла и солью: отвальное количество и нейтральный, почти неощущаемый вкус. И еще телесериалы. Критики много говорили в последние годы о том, что на наших глазах произошла необычайная метаморфоза. Что телесериал-де возвысился до ранга произведения искусства. И это поразительно.

Может быть. Но никто не разубедит Наиму, что на самом деле телесериалы существуют для ее похмельных воскресений, которые надо ухитриться заполнить не выходя из дома.

Назавтра каждый раз происходит чудо. Возвращается кураж, и можно жить. И кажется, что ты на что-то способен. Словно заново рождаешься. Наверно потому, что это завтра есть, она все еще пьет.

Есть завтра после попойки – бездна.

И есть завтра после завтра – счастье.

Из их чередования проистекает хрупкость, с которой приходится без конца бороться, – это и есть жизнь Наимы.

Сегодня утром она по обыкновению ждет следующего утра и, как козочка господина Сегена, не чает дожидаться восхода солнца.

Время от времени козочка господина Сегена смотрела на звездный хоровод в светлеющем небе и думала: «Ах, только бы продержаться до рассвета...» [\[1\]](#)

А потом, когда взгляд ее погасших глаз теряется в черноте кофе, в котором отражается потолочный светильник, вторая мысль проклевывается рядом с этой привычной мыслью – со злым паразитом: «У меня не получится». Это прореха, в каком-то смысле перпендикулярная первой.

Сначала мысль мелькает так быстро, что Наима не успевает ее распознать. Но в дальнейшем она начинает яснее различать слова:

«...знаешь, что делают ваши дочери в больших городах...»

Откуда взялся этот обрывок фразы, отчего он так настойчиво крутится у нее в голове?

Она уходит на работу. Днем другие слова налипают на первый фрагмент:

«носят брюки»,

«пьют спиртное»,

«ведут себя как шлюхи».

«Чем, по-вашему, они занимаются, когда говорят, что учатся?»

И если Наима отчаянно пытается доискаться, как она связана с этой сценой (в ее ли присутствии были сказаны эти слова? или она слышала их по телевизору?), все, что ей удается извлечь на поверхность больной памяти, это сердитое лицо ее отца Хамида – брови сдвинуты, губы сжались, удерживая крик.

«Ваши дочери носят брюки»,

«ведут себя как шлюхи»,

«они забыли, откуда родом».

Лицо Хамида, застывшее маской гнева, накладывается на фотографии шведского художника, висящие в галерее вокруг Наимы, и каждый раз, куда ни повернет голову, она видит его – парящим на фоне белой стены, в ничего не отражающих стеклах, которыми прикрыты экспонаты.

– Это Мохамед сказал на свадьбе Фатихи, – сообщает ей по телефону сестра в тот же вечер. – Ты не помнишь?

– И он говорил о нас?

– Не о тебе, нет. Ты была маленькая, кажется, еще ходила в колледж. Он говорил обо мне и двоюродных сестрах. Самое смешное...

Мирием смеется, и ее хихиканье смешивается с потрескиванием в трубке на междугородней линии.

– Что?

– Самое смешное, что он был в стельку пьян, когда решил дать нам всем серьезный урок мусульманской морали. Ты правда ничего не помнишь?

Наима роется в памяти, терпеливо и ожесточенно, и ей удается извлечь фрагменты картинок: бело-розовое платье Фатихи из блестящей синтетической ткани, палатка в саду банкетного зала, где наливали вино, портрет президента Миттерана в мэрии (он слишком стар для этого, подумалось ей тогда), слова песни Мишеля Дельпеша [\[2\]](#) про Луар-и-Шер, зардевшееся лицо матери (Кларисса

краснеет от бровей, ее детей это всегда смешило), лицо отца, мучительно искаженное, и, наконец, слова Мохамеда – теперь она видит его, пошатывающегося среди гостей белым днем, в бежевом костюме, который его старил.

Что, по-вашему, делают ваши дочери в больших городах? Они говорят, будто уезжают учиться. Но посмотрите на них: они носят брюки, курят, пьют, ведут себя как шлюхи. Они забыли, откуда родом.

Уже много лет Наима не видела Мохамеда на семейных трапезах. Она никогда не связывала отсутствие дяди с этой сценой, вдруг всплывшей в памяти. Она просто думала, что он наконец начал взрослую жизнь. Он долго жил в родительской квартире, этакий силуэт великовозрастного подростка – в бейсболке, в флуоресцентной тренировочной куртке, безработный и разочарованный. Смерть Али, его отца, дала ему прекрасный повод продолжать в том же духе. Мать и сестры звали его первым слогом имени, растянутым до бесконечности, крича из комнаты в комнату или из окна кухни, когда он ошивался на скамейках у спортивной площадки:

– Мооооооооооооо!

Наима помнит, что, когда она была маленькой, он иногда проводил у них уик-энд.

– У него сердечные неурядицы, – объясняла Кларисса дочерям с почти медицинским сочувствием человека, живущего в такой долгой и безоблачной любви, что стерлись, кажется, даже воспоминания о сердечных неурядицах.

Мо, в пестрой одежде и высоких кроссовках, всегда казался Наиме и ее сестрам немного смешным, когда гулял по большому родительскому саду или сидел в беседке со старшим братом. Теперь, вспоминая его – и сама не зная, что придумывает сейчас, восполняя пробелы в памяти, а что придумала тогда, в отместку за то, что ее не допускали к взрослым разговорам, – она понимает, что ему было плохо не из-за несчастной любви, а по совсем другим причинам. Ей кажется, будто она слышит, как он говорит про свою загубленную юность, про пиво и дурь. Слышит, как он говорит, что ему нельзя было бросать лицей, а может быть, это Хамид или Кларисса позволяют себе судить

задним числом. Еще он говорит своему брату, что их пригород в 1980-е годы уже не имел ничего общего с тем, который помнил Хамид, и нельзя осуждать его за то, что он не поверил в перспективы. Наима, кажется, видела, как он плакал под темными цветами ломоносов, а Хамид и Кларисса шептали что-то, успокаивая его, но она ни в чем не уверена. Много лет она не думала о Мохамеде (ей часто случается составлять про себя список своих дядей и тетей, исключительно чтобы удостовериться, что она никого не забыла, но иной раз такое бывает, и это ее расстраивает). Насколько она помнит, он всегда был печальным. В какой же момент он решил, что его горе растет с утраченную родину и потерянную религию?

Слова флуоресцентного дядюшки кружатся у нее в голове, как неотвязная музыка карусели, стоящей прямо под окнами.

Неужели она забыла, откуда родом?

Когда Мохамед сказал эти слова, он говорил об Алжире. Он злился на сестер Наимы и их кузин: они забыли страну, которой никогда не знали. Да и сам он тоже не знал, ведь он родился в пригороде Пон-Ферон. Что тут забывать?

Конечно, пиши я историю Наимы, не начала бы с Алжира. Она родилась в Нормандии. Вот о чем надо было рассказать. Четыре дочери Хамида и Клариссы играют в саду. Улочки Алансона. Каникулы на Котантене.

Однако, если верить Наиме, Алжир всегда был где-то рядом. Это была сумма составляющих: ее имя, смуглая кожа и черные волосы, воскресенья у Йемы. Это и есть Алжир, который она никогда не могла забыть, потому что носила его внутри и на лице. Скажи ей кто угодно: то, о чем ты, – вовсе не Алжир, нет, это просто пометы магрибинской иммиграции во Францию, которую ты представляешь во втором поколении (как будто иммиграция никогда не кончается, как будто она сама в вечном движении), а есть Алжир, реальная, физически существующая страна, по ту сторону Средиземного моря, – Наима, наверно, призадумалась бы на минутку и признала, что да, правда, *другой* Алжир, страна, начал существовать для нее лишь много позже, в год ее двадцатидевятилетия.

Для этого потребуется совершить путешествие. Увидеть Алжир вдаль, стоя на палубе парома, чтобы страна всплыла из безмолвия,

которое скрывало ее лучше самого густого тумана.

Долгое это дело – извлечь страну из безмолвия, особенно Алжир. Его площадь 2 381 741 квадратный километр, это десятая по величине страна мира, самая большая на африканском континенте и в арабском мире; 80 % этой площади занимает Сахара. Это Наима знает из Википедии, не из семейных преданий и не из личного опыта. Когда приходится искать в Википедии сведения о стране, из которой, говорят, ты родом, то, наверно, у тебя проблема. Мохамед, возможно, прав. Так что мы начнем не с Алжира.

Или все-таки с Алжира – но, пожалуй, не с Наимы.

Часть первая

Папин Алжир

«Все это вылилось в тотальное потрясение основ, из которого старый порядок мог выйти лишь обескровленным, расколотым, живым анахронизмом».

АБДЕЛЬМАЛЕК САЯД [\[3\]](#). «Двойное отсутствие»

«Папин Алжир умер».

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ



Предлог прост: алжирский дей [\[4\]](#) в минуту гнева стукнул французского консула веером – или это была мухобойка, версии разнятся, – вот так завоевание Алжира французской армией и началось в 1830 году, в начале лета, в гнетущей жаре, которая будет еще усиливаться. Если признать, что речь шла о мухобойке, придется, представляя себе всю сцену, добавить к свинцовому солнцу гудение иссиня-черных насекомых, кружащих вокруг солдатских лиц. Если же склониться к вееру – это уже образ в восточном вкусе: жестокий и изнеженный дей был, наверно, лишь жалким оправданием масштабной военной операции – как и удар по голове консула, и совсем не важно, чем именно. Предлоги для объявления войны бывают разные, и от такого, должна признать, веет даже какой-то поэзией, которая чарует меня – особенно в версии с веером.

Завоевание прошло в несколько этапов, потому что требовало покорения нескольких *алжиров*, прежде всего – регента столицы, затем – эмира Абделькадера [\[5\]](#), Кабилии [\[6\]](#) и, наконец, полвека спустя, Сахары и Южных территорий, как их зовут в метрополии, – и это название одновременно таинственно и банально. Эти многочисленные алжиры французы сделали департаментами Франции. Аннексировали их. Присвоили. Они уже знали, что такое национальная история, официальная история, попросту говоря, большое брюхо, способное заглотить и переварить обширные земли, лишь бы те согласились, чтобы им присвоили дату рождения. Когда вновь прибывшие мечутся внутри большого брюха, История Франции тревожится не больше, чем тот, у кого урчит в желудке. Она знает, что процесс пищеварения может занять время. История Франции рука об руку с французской армией. Они всегда вместе. История – Дон Кихот с его мечтами о величии; армия – Санчо Панса, трусит себе рядом и делает грязную работу.

Алжир лета 1830-го – страна клановая. У него не одна история. А между тем, когда История употребляется во множественном числе, она начинает флиртовать со сказкой и легендой. Сопротивление Абделькадера и его присных, кочевое поселение, словно парящее в

пустыне, сабли, бурнусы и лошади – все как будто прямиком из «Тысячи и одной ночи», если смотреть через море из метрополии. Экзотика – вот прелесть, почти невольно бормочут парижане, складывая прочитанные газеты. И в этом слове – «прелесть», – разумеется, слышится, что это *не серьезно*. Множественная История Алжира не имеет весомости официальной Истории, той, что объединяет. И вот книги французов поглощают Алжир с его сказками и превращают их в несколько страниц своей Истории, той, что выглядит размеренным движением между заученными наизусть вехами и датами, в которых воплощен внезапный прогресс, кристаллизуясь и сияя. Столетие колонизации в 1930-м стало церемонией поглощения, в которой арабы – просто статисты, декоративные фигуры, вроде колоннады из прошлых эпох, римских развалин или плантации старых экзотических деревьев.

И уже звучат голоса с обеих сторон Средиземного моря, ратуя за то, чтобы Алжир не был только главой книги, которую не имел права написать. Пока, похоже, никто их не слышит. Иные с радостью принимают официальные версии и соревнуются в риторике, восхваляя цивилизаторскую миссию, делающую свое дело. Другие молчат, потому что думают, что История происходит не в их – нет, – а в параллельном мире, мире королей и воинов, в котором им нет места и не сыграть роли.

Али – тот считает, что История уже написана, и по мере своего движения она лишь проявляется, как переводная картинка. Все деяния совершаются не ради перемен, которые невозможны; все, что можно, – лишь снятие покровов. *Мектуб*, все написано. Он толком не знает, где написано, может быть, в облаках, может быть, в линиях руки или где-то в теле крошечными буквами, а может быть, в зенице Бога. Он верит в *мектуб* удовольствия ради, потому что ему нравится, что не надо ничего решать самому. Верит он в *мектуб* и потому, что незадолго до тридцати лет на него свалилось богатство, буквально случайно, и, думая, что так было написано, он не чувствует вины за свое везение.

Но, возможно, в этом-то Али и не повезло (скажет себе Наима позже, когда попытается представить себе жизнь деда): удача повернулась к нему лицом, а он был вовсе ни при чем, сбылись его надежды, а ему не надо было даже и пальцем о палец ударить. Чудо

вошло в его жизнь, и от этого чуда – как и от всего, что оно влечет за собою, – потом отделаться трудно. Удача дробит камни, говорят иногда там, в горах. Это она и сделала для Али.

В 1930-х годах он – всего лишь бедный юноша из Кабилии. Подобно многим парням из его деревни, ему не хочется ни гнуть спину на клочках семейной земли, крошечных и сухих, как песок, ни утруждать себя обработкой земель поселенцев-колонов или крестьян побогаче его, нет желания и податься в город, в Палестро, чтоб наняться там в разнорабочие. Порывался он на шахты в Бу-Медран – его не взяли. Вроде бы старый *франкауи*, с которым он говорил, потерял отца во время восстания 1871 года [7], и не хочет терпеть рядом местных.

Не имея стабильного ремесла, Али занимается всем понемногу – этакий бродячий крестьянин, летучий, можно сказать, крестьянин, и на деньги, которые он приносит, вместе с заработанными отцом вполне можно кормить семью. Он даже отложил кое-что для женитьбы. Когда ему исполнилось девятнадцать, он женился на одной из своих кузин, совсем юной девушке с красивым меланхоличным лицом. В этом браке у него родились две дочери – эх, как жаль, строго рассудила родня у постели роженицы, и та умерла, не снеся позора. В доме, где нет матери, говорит кабийская пословица, даже когда горит лампа, темно. Юный Али терпит темноту, как терпел бедность, говоря себе, что и это написано и что для Аллаха, который все видит, жизнь имеет высший смысл даже в горестях.

В начале 1940-х шаткое экономическое равновесие семьи рухнуло, когда умер отец: он сорвался со скалы, пытаясь поймать убежавшую козу. Тогда Али завербовался во французскую армию, которая как раз возрождалась из пепла, соединившись с батальонами Союзников, призванных отвоевать Европу. Ему двадцать два года. Он оставляет на мать братьев и сестер и двух своих дочурок.

По возвращении (тут в моем рассказе пробел, как и в рассказе Али, как и в воспоминаниях Хамида, потом Наимы: о войне он никогда не скажет больше этого слова, «война», и оно одно заполнит два года) он застал в доме нищету, которую, правда, облегчила его пенсия.

Следующей весной он повел своих младших братьев купаться в уэде [8], вздувшемся от таяния снегов. Течение так сильно, что надо держаться за камни и пучки травы на берегу, чтобы не унесло.

Джамелю, самому хилому из троих, страшно. Двое других хохочут-заливаются, насмехаются над трусишкой, играючи тянут его за ноги, а Джамелю кажется, что это река подхватила его, он плачет и молится. И вдруг:

– Смотрите!

Что-то большое и темное несется прямо на них. К плеску и стуку камней добавился скрежет странного судна, оно плывет вниз по течению, ударяясь о скалы. Джамель и Хамза кинулись вон из воды, но Али и с места не двинулся, только съежился за большим валуном, схватившись за него. Плавсредство врезается в его импровизированный щит, ненадолго замирает, качается, заваливается набок, вот-вот его снова подхватит течение. Али выбирается из укрытия и, присев на камне, пытается удержать на месте то, что принес поток: механизм обезоруживающей простоты, огромный винт из темного дерева в тяжелой раме, которую бурное течение еще не успело разломать.

– Помогите мне! – кричит Али братьям.

Дальнейшее он всегда будет рассказывать в семье как волшебную сказку. Обычными фразами без прикрас. Легкими и гибкими, требующими простого прошедшего времени, чисто литературного: «И тогда они достали пресс из воды, привели его в порядок и установили у себя в саду. Не важно было теперь, что их скудная земля бесплодна, потому что люди приходили к ним с оливками со своих наделов, а они выжимали масло. Вскоре и они достаточно разбогатели, чтобы купить свою землю. Али смог жениться и женить двух братьев. Старуха-мать умерла через несколько лет счастливой и умиротворенной».

Али не смеет верить, что заслужил свою судьбу или сам заложил основы своего богатства. Он по-прежнему полагает, что это удача и бурная река принесли ему пресс, потом поля, маленькую лавочку в горах, потом большое по местным меркам торговое предприятие, а главное – машину и квартиру в городе, ни с чем несравнимые знаки преуспевания, которые будут позже. Поэтому он думает, что, когда приходит беда, ничьей вины в этом нет. Как если бы бурная река вышла из берегов и смыла пресс посреди двора. По этой причине, когда Али слышит, как люди (немногие, еще мало кто) в кафе Палестро или Алжира говорят, что хозяева создают условия для нищеты, в

которой живет большинство их рабочих и работников, и что возможна другая экономическая система – где тот, кто работает, тоже имеет право на прибыли на равных, или почти, с тем, кто владеет землей или машиной, – он улыбается и говорит: «Надо быть безумцем, чтобы идти против течения бурной реки». *Мектуб*. Жизнь – необратимый рок, а не обратимые исторические акты.

Будущее Али (уже далекое прошлое для Наимы сейчас, когда я пишу эту историю) не изменит его взгляда на мир. Он так и не сможет включить в рассказ о своей жизни различные исторические составляющие – или, может быть, политические, социологические, а то еще и экономические, – которые придали бы его рассказу масштабность саги о положении колониальной страны или хотя бы – чтобы не требовать слишком многого – о положении крестьян в колониальной стране.

Вот почему эта часть истории для Наимы, как и для меня, похожа на ряд лубочных картинок (пресс, осел, вершины гор, бурнус, оливковая роща, горная речка, белые домики, прилепившиеся к камням и кедром, точно скопище клещей), перемежаемых поговорками, будто старик пересыпал редкие рассказы подарочными открытками из Алжира, а его дети их повторяли, кое-где меняя слова, а потом воображение внуков еще добавило от себя, увеличило и перерисовало, чтобы на них предстали страна и история семьи.

Вот почему без вымысла никак нельзя – как и без поисков, ведь только они и остаются, чтобы заполнить пробелы, которые зияют между картинками, передающимися из поколения в поколение.



Рост хозяйства Али и его братьев облегчается тем, что семьи, которые делят с ними территории горного хребта, не знают, как быть с крошечными разрозненными наделами, оставшимися им после многих лет экспроприации и секвестров. Земля поделена, раздроблена до нищеты. То, что раньше принадлежало всем и переходило от отцов к детям без нужды ни в бумагах, ни в словах, колониальные власти разгородили деревянными и железными кольшками, насадив яркие разноцветные наконечники, размещение которых определялось метрической системой, а не тем, где лучше выжить. Трудно возделывать эти участки, но и в мыслях нет продать их французам: если собственность уйдет из семьи, это будет позор на всю жизнь. Тяжелые времена заставляют крестьян шире понимать идею семьи, сначала в нее включаются самые дальние родственники, потом все жители деревни, горы и даже противоположного склона. Короче, все, кто не французы. Многие фермеры не только готовы продать свои земли Али, но и благодарят его за спасение от другой, позорной продажи, которая навсегда исключила бы их из общины. *Будь благословен, сын мой.* Али покупает. Объединяет. Разрастается. В начале 50-х годов он уже картограф и может решать судьбу земель на бумаге.

Они с братьями строят новые дома вокруг старой глинобитной мазанки. Домашние переходят из одного в другой, дети спят везде, а по вечерам, когда все собираются в большой комнате старого дома, они как будто забывают о том, как разрослось их жилье. Расширяются, но не отдаляются друг от друга. В деревне с ними раскланиваются как со знатью. Видят их издалека: Али и два его брата стали большими и толстыми; Джамель и тот раздался, а ведь его раньше сравнивали с тощей козой. Они похожи на гигантов горы. Особенно поражает лицо Али, теперь это почти идеальный круг. Луноликий.

– Если у тебя есть деньги, не прячь их.

Так говорят здесь, и высоко в горах, и внизу. И это странная заповедь, потому что деньги, чтобы выставить их напоказ, надо тратить. Показывая, что ты богат, становишься беднее. Ни Али, ни его

братьям не приходит в голову откладывать деньги, чтобы они «работали», или для детей и внуков, даже на черный день. Есть деньги – надо их тратить. Они превращаются в лоснящиеся щеки, круглый живот, пестрые ткани, в драгоценности, чьи размеры и вес завораживают европейцев – те выставляют их в витринах, вместо того чтобы носить. Деньги *сами по себе* ничто. Они – все, только когда их последовательно превращают в вещи, все больше и больше вещей.

В семье Али передают из уст в уста одну историю, ей несколько сотен лет, и она доказывает, что так поступать мудро, а бережливость, милая сердцу французов, – безумие. Ее рассказывают так, будто она случилась только что, потому что в доме Али и в тех, что вокруг, считают, что страна легенд начинается, стоит только выйти за дверь или задуть лампу. Это история про Крима, бедного феллаха, который умер в пустыне рядом с найденной им овечьей шкурой, набитой золотыми монетами. Деньги не поешь. Их не выпьешь. Они не прикроют тело, не защитят его ни от холода, ни от жары. Что же это за добро? Что за господа такие?

По древней кабийской традиции не принято считать щедрот Аллаха. Не считают мужчин, собравшихся за столом. Не считают яйца под несущей. Не считают семена в большом глиняном кувшине. В иной горной глуши и вовсе запрещено произносить числа. Когда французы пришли произвести перепись жителей деревни, они натолкнулись на глухое молчание стариков: сколько у тебя детей? Сколько живут с тобой? Сколько человек спит в этой комнате? Сколько, сколько, сколько... Руми, христиане, не понимают, что считать – значит ограничить будущее, это плевок в лицо Аллаху.

Богатство Али и его братьев – благословение, пролившееся на куда более широкий круг родичей и друзей. Оно обязало их к солидарности, широкой, концентрической, и сплотило вокруг них часть деревни, которая им благодарна. Но не все счастливы. Нарушено былое главенство другой семьи, Амрушей, о которых говорят, что они были богаты еще в ту пору, когда водились львы. Они живут ниже на склоне, французы лукаво зовут это место «центром» череды семи *мехта*, фермочек, расположенных на гребне горы одна за другой, как рассыпанные жемчужины слишком длинного ожерелья. На самом деле нет никакого центра, нет середины, вокруг которой гуртовались бы эти

гроздья домов, даже соединяющая их узенькая дорога – всего лишь иллюзия: каждая *мехта* – это маленький мир под защитой своих деревьев и своих стен, а французская администрация слила эти крошечные мирки в административный округ, *дуар*, существующий только для нее. Амруши сначала посмеивались над усилиями Али, Джамеля и Хамзы. Каркали, что у них ничего не получится: крестьянину-бедняку никогда не стать хорошим хозяином, у него попросту умишка не хватит. Счастье или несчастье каждого, говорили они, написано у него на лбу с рождения. От успеха предприятия Али их перекосило. В конце концов они смирились или сделали вид, будто смирились, со вздохом признав, что Аллах милостив.

И для них тоже тратит и хвалится заработанными деньгами Али. Их успехи перекликаются, их хозяйства тоже. Один расширяет свой сарай – другой пристраивает этаж к своему. Один приобретает пресс – другой покупает мельницу. Нужно ли все это, полезно ли – сомнительно. Но и Али, и Амрушам плевать: не к земле обращены их покупки – они сами это знают, – а к семье напротив. Разве богатство не измеряется досадой соседа?

Соперничество двух семей вносит раскол между ними и между всеми жителями деревни: каждый состоит в чьем-нибудь клане. Оно, однако, не сопровождается ни ненавистью, ни гневом. В первое время это лишь вопрос престижа, вопрос чести. *Ниф* – это понятие здесь значит почти все.

Когда Али оглядывается на прошедшие годы, ему кажется, что небо даровало ему написанную судьбу каких мало, и он улыбается, скрестив руки на животе. Да, все это суцая сказка.

И кстати, как часто бывает в сказках, лишь одно омрачает счастье маленького королевства: у короля нет сына. Вторая жена Али после года с лишним в его постели так и не подарила ему дитя. Две дочери от первого брака подрастают, и каждый день их тонкие голосочки напоминают Али, что они не мальчики. Он больше не может выносить шуточек братьев – оба они уже стали отцами и позволяют себе намеки на его мужские способности. Если честно, он и жену больше не выносит – когда он входит в нее, ему чудится ненормальная сухость, и ее чрево представляется увядшим, выжженным солнцем садом. В конце концов он развелся с ней – тут он в своем праве. Она плакала и

умоляла. Ее родители пришли к Али и тоже умоляли и плакали. Мать обещала, что будет кормить дочь травками, которые-де творят чудеса, что отведет ее помолиться на могиле святого, который помогает в таких случаях. Она ссылалась на такую-то и такую-то, которые после многих лет пустоты были вознаграждены непорожним чревом. Говорила, что Али не может знать: возможно, дитя уже сейчас спит в утробе ее дочери и проснется позже, в сезон сбора урожая или даже на будущий год, такое бывало. Но Али непреклонен. Ему невыносимо, что у Хамзы уже родился сын, а у него нет.

Молодая женщина вернулась к своим родителям. Там она и останется на всю жизнь. По традиции теперь Али, а не ее отец должен запросить сумму, необходимую, чтобы отдать ее замуж. Он не хочет за нее денег. Он отдал бы ее за меру ячменной муки. Но случай так и не подвернулся: ни один мужчина не возьмет в жены сухое чрево.



Ее черные глаза тревожно бегают, глядя то на родителей, то на мужчину, которого она никогда не видела, – он представился посланцем ее будущего супруга. В его лице она пытается угадать черты другого, того, кому ее отдает (иногда говорят: продает, это честнее, и никто не обижается) отец.

Между отцом и гостем лежит ковер, на котором разложены подарки ее будущего мужа, диорама женской жизни, супружеской жизни, той, что ее ждет.

Чтобы быть красивой: хна, квасцы, чернильные орешки, розовый камень, который называют *эль хабала*, потому что он может свести с ума и служит для приготовления косметики и любовных напитков, индиго для окраски, но еще и для татуировок, серебряные украшения – и дорогие, и медные: эти ничего не стоят, зато красиво блестят.

Чтобы хорошо пахнуть: мускус, жасминовая эссенция, розовая эссенция, ядрышки вишневых косточек и почки гвоздики, она растолчет их все вместе и сделает душистую пасту, – а еще сушеная лаванда, цибетин.

Чтобы быть здоровой: бензойная смола, кора корня орешника для лечения десен, стафизагория, отгоняющая вшей, корень солодки, сера, которой лечат чесотку, каменная соль и сулема, лечащая язвы.

Для телесных утех: камфара – говорят, она препятствует зачатию, – сассапариль – его настой помогает от сифилиса, – порошок из шпанской мухи – афродизиак, который вызывает эрекцию, раздражая уретру.

Для услады рта: тмин, имбирь, черный перец, мускатный орех, укроп, шафран.

Для борьбы со злыми чарами: желтая глина, красная охра, стираксовое дерево, чтобы отгонять злых духов, древесина кедра и пучки травы, аккуратно связанные шерстяной ниткой, чтобы жечь их под заклинания.

Она захлопала бы в ладоши перед этим множеством всякой всячины – чего тут только нет, и все такое чудесное! – перед этим базаром в миниатюре, который принесли к ней в дом и разложили на

ковре – о, что за разнообразие цветов и форм! – и упивалась бы крепкими ароматами, не будь ей так страшно. Ей четырнадцать лет, и ее выдают замуж за Али, незнакомца на двадцать лет ее старше. Она не протестовала, когда ей сказали, – но хотелось бы знать, каков он собой. Может быть, она уже встречала его, сама того не зная, когда ходила за водой? Ей тяжело – почти невыносимо, – стоит лишь подумать об этом человеке перед сном, произнести его имя и не представить себе лица.

Когда ее сажают на мула, застывшую, задрапированную в ткани, увешанную украшениями, на миг ей кажется, что она сейчас потеряет сознание. Она почти желает этого. Но кортеж трогается под радостные возгласы, пение флейт и звон бубнов. Она встречает взгляд матери, в нем смесь гордости и тревоги (ее мать никогда не смотрела на своих детей иначе). И вот, чтобы ее не разочаровывать, она приосанилась на муле и удаляется от дома отца, не показывая страха.

Она сама не знает, длинна ли дорога по горам или слишком коротка. Пахари и пастухи на пути кортежа тоже присоединяются к выражениям радости, но ненадолго, и скоро возвращаются к своим занятиям. Она думает – может быть, – что ей хотелось бы стать как они, что она предпочла бы быть мужчиной или даже скотиной.

Вот и дом Али, и она наконец видит его: он стоит на пороге меж двух своих братьев. Ей сразу легче: на ее взгляд, он хорош собой. Конечно, значительно старше ее – и намного выше ростом, и она вдруг бессознательно думает, что человек, говорят, растет всю жизнь, и она тоже через двадцать лет дорастет почти до двух метров, – но держится он очень прямо, у него круглое добродушное лицо, мощная челюсть и нет гнилых зубов. Если рассудить здраво – вряд ли она могла надеяться на большее. Мужчины начинают бузить, выпуская в воздух первый залп в честь прибытия новобрачной, – у большинства так и остались охотничьи ружья, невзирая на запрет французов. У нее кружится голова от острого и веселящего запаха пороха, она улыбается, думая, что ей повезло, и, улыбаясь, надевает на лодыжку массивный серебряный *хальхаль*, символизирующий брачные узы.

Теперь она в доме мужа. У нее новые братья, новые сестры и, даже еще до брачной ночи, новые дети. Она почти ровесница старшей из своих падчериц, тех, что родились от первой жены Али, однако должна вести себя с ней как мать, заставить себя уважать и слушаться.

Фатима и Рашида, жены братьев ее мужа, ей не помогают. Они цепляются к ней с тех самых пор, как она переступила порог дома, потому что новобрачная слишком красива (так она будет рассказывать потом в тесной кухоньке своей малогабаритной квартиры). У Фатимы уже трое детей, а у Рашиды двое. Беременности не лучшим образом сказались на их телах, они грузные, расплывшиеся. Им не хочется, чтобы тело молодой девушки, гибкое, округлое, золотистое, подчеркивало их безобразие. Им не нравится стоять рядом с ней на кухне. Они уважают Али как главу семьи, но постоянно ищут возможности принизить его жену, не нарушив этого первостатейного долга. Так и ступают неуверенно, точно по натянутому канату, постепенно смелея: то скажут колкость, то стянут вещь, то откажут в услуге.

В четырнадцать лет новобрачная была еще ребенком. В пятнадцать она уже *Йема*, мать. И в этом тоже она не чаяла такого везения: ее первый ребенок – мальчик. Женщины, окружавшие ее во время родов, тотчас высунулись за дверь с криком: «У Али сын!» Теперь мужнина родня просто обязана выказывать ей больше уважения. Она подарила Али – с первого раза – наследника мужского пола. У ее постели Рашида и Фатима силятся проглотить разочарование и в знак доброй воли утирают пот со лба роженицы, обмывают и пеленают младенца.

Пережив долгие часы схваток и это рождение, которое, как ей показалось, разорвало надвое ее почти детское тело, молодая мать должна принять у своего одра всех членов семьи – они поздравляют ее и осыпают подарками; из круговерти лиц и подношений – крайняя усталость не дает их рассмотреть – вдруг всплывает *табзимт*, круглая диадема, украшенная красными кораллами и синей и зеленой эмалью, – ее традиционно получает женщина, родившая мальчика. Та, что подарена Йеме, так тяжела, что молодая женщина не может ее носить без головной боли, однако она надевает ее с радостью. Мальчика, родившегося в сезон бобов (то есть весной 1953-го, но настоящую, французскую дату рождения он получит, только когда придется оформлять бумаги, необходимые для бегства), зовут Хамидом. Йема любит своего первого сына страстно, и от этой любви достается и Али. Ей не надо большего, чтобы их брак состоялся.

– Я люблю его за детей, которых он мне подарил, – скажет она много позже Наиме.

И Али любит ее за то же. Теперь ему кажется, что он воздерживался от всяких проявлений чувств к ней, пока не родился мальчик, но с появлением Хамида как будто плотину прорвало в его сердце, и он осыпает жену ласковыми прозвищами, благодарными взглядами и подарками. Этого достаточно им обоим.

Несмотря на обиды, несмотря на ссоры, семья живет как единый организм, сосредоточенный на одной цели – прожить как можно дольше. Она не ищет счастья, разве только лада, и ей это удается. Ритм задают времена года, роды у женщин и у скотины, сбор урожая, сельские праздники. Этот организм живет циклами, без конца повторяющимися, и разные его члены вместе замыкают временные цепочки. Они как одежда в барабане стиральной машины, которая сливается в единую массу текстиля и крутится, крутится снова и снова.



Сидя в тени на одной из скамеек в *таджмаат* [9], Али смотрит на деревенских мальчишек – разношерстную стайку, в которой смешались все возрасты, роста и цвета волос. Дети Амрушей щеголяют яркой медью, у малыша Белкади на головке белая пена, у остальных черные как смоль кудри, в том числе и у Омара, сына Хамзы, которого Али недолюбливает, потому что тот имел бестактность родиться на два года раньше Хамида.

Они сбились в кружок вокруг Юсефа Таджера, самого старшего из них, – этого подростка только бедность еще удерживает в детстве. Ответственности мужчины он не знает и еще не знал. А ведь он родня Амрушам через бабушку, но те не желают ему помогать и не дают работы: все дело в долге, который его отец так и не вернул. Здесь говорят, что долги лежат у ворот, как сторожевые псы, не давая богатству даже подойти близко. Хотя отец Юсефа умер несколько лет назад, весь его позор перешел на мальчишку – и теперь тому приходится справляться самому в свои четырнадцать лет. Он стал уличным торговцем в Палестро. Как часто говорит Али с презрительной усмешкой: «Никто не знает, чем он торгует и что зарабатывает. Скорее всего, ничего, но чем-то вечно занят по горло». Всегда-то Юсеф то поднимается в горы, то спускается, курсирует между городом и деревней, ловит то автобус, то телегу, спрашивает, кто едет в город, говорит, что ему срочно, по работе, – но при всей этой суете у Юсефа никогда нет ни гроша в кармане.

– Если бы мне платили по часам, – часто говорит он, – я был бы миллионером.

Взрослые мужчины смеются над его бесплодными усилиями, и он предпочитает компанию детей, те его боготворят. В этот день склоненные головки заслоняют центр круга, мальчишки одновременно зал, в котором выступает Юсеф, и публика, которую он покори́л. Али недоумевает, что такое они могут прятать за своими маленькими тельцами. Может быть, курят сигареты. Бывает, что Юсеф их им приносит. Однажды Хамза отлупил Омара тростью, потому что, когда

тот пришел домой, от него пахло табаком. Али подходит ближе – проверить. Мальчишки пятаются, но не разбегаются – они любят Али и его всегда полные карманы. Просто размыкаются, потому что присутствие взрослого разрывает круг, этот круг мальчишек держится на магии детства и рассыпается, когда старшие хотят к нему приблизиться (от этого иногда щемит сердце у Али, а позже будет и у Хамида: эту границу можно пересечь только единожды и только в одну сторону).

– На что вы там смотрите? – спрашивает он.

Омар, его племянник, показывает маленькую фотокарточку, которую они передают из рук в руки. На ней мужчина с длинной бородой, в европейском костюме и наброшенном поверх бурнуса. На голове феска, должно быть красная, но на черно-белой фотографии она кажется еще темнее бровей. Омар держит карточку в ладони, как святую реликвию или раненую птицу. Юсеф смотрит на него с улыбкой. Его передние зубы сильно раздвинуты, и в эту щель он выпускает дым сигареты. Когда он поднимает глаза на Али, тот видит в них плохо скрытый вызов.

– Ты знаешь, кто это? – спрашивает Омар.

Али кивает:

– Это Мессали Хадж [\[10\]](#).

– Юсеф говорит, что он отец нашего народа, – гордо сообщает один из мальчиков.

– Вот как? А что еще говорит Юсеф?

Подросток не протестует против этого завуалированного вопроса. Пусть малышня отвечает.

– Он говорит, что, если бы мог, поехал бы учиться в Египет, чтобы примкнуть к алжирскому восстанию, – заявляет один из Амрушей с откровенным восхищением.

– А ты знаешь, где это – Египет? – спрашивает Али.

В ту же секунду в воздух вздымаются десять рук – но все указывают разные направления.

– Ослики вы мои, – нежно говорит им Али.

Он возвращает детям фотографию и удаляется, ничего больше не сказав. Юсеф окликает его в спину:

– Дядя!

Так уважительно обращаются к старшим в этом обществе, где семья представляет высшую степень связей между людьми, а иерархическая вертикаль колонизаторов (отмеченная многократным повторением слова «сиди», господин) еще не прижилась.

– Независимость, знаешь, не просто сказка для детей, – выпаливает Юсеф. – Даже американцы говорят, что все народы должны быть свободными!

– Америка далеко, – отвечает Али, подумав. – Тебе-то, даже чтобы поехать в Палестро, приходится просить денег у меня.

– Твоя правда, дядя, твоя правда. Кстати... ты случайно не мог бы отвезти меня туда завтра?

Али улыбается ему. Не может удержаться: любит он этого паренька – может быть, просто потому, что его не любят Амруши. А может быть, за веселую удаль Юсефа, которую не сломить даже нищете вдовьего сына. Али говорит себе, что осенью, во время сбора урожая, он предложит ему поучаствовать в уборке или заняться одним из прессов. Надо будет просто последить за парнем, чтобы не слишком приближался к женщинам. Его хорошо подвешенный язык часто и обидно подкалывал и мужей, и отцов, и братьев. Он каждый раз легко отделялся только потому, что всем жаль его мать. И есть за что, стоит произнести ее имя, как кто-нибудь непременно добавит: бедняжка. Почти все так и зовут ее в деревне: Фатима-бедняжка.

Вечером за ужином, когда семьи Али, Хамзы и Джамеля собираются за кускусом, Омар спрашивает мужчин, любят ли они Мессали Хаджа. (Он так и говорит «любят ли», а не «поддерживают» и не «выступают за». Он еще не понимает, что такое политический лидер, для него существует только отец.)

– Нет, – сухо отвечает Али.

У Омара сжимается сердце, ведь ответ дяди разверзает между ним и Юсефом пропасть, она может повлиять на его место в компании мальчишек. Юсеф в ней самый старший, а Омар самый младший, так что Юсеф Омара *терпит*. Если он передумает, Омару придется сидеть дома с Хамидом, тот-то еще младенец, и учить его играм для малышей, одна другой глупее. Омару грустно, ведь именно ему Юсеф дал фотографию, и он спрятал ее в свой пояс. Но он знает, что теперь, глядя на портрет Мессали Хаджа, всегда будет вспоминать ответ дяди,

что это «нет» ляжет пятном на фото, словно перечеркнувшим лицо старика с глазами гневного пророка.

– Почему? – робко спрашивает он.

– Потому что Мессали Хадж не любит кабилов, – Али тоже употребляет глагол «любить», он не говорит «поддерживать движение», «поощрять регионализм», «одобрять требования». – Для него независимость Алжира означает, что мы все станем арабами.

Омар кивает, сделав вид, будто понял. Но ведь семья его говорит в основном по-арабски (только женщины еще прибегают к кабийскому), да и эту фразу Али произнес на арабском, какой же тогда резон вот так сразу разделять возмущение дяди? Он озадаченно смотрит на взрослых, которые согласно кивают, даже женщины, стоя передающие блюда. Мальчик отсчитывает несколько долгих секунд, прежде чем решиться спросить:

– А... почему мы против арабов?

Ему надо удостовериться.

– Они нас не понимают, – отвечает Али и, повернувшись к брату, заговаривает с ним о видах на урожай.

Омар тоже ничего не понимает и засыпает со смутным страхом: ведь это может значить, что он араб.



«Устраниться от борьбы – преступление».

*Из первой листовки Фронта
национального освобождения, 1 ноября
1954 г.*

С 1949 года Али – вице-президент Ассоциации ветеранов в Палестро. Это мало что значит, там почти ничего не происходит. Ассоциация – прежде всего помещение: зал, предоставленный в их распоряжение французской администрацией. Иногда он пустует. Иногда там собираются люди, играют в карты, в домино, обмениваются новостями. Иной раз приходят с медалями. В этом помещении они ценятся. Там, в горах, это впечатляет разве что детей, которые любят все блестящее, но никто не знает, что означает каждое металлическое украшение, каждая лента.

Для Али это веская причина не возвращаться сразу в горы, закончив работу в долине (представительскую работу, благородную). Он никогда не приводил туда братьев и племянников, а сын еще мал. Ассоциация принадлежит только ему и тем, кто сражался. Такое не делят с семьей.

В тишине и покое этого помещения, только их и ничьего больше, они пьют анисовку. Эту привычку многие вынесли из армии. До 1943 года Али в рот не брал спиртного. Начал он в Италии, во время войны-о-которой-он-никогда-не-говорит (и вот еще что ему здесь нравится: не надо о ней говорить, она и так существует). Это началось как форма протеста, слегка, надо сказать, абсурдная: если армия требует, чтобы солдаты из Северной Африки ели свинину из пайков, поставляемых американцами, – пусть дает им и вино, которого до сих пор они были лишены. Али помнит, что поддержал выдвинувших такое требование вожаков, потому что это были славные парни, а когда оно было удовлетворено, почувствовал себя идиотом перед полным стаканом. Он выпил его, морщась и думая про себя, что речь идет не столько о спиртном, сколько о справедливости. Позже, уже на востоке Франции, были бутылки, спрятанные крестьянами на

заброшенных фермах, где они разбивали лагерь, и, главное, такой коварный холод, что без бутылок не обойтись. Али продолжал пить. Даже возвращение в край солнца и ислама не отбило у него вкуса к спиртному. Он знает, что это не нравится Йеме, поэтому пьет только в Ассоциации, раз в неделю, маленькими глоточками, виновато и тем более восхитительно. Некоторые, пристрастившиеся больше, чем он, переходят на спирт для горелок, когда не остается анисовки. А что такого: дешевле и пьянит точно так же. Надо быть руми, чтобы думать, будто спиртное – удовольствие утонченное.

По одному из этимологических толкований слово «буньюль», как пренебрежительно называют североафриканцев, восходит к выражению *Бу ньоль*, что значит Папаша-Водка, Папаша-Бутылка – так презрительно называют пьяниц. Другое связывает его с приказом *Абу ньоль* («Принеси водку») – так распоряжались магрибинские солдаты во время Первой мировой войны, а французы сделали из этого кличку. Если этимология верна, то в предоставленном им зале Али и его друзья весело – хоть и по возможности скромно – ведут себя как «буньюль». Но в этом они, чего скрывать, подражают французам.

В Ассоциации есть два поколения, которые пересекаются, но не смешиваются: солдаты Первой мировой войны и Второй мировой войны. Старики 1914–1918 годов пережили позиционную войну, а те, кто помоложе, – маневренную. Они продвигались так быстро, что между 1943 и 1945 годом пересекли всю Европу: Францию, Италию, Германию. Они были повсюду. Те, прежние, хоронились в окопе долгие месяцы, после чего переходили в другой. Ничто так не похоже, как два окопа. Старикам хотелось, чтобы молодые признали, что их война была худшей (на самом-то деле это значило – лучшей). А молодым было неинтересно слушать про грязь и Фландрию. Они предпочитали истории про танки и самолеты. И потом, немцы были не совсем немцами, пока не стали нацистами. Вильгельм II – не Гитлер. Между двумя группами установилась определенная дистанция, основанная на взаимном непонимании и соперничестве. Они любезны друг с другом, но общаются мало. Иногда, если два ветерана Первой и Второй мировой оказываются в Ассоциации вдвоем, возникает неловкость, очень легкая, но ощутимая, как будто кто-то из них ошибся дверью.

Председатель Ассоциации – ветеран Первой мировой, старик Акли. Чтобы два поколения чувствовали себя на равных и ни одно не было ущемлено, казалось очевидным, что вице-председатель должен быть ветераном Второй мировой войны. Избрали Али. Акли и Али – звучит. Чаще всего они зовут друг друга «сынок» и «дядя», но иногда на людях кокетничают и обращаются «председатель», «господин вице-председатель», и самим смешно. Армейские чины они уважают, как шрамы на теле солдата. Но все эти гражданские звания ничего для них не значат. Мелкие цапки на уродливой бабе, шутит старый Акли.

Есть и еще преимущества Ассоциации для Али: маленький зал аж вибрирует от информации, которую в деревне не услышишь. Там, наверху, нет радио, только у него одного, и большинство горцев, как и он, неграмотны. Внизу, в долине, новости передаются из уст в уста. В Ассоциации есть люди, умеющие читать и писать, они приносят газеты и обсуждают их. Здесь Али находит национальный информационный бюллетень, который деревня никак не может ему дать.

Здесь, в Ассоциации, он слышит об атаках 1 ноября 1954 года [\[11\]](#) и впервые – о Фронте национального освобождения. В этот день даже различных антенн членов Ассоциации не хватило, чтобы получить достоверную информацию. Никто не знает, откуда взялись эти повстанцы, какими средствами они располагают. Не знают толком, и где они прячутся. Их связи с уже известными национальными лидерами, такими как Мессали Хадж и Ферхат Аббас, туманны для всех ветеранов. Они якобы принадлежат к какой-то третьей линии, но что отличает ее от первой и второй, никому неясно.

Как бы то ни было, несомненно одно: рвануло. Наиболее информированные говорят о десятках нападений, с бомбами и автоматами, на казармы, жандармерии, радиостанцию, бензоколонки. Сожжены фермы колонизаторов, склады пробки и табака в Бордж-Менайеле.

– Еще они убили егеря в Драа-Эль-Мизане.

– И поделом ему, – говорит Моханд.

Егеря никто не защищает, его служба позорна. Пока французы не вздумали сделать леса общественным достоянием, как в метрополии, они были источником дров для всех семей и пастбищами для скотины. Теперь рубка и выпас запрещены, то есть на самом деле лес рубят и

скотину пасут, но за это можно схлопотать наказание. Поэтому никто не любит следящих за лесом егерей – те появляются откуда ни возьмись и только и делают, что выписывают штрафы, при этом всем ясно, что часть денег осядет в их карманах. Никто здесь, по правде сказать, не понимает, почему французы так вцепились в ели и кедры, разве что из гордыни, для местных попросту смешной.

Камель слышал – и от этой информации все притихли, она попала в больное место: где оно располагается, я не знаю, но, наверно, прячется рядом с печенью, главным органом на кабийском языке, короче, эта информация попала в то самое место, где помещается честь, честь мужчины, честь воина, их часто путают, – что в одной из атак была убита молодая женщина, жена французского учителя, который тоже пал под пулями.

– Ты уверен, что это правда? – спросил Али.

– Я ни в чем не уверен, – ответил Камель.

Они снова умолкли, задумчиво потирая ладонями бороды. Убить женщину – это серьезно. Существует закон предков, по которому воюют только для того, чтобы защитить свой дом – а стало быть, и женщину в нем, ее царстве, ее святилище, – от внешнего мира. Честь мужчины измеряется его способностью держать чужих на расстоянии от своего дома и своей жены. Иными словами, воюют лишь за то, чтобы не допустить войну в свою дверь. Воюют сильные, деятельные, хозяева жизни: мужчины и только мужчины. Сколько раз жаловались они на французов, когда те их оскорбляли, иной раз невольно, войдя к кабилу без приглашения, заговорив с женой хозяина, поручив ей что-то передать о делах, о политике или военных вопросах, короче, обо всем, что может лишь замарать женщину и выволочь ее – символически – из дома? Почему приходится терпеть те же обиды от ФНО? Конечно, они понимают: в спешке возможны ошибки, – но публично признать ответственность за покушения, стоящие жизни слабым, – это дурной знак.

– Если это их выбор, так пусть мне объяснят, – говорит старый Акли. – А если это брехня, то, боюсь, эти парни ослы.

Ветераны кивают. Все более или менее согласны в этот день: пусть-ка им объяснят.

– Что же теперь будет, как вы думаете? – спрашивает Камель.

Будет то, что написано, думает Али, даже если это не сулит ничего хорошего. Всем известно, что бывает, когда Франция гневается. Колониальные власти уж постарались, чтобы их карательная мощь врезалась в память. В мае 1945-го, когда демонстрация в Сетифе обернулась кровавой баней [\[12\]](#), генерал Дюваль – уж этот-то мог оценить, как народ поддерживал его, – заявил правительству: я дал вам десять лет мира. Когда район Константина тонул в хаосе и криках, иные члены Ассоциации шагали по Елисейским Полям под звуки фанфар. По широкому парижскому проспекту они шли строем, чеканя шаг, герои родины. Женщины махали им руками и платочками. А в Сетифе изрешеченные пулями тела лежали в ряд на обочинах дорог, пересчитанные французской армией, которая так и не выдаст их точного числа. Они ничего не забыли. Сетиф – имя наводящего жуть людоеда, который бродит около, всегда слишком близко, в пахнущем порохом плаще с окровавленными полами.

От той резни сегодня осталось, судя по всему, единственное видео (показанное Барбетом Шрёдером в документальном фильме о Жаке Вержесе «Адвокат террора» [\[13\]](#)): это почти абстрактные картины – черно-белые движущиеся пятна покрывают и поглощают друг друга, и иногда в них угадываются человеческие лица, белые квадраты на белом фоне, плакаты на девственно-чистых беленых стенах, стоящий мужчина, очень прямой, с треугольником бурнуса на груди. Но главное – есть звук, голоса, топот, слоганы и крики, потом выстрелы, и изображение проваливается во тьму, ничего больше не видно, никого, но звук остался, автоматные очереди не смолкают, и даже – но что я в этом понимаю? – вдали грохочет миномет.

Али выходит из зала Ассоциации и направляется к лавке Клода. В долине у него есть клиенты-французы – хотя и немного, но есть. Эти люди пришли в Ассоциацию, потому что они тоже ветераны. У большинства свои структуры, они не смешиваются с теми, кого зовут туземцами, мусульманами, арабами, а иногда – презрительно – «бико». Бывает, заходят потому, что кого-то ищут, например – солдата, который сражался с ними в одном полку, под их командованием, или им просто хочется поговорить. Клод из их числа: он служил в Африканской армии, Армии В, как ее называли, когда она высадилась в Провансе. Он любит рассказывать, что впервые увидел метрополию благодаря

операции «Драгун» [\[14\]](#). Мелкая ложь, подчеркивающая главное: он считает себя алжирцем.

Клод держит бакалейную лавку в Палестро и, узнав, что Али торгует оливковым маслом, попросил его принести свою продукцию – на пробу. Это один из немногих французов, знакомых Али, который из принципа не покупает у колонов. Клод сохранил в своей повадке что-то детское, сразу вызывающее симпатию: маленького роста, живой и говорливый. Он шаркает ногами, понунив голову, когда чем-то обижен, а когда радуется, расплывается улыбкой до ушей, как будто чья-то большая рука разминает ему лицо.

Французский язык у Али очень и очень приблизителен, а Клод при всем своем желании так и не освоил ни кабийский, ни арабский. Иногда он калечит несколько слов неловкими губами, и Али прячет усмешку, сосредоточенно качая головой. Эти двое толком и не разговаривают. Поначалу бывало неловко: Клод не знал, что делать с великаном-кабиллом, который встал посреди лавки и явно не понимает сам, о чем спрашивает, да еще и так смущается, что сам себе отвечает. Он вел торопливый диалог сам с собой, помогая словам взмахами рук, подмигивая и улыбаясь. В тот день, когда Али пришел с Хамидом, Клод забыл о неловкости. Мальчик казался совсем крошечным на огромных ручищах горца. Клоду увиделась в Али отеческая нежность вопреки традиционному мужскому началу – этому своду законов, определяющему статус мужчины там, высоко в горах, этому регламенту, нигде, правда, не опубликованному, так что Клоду негде было бы его прочесть, но который и завораживает и пугает его. В горце он узнал себя, ведь и он отец, исполненный любви. Клод вдовее уже четыре года – его жена умерла, родив их единственного ребенка. Ее портрет висит на видном месте на стене магазина. Ее незыблемо суровый вид как-то не вяжется с глазами Клода – стоит ему только взглянуть на портрет, и они набухают слезами.

Анни, дочурка лавочника, чуть постарше Хамида. Когда дети вместе, они хором лопочут на несуществующем языке, и Клод мечтает о своем доме, каким бы он был, если бы его жена не умерла так рано и они вдвоем наполнили бы его детьми, похожими на них. Иной раз Али оставляет сына Клоду, когда идет в Ассоциацию, и тот сажает его за прилавок, где Хамид сидит, улыбаясь, невозмутимый, как Будда, пока Анни не потребует с ней поиграть. Али никогда не обсуждал это с

лавочником, но он жалеет его, ведь у него есть только дочь, и сына он одалживает ему с великодушным жестом, его собеседнику вряд ли понятным.



В алеющем жерле глиняной печи Йема печет *кесра*, круглый хлеб для всей семьи. Хамид хлопает в ладоши, как и каждый раз, когда дом наполняется этим густым и теплым запахом. С тех пор как мальчик перестал сосать материнскую грудь, он ест за двоих, перемазывая личико оливковым маслом, и при виде пищи всегда смеется от радости. Мать твердит ему, что он красавец, ее солнышко, ее свет, ее перепелочка. Он смеется еще громче. Али курит сигарету, краем глаза наблюдая за женой и сыном. Он хотел бы видеть насквозь и посмотреть на ребенка, который родится очень скоро – живот Йемы округлился, натянул ткань платья, и ей приходится низко повязывать полосатый передник, на который она время от времени наступает, беззлобно вздыхая, как будто передник – ребенок и то и дело рвется поиграть, а ей уже не смешно. Али хочет еще мальчика. Одного недостаточно, мало ли что может случиться, вплоть до худшего, – все так хрупко. Мужчина, имеющий только одного сына, ходит на одной ноге. Жены братьев по форме живота предсказывают, что будет девочка. Как бы то ни было, скоро он удостоверится: живот Йемы уже так тяжел, что она, когда может, опирается им на стол.

В дом вбегает маленький Омар.

– Дядя, скорей! Всея деревне пора на площадь – слушать каида.

Удивленный Али поспешно гасит сигарету. Каид бывает здесь нечасто. Он предпочитает сидеть в своем большом доме, ниже, в долине, и чтобы все приходили к нему. Как большинство ему подобных, он контролирует дуар извне, опираясь на отчеты аминов [\[15\]](#) и егерей, чтобы держать руку на пульсе территории, которую поручил ему французский чиновник (лучше будет сказать «сдал внаем», все знают, что каид дорого заплатил за свою должность «сельского комиссара»). Правительственная нота 1954 года напоминает, что ему полагается «информировать, надзирать и предусматривать». Спросить жителей деревни – так он вместо этого карает и ворует, всегда через посредников. Видят его мало, но любят еще меньше. Говорят, что и он никого не любит, только золото и мед. Али тоже не нравится этот человек, но он знает, чем ему обязан: ему никогда не удалось бы

поставить свое хозяйство на широкую ногу, воспротивиться этому каид. А тот никогда не дал бы своего согласия, не окажись его жена дальней родственницей Али. Он позволил ему купить наделы высоко в горах – его это место не интересовало, – потому что свалившееся с неба богатство этого человека, который – отдаленно, очень отдаленно, – является членом его семьи, позволило ему противостоять амбициям Амрушей, слишком долго не имевших соперников на этих забытых землях. Теперь каид удерживает равновесие, деля милости и поборы между двумя семьями, и ему не требуется для этого тягостный путь вверх – только джипы французских военных могут, не надорвавшись, заехать в горы. Взамен Али дает ему иногда, если позволяет урожай, немного больше, чем требовалось, а Йема готовит для него истекающие медом сладости к каждому празднику.

Омар сучит ногами в дверях. Он уже предупредил отца и Джамеля (а старшего-то не первым, отмечает про себя Али и думает, что мальчик, решительно, плохо воспитан), и те ждут на улице: на деревенскую площадь они пойдут вместе, медленно, величаво, как им положено по статусу и как требует их физическая статья.

Али берет трость с набалдашником из слоновой кости, она вообще-то ему не нужна, но прибавляет солидности. Думает, не надеть ли военную форму, чтобы дать каиду понять, что он не просто разбогатевший крестьянин; но в последнее время китель с трудом застегивается на животе, и что останется от героизма, если вдруг отлетит пуговица?

Три брата выходят на площадь, где все расступаются, пропуская их в первый ряд. Они занимают места напротив Амрушей, приветствуя их сдержанными кивками. Те кивают в ответ.

Каид выходит из машины, только когда все уже собрались – подобно кинозвезде на съемках, до последнего сидящей в примерной, чтобы заставить всех подождать. Богатство его выставлено напоказ, но строго локализовано в огромном круглом животе, который кажется накладным на этом иссушенном старостью теле и вынуждает его идти и сидеть, откинувшись назад, чтобы толстое брюхо не тянуло к земле. У каида много помощников и слуг, но тут уж бессильны все и вся: каждый шаг – его битва с большим животом, и от этого он всегда в дурном настроении.

– Мой долг как каида этой деревни, – говорит каид, и по рядам жителей сразу пробегает шепоток, где насмешливый, где гневный, – предостеречь вас против событий, произошедших в нашей области, о которых вы, возможно, слышали. Занимая столь важный пост в администрации, я особенно хорошо информирован, поэтому прошу вас верить мне и тому, что я вам скажу. Разграблены и сожжены фермы. Взорваны мосты. Эти фермы давали работу феллахам. Эти мосты позволяли им ходить на работу. Теперь многие семьи живут в бедности, не понимая почему, а их кормят листовками. Те, кто это сделал, – бандиты, преступники, и полиция уже идет по их следу. Через несколько недель, самое большее несколько месяцев, они будут арестованы и брошены в тюрьму, где закончат свои дни. Если ваши пути пересекутся, вы ни в коем случае не должны им помогать, кормить их или прятать. Они опасны и могут причинить вам много зла. Эти люди без чести и совести – убивают женщин и детей. Иные из них, наверно, скажут вам, что они муджахиды и сражаются за независимость нашей страны. Не верьте им. Они ничего не знают об Алжире. Ими манипулируют коммунисты из России и Египет. Это предатели, готовые впустить к нам иностранцев, якобы затем, чтобы бить французов. Чего они хотят? Коммунисты будут хуже французов. Они заберут то немногое, что оставили вам румы, потому что не признают собственности. Не признают они и веры. Они захотят отнять у вас ислам. Там, в России, они рушили церкви. Тут сделают то же самое с мечетями. И главное, говорю вам, если вы поможете этим преступным элементам, никто не защитит вас от кары французской армии. Эта деревня станет новым Сетифом...

Каид тоже знает, что это – имя кровожадного людоеда. Он употребляет его, не задумываясь. И головы крестьян едва заметно втягиваются в плечи, спины сутуляются, все боятся призраков, которых приносят с собой эти два слога.

– И Франция вас накажет, – продолжает каид, притоптывая ногой. – А бандиты, которые навлекли на вас громы и молнии, уйдут себе спокойно в подполье, где они спрячутся как преступники – а они преступники и есть, – и оставят вас расплачиваться за них. Я как каид поручился за вас перед французской администрацией. Я пообещал, что не будет никаких беспорядков, заверил, что мы люди порядочные и честные, не бандиты какие-нибудь. Мне удалось предотвратить обыски

в домах, которые уже собиралась провести французская армия, – тут, конечно, каид врет: французская армия никогда и не думала наведываться в деревню, за километры от Драа-Эль-Мизана и Бордж-Менайеля, где случились теракты. Но он любит, коль скоро История на сей раз дала ему случай, строить из себя героя: это он-де защищает народ, который платит ему подати и штрафы много лет. – Но я не смогу защищать вас всегда. Так что послушайте меня, не прислушивайтесь к пропаганде бандитов. Защищайте себя сами.

С этими словами он, окруженный подручными, рассекает толпу и садится в машину, которую мальчишки осматривают, осваивают и гладят с тех самых пор, как он раскрыл рот.

После его отъезда круг разбивается: друзья, сторонники и должники Амрушей группируются вокруг них, а друзья, сторонники и должники Али и его братьев подтягиваются к ним. Между двумя толпами остаются люди, не приверженные никому, либо – редчайший случай – те, что хорошо ладят с обеими семьями, либо с обеими в ссоре. Жители деревни обсуждают речь каида – этого продажного и заносчивого пса. Поскольку Амруши знают о родственных узах (очень тонких и отдаленных), связывающих с ним Али, они исходят из посылки, что вся речь – ложь. Поскольку Али знает, что Амруши разделают речь под орех, он чувствует себя обязанным ее защитить. (Много лет спустя Наима задумается, осознавал ли он, какие колоссальные и пагубные последствия повлечет за собой это стихийное соперничество, и случалось ли ему заново переживать эту сцену, принимая иную точку зрения, или он навсегда увяз в понятиях *мектуб* и *ниф*, как в крепкой паутине.)

Чего Али хочет сейчас – просто сохранить, что нажил. Будущее интересует его лишь как продолжение настоящего. Как будто он несет на вытянутых руках свой мир, семью, хозяйство, затаив дыхание, чтобы, не дай бог, не опрокинуть, не сдвинуть что-нибудь. Он сумел сделать свой бедный дом домом-полной-чашей и хочет, чтобы это длилось вечно. За границами его владений мир кажется слишком туманным, чтобы формулировать желания от своего имени. Ему случалось мечтать, чтобы его дом-полная-чаша вдруг очутился в независимой стране (он хоть и понятия не имеет о чудесном путешествии Дороти, когда смерч унес ее вместе с родным домиком в страну Оз, но представляет себе это событие как-то похоже), то есть в

стране, где ему больше не придется вставать и приветствовать каждого проходящего руми, а стало быть, не столько в независимой, сколько в стране, где он сам будет свободен, – а значит, мечта Али и здесь не выходит за рамки его мирка. То, что происходит в горах, важнее всего и нуждается в защите. Нельзя, чтобы французские солдаты поднялись сюда и отняли у горцев то небольшое, что им принадлежит, их счастье, принесенное бурной рекой. Иными словами, французы внушают ненависть, французы внушают страх, и поэтому их так необходимо успокоить.

– Как вы думаете, они поймают партизан? – спрашивает кто-то.

– Конечно, – без колебаний отвечает Али.

Он сражался во французской армии, на его глазах она выигрывала, казалось бы, невозможные бои. Уж перед горсткой мятежников она точно не спасует. И тени – как бывает каждый раз, когда он вспоминает о том, что было там, в Европе, – вдруг пробегают по его лицу, и вот уж ввалились щеки, и на лице десять разных гримас, и ни одной застывшей. Тряхнув головой, чтобы прогнать накопившиеся внутри воспоминания, он бросает коротко:

– Они не могут проиграть.

Старый Рафик – он служил несколько лет на сталелитейных заводах в Верхней Марне – кивает:

– У них есть машины, каких мы в глаза не видели, они производят металлы, о которых мы и понятия не имеем. Что с ними поделает славная армия алжирской независимости? Здесь-то никогда не произвели даже коробка спичек.

Разговор затянулся надолго. Оспаривая уверенность каида, называют имена тех, кто в прошлом укрывался в горах и кого Франции так трудно было изловить, а иных и вовсе не удалось сцапать до сих пор. Старики говорят об Арезки, благородном разбойнике из леса Якурен, о Гранде из Себау, которого французская пресса окрестила кабийским Робин Гудом. Вспоминают, смеясь, что, когда его искали годами, он ухитрился устроить праздник, пригласив больше тысячи гостей на обрезание своего сына, а французские жандармы, которым об этом пиршестве сообщили слишком поздно, нагрянули в деревню и уже никого не нашли.

– Ну и что? – говорит Али. – В конце концов его все равно отправили на гильотину.

Смеркается и резко холодает: таковы ночи в горах. Холод кусает, как маленький невидимый зверек. Но Али остался бы здесь насовсем. Он хочет, чтобы ему сказали, что он прав, а еще лучше – доказали, что он прав. Впервые за долгое время он не уверен в своих речах и мнении. И все же он продолжает. Делает то, что должно. Он вещает. Провозглашает. Представляет.

Поздно ночью, прокричав много часов, Йема родила девочку. Малютку назвали Далилой. Мать любит ее немного меньше, чем Хамида. Отец смирился.



Через несколько лет после смерти жены Клода в Палестро приехала Мишель, его сестра, – помогать брату в магазине. Говорят, что из Франции за ней тянется какая-то неприятная история и ее отъезд – не столько альтруизм, сколько необходимость. Это роскошная женщина, и красота вселила в нее такую уверенность в себе, что Мишель уже сама забыла, как она обязана этой чертой характера своей внешности и производимому ею впечатлению. Она-то думает, что родилась такой самостоятельной – и приводит в доказательство и ранний уход из родительского дома, и добытый упорством диплом, и любовные истории, ни одна из которых ее не поработила. В лоне французского сообщества города она – фигура скандальная и привлекательная. Мужчины Палестро не могут ее описать, эпитеты от нее как будто отскакивают. Они говорят просто: у нее грудь, у нее ноги, у нее губы, и потом – молчание, повисающее вслед за названной частью тела, полное их более или менее тайных фантазий, восхищения и досады. Когда Али входит в магазин, а она стоит за прилавком, он мгновенно теряет дар речи. Мишель, не в пример другим европейкам, не носит ни чулок, ни колготок на своих золотистых ногах. Не прикрывает их от взглядов бельем, тонким, как луковая кожура или пленка пота. Она говорит, что слишком жарко, и, забираясь на первую или вторую ступеньку стремянки, чтобы достать коробку с верхней полки, показывает пятьдесят сантиметров голых ножек, правую и левую, то есть добрый метр кожи, если сложить их вместе, и этого больше чем достаточно, чтобы Али проглотил язык. Зато Хамид перед Мишель не робеет. Он обнимает ее ноги, тянет за юбку, запускает пухлые ручки в ее кудри. Мишель обожает мальчугана, она целует его, гладит, и Али невольно воображает, что это его касаются руки и губы женщины. С тех пор как ему посчастливилось ее встретить, он чаще заходит в лавку, сам себе не признаваясь, почему проводит там все больше времени. Он относит это на счет дружбы Хамида с Анни и пользы, которую она может принести ребенку. Пока деревенские мальчишки царапаются о колючки и острые камни, Хамид спокойно играет с маленькой француженкой, которая обращается с ним как с

равным. Али просто думает – слегка кривя душой, – что старается на благо сына, когда приводит его в лавку к девочке.

Клод никогда не жалуется на их визиты, наоборот: он встречает их с радостью и всегда предлагает оставить у него мальчика на пару-тройку часов. Когда Мишель, Анни и Хамид с ним в магазине, Клоду хорошо. Вместе они образуют странную семейку, думается ему, но она как бы отрицает его одиночество и вдовство. В своем кругу он называет Хамида «арабчонком, которого мы почти усыновили». Йема расцарапала бы себе лицо, услышь она подобный вздор, но Клод, никогда не бывавший в горах, вообразил, что мальчугану нужна эта новая семья, и он решил ему ее дать.

Но при всей привязанности к Хамиду лавочник не нарушает один из неписаных запретов колониального общества: публичное пространство здесь отделено от личного. Мальчика и его отца принимают только в магазине, никогда – в квартире над ним, разве что Анни поднимется туда на минутку за игрушкой. И так происходит по всей стране, на всех уровнях: живущие в ней разные народы встречаются, беседуют, знакомятся только на улице, у прилавков магазинов, на террасах кафе, и то не всех, но никогда – или крайне редко – в доме, у семейного очага, который остается сугубо личным пространством. Клод, может быть, и любит мальчика как сына, недаром же он так говорит, но любит он его только на первом этаже.

Там, в магазине, он учит Хамида французским словам, чтобы тот мог здороваться с входящими клиентами.

– Дратуте! – выпаливает мальчик, стоит кому-то войти с улицы, – звучит словно крик сказочного животного.

Реакции бывают разные.

– Вы не боитесь? – спросила однажды покупательница, увидев, как он играет с Анни.

– Боюсь чего? – удивляется Клод.

– Хотя бы из соображений гигиены, – нерешительно продолжает покупательница. – И потом... он может ее похитить.

– Ему три года!

Клод смеется. А даме не до смеха. Для нее арабы вроде зверей, и созревают быстрее французов. В три года хищник уже может охотиться, самостоятельно добывать пропитание, размножаться. Не то чтоб все арабы для нее таковы – но все-таки...

– Старая кошелка, – говорит Мишель, когда она уходит.

– Досидань! – кричит ей вслед Хамид.

«До свидания», – поправляет его Клод с твердой интонацией учителя. Мечта лавочника – чтобы мальчик пошел в школу, когда немного подрастет. Анни уже учится, Клод отдал ее в государственную школу, а не в одно из католических учреждений, куда отдает своих детей большинство французов. Ему хотелось, чтобы его дочь ходила в школу, которая была бы как страна – не обязательно та, где он живет, но такая, в какой он хотел бы жить: для всех. В первый день учебного года он понял, что почти все ученики – маленькие европейцы, сыновья и дочери тех, кто не может платить за частные школы. Редкие же мусульмане (Клод так и не знает, как их называть, он перебрал много наименований, и ни одно ему не нравится) – дети местных тузов, все мальчики, чьи родители уже *офранцузились*. Тут ни встреч, ни равенства, ни веселого братства на школьных скамьях. Для Клода, однако, очевидно, что Алжир можно построить лишь совместными усилиями, а для этого нужно учить всех детей одинаково. Так же очевидно для него, что у Хамида не будет выбора в жизни, если он не получит образования. Это для крестьянского сына – единственное оружие.

Когда он заговаривает о будущем Хамида с Али, тот пожимает плечами. В школе ничему не учат, во всяком случае, ничему такому, что было бы связано с землей – а будущее Хамида неотвратимо связано именно с ней. (Зачем искать другие возможности?) Ремесло землепашца тяжело, даже если приносит богатство, так что пусть лучше дети бегают вволю, пока не впрягутся в работу. Разве это жизнь – просидеть на скамье те самые неповторимые годы, когда они могут пользоваться полной свободой? Хамид еще в том возрасте, когда принадлежность к группе (семье, клану, деревне) необязательно предполагает труд. Ребенку позволено ничего не делать, пусть играет. А вот взрослого человека за праздность будут презирать. Тот, кто ничего не делает, говорят в деревне, пусть хотя бы вырежет себе трость.

В каком возрасте становятся взрослыми – пока не вполне ясно. Хамид еще думает, что детство будет вечным, а взрослые – существа другой породы. Потому-то они и суетятся, ездят в город, хлопают дверцами машины, обходят поля, наведываются к супрефекту. Он не

знает, что и ему предстоит однажды влиться в это вечное движение. Вот и играет, как будто больше делать нечего, и это правда – пока. Он гоняется за жуками и бабочками. Разговаривает с козами. Ест что дают. Смеется. Он счастлив.

Он счастлив, потому что не знает, что живет в стране, где нет отрочества. Переход от детства к взрослости здесь крут.



Выбрать свой лагерь – дело не одного момента и не единственного точного решения. Может быть, его даже и вовсе не выбирают, или меньше, чем хотелось бы. Свой лагерь выбирают через множество мелочей, деталей. Думают, что еще не определились, а на самом деле выбор уже сделан. Немаловажную роль играет язык. Бойцов ФНО, например, зовут поочередно *феллаг* и *муджахидин*. *Феллаг* – это бандит с большой дороги, грабитель, убийца, подстерегающий из-за угла. Иное дело *муджахид* – это солдат священной войны. Называть этих людей феллагами, или фелузами, или просто фелами, значит – слово есть слово – представлять их вредителями и считать естественным защищаться от них. А вот счесть их муджахидами значит сделать из них героев.

В доме Али, как правило, их называют просто ФНО, как будто он и его братья чувствуют, что, сделав выбор между феллагами и муджахидами, они уже зайдут слишком далеко. ФНО сделал то. ФНО сделал это. Впору представить себе, что этот фронт состоит и не из людей вовсе, что ФНО – некая газообразная субстанция, оформившаяся в тело со множеством щупалец, способное бряцать оружием и выхватывать баранов из стада. Но когда на язык приходит слово, потому что есть надобность поговорить об отдельных людях, а не о спруте, или орле, или огромном льве как общем целом, – тогда Али и его братья говорят «феллага», без презрения, без гнева, просто слово приходит само собой. Но кто может сказать, вытекает ли слово из уже определенной политической позиции, или, наоборот, оно, это слово, и формирует позицию, постепенно откладывая в их мозгах непреложную истину: бойцы ФНО бандиты.

В Ассоциации в этот день их особенно много, и все нервничают сильнее обычного. На столах нет карт. Нет домино. Это импровизированная *джемаа*, собрание для обсуждения недавних событий, которые всех касаются и всех волнуют.

С самого своего образования ФНО запрещает алжирцам иметь дело с французской администрацией, голосовать, исполнять

избирательные функции и – главное для собравшихся сегодня мужчин – получать ветеранскую пенсию. Ничего удивительного, ничего нового: такова вот уже десять лет позиция различных националистических движений. Но на сей раз ФНО провозгласил это с большим количеством афиш и листовок в деревне двух членов Ассоциации. Эти афиши гласят: каждый, кто ослушается, – предатель и карается смертной казнью. Потому-то Ассоциация в этот вечер полна, шумна и суматошна. Мужчины хотят обсудить, как реагировать на эти запреты. Листовка переходит из рук в руки, и даже неграмотные внимательно смотрят на нее, хмурят брови, взвешивают на ладони. Вглядываются в буквы, покрывающие страницу, точно наколотые на булавки насекомые, надеясь – может быть, – что они зашевелятся и что-то им скажут, как, кажется, говорят другим.

– Они запрещают даже курить сигареты, – выпаливает кто-то.

Али не может удержаться от смеха. Тот, кто это сказал, испепеляет его взглядом, потом мало-помалу смягчается, повторяет фразу и тоже улыбается. Это несерьезно. Сигареты? Так вот к чему сводится битва за независимость Алжира? К бойкоту табака, который они все курят?

– И как эта хрень избавит нас от французов? – спрашивает Али. – Еще одна головная боль...

– Это как если бы я отрезал себе руку в надежде, что румы будет больно, – говорит ветеран Первой мировой.

Одобрительные кивки.

– Для независимости нужны жертвы, – протестует Моханд (Вторая мировая). – Нельзя просто сидеть на заднице и ждать, что она придет по щелчку пальцев. Вот... – он гасит сигарету о плиточный пол. – Я брошу, если это необходимо. Пустяки.

– А наша пенсия – тоже пустяки? – спрашивает Камель. – Если я перестану ее получать, думаешь, ФНО будет кормить мою семью?

– И потом, кто бы говорил о независимости? Да еще так напыщенно... Независимости ты при жизни не увидишь, поверь мне.

– Французы отсюда не уйдут, – подтверждает Геллид. – Видел, сколько здесь строится? Думаешь, они нам все это оставят?

– Значит, нечего и пытаться? – кривит рот Моханд.

– ФНО ничего не добьется, только посеет смуту. А кому за это достанется? Им? Как же. Нам, конечно.

Сейчас кто-нибудь обязательно это скажет, произнесет имя людоеда. И точно:

– Ты помнишь Сетиф?

– Тысячи убитых! Тысячи! И все это за то, что подняли алжирский флаг. Мы вправе иметь флаг или нет?

– Я никогда его не видел...

– А чей это флаг? Ты думаешь, он наш, кабийский? Думаешь, что арабы будут добрее французов?

– Крим Белкасем ^[16] кабил.

– Вот Криму Белкасему и отдай твои сигареты, раз он так хочет!

Снова слышны смешки, короче и на более высоких нотах. И Моханд кричит:

– А французы хотят, чтобы мы им отдали всю страну!

Страна, флаг, нация, клан – эти слова они употребляют редко. В 1955 году каждый еще может вкладывать в них разный смысл, кто какой хочет, на какой надеется или боится. Но одно ясно, осязаемо для всех мужчин Ассоциации; мелочь в масштабе Истории, но в этом белом зале звучит во всю силу: чтобы следовать заветам ФНО, им надо отказаться от пенсий.

– Но тогда, – бормочет Акли, – значит, мы сражались зазря?

Он чуть не плачет. Ведь улетучатся не только деньги, но и статус, и все воспоминания, сам смысл существования Ассоциации: эти люди хотят сделать так, чтобы абсурдные боины, в которых они принимали участие, что-то значили. И Акли не переубедить: если пенсия – знак того, что он проданся французам, то для него такая продажность – доказательство достоинства, а не наоборот. Пенсия значит, что колонизаторы не могут просто черпать из запасов пушечного мяса колоний, пенсия значит, что тело Акли принадлежит ему, и если он решит сдать его внаем, то вправе получить за это компенсацию. А если этой компенсации нет, чье тогда тело?

– Не ФНО же все-таки?

Али не по себе. Он знает, что для него аргумент необходимости не работает. Он может отказаться от пенсии и продолжать кормить семью, в отличие от большинства собравшихся мужчин. Но хоть голод и не грозит ему непосредственно, почему он должен урезать свои доходы? Чтобы избавиться от неловкости, он обращает ее в альтруизм:

– А солдатские вдовы, – спрашивает он, – им что, тоже отказаться от своих пенсий? У них больше ничего нет. Мужчин не осталось. Дети растут без отцов. Что будет делать ФНО – женится на них и станет обрабатывать их земли?

– Я уверен, что, походив месяцами по лесам, многие из них с удовольствием *обрабатывают их земли*, – говорит с улыбочкой Геллид.

Кто-то хмыкает, кто-то хмурит брови.

– Дай мне спелых фиг, напои водой из родника твоего, – напевает Геллид, – отвори врата твоего сада.

Эту старую песенку все знают, но в этот вечер никто ее не подхватил, и она замирает на губах Геллида, как будто так и надо. Он закуривает новую сигарету.

– Однако после Красного дня всех святых они шибко умничали, – вставляет Моханд, – руми, каиды – все. Они говорили нам, что расправятся с ФНО в один присест. И что теперь? ФНО никуда не делся, он-то и вершит закон в деревнях.

– Я в них поверю, когда сам увижу, – цедит сквозь зубы Али.

– А по мне, век бы их не видеть, – возражает Геллид.

Обсуждение продолжается, но разговор уже пошел по кругу.

Али не говорит о том, что у него есть личные причины остерегаться ФНО. В свои тридцать семь он принимает в штыки молодость мятежных вождей, чьи имена звучат все чаще – одни в газетах, другие только у всех на устах. Да и недостаток образования он тоже принимает в штыки. Для него это разгневанные молодые крестьяне, и с какой стати ему идти за этими людьми, которые ничего не сделали, чтобы заслужить присвоенные ими титулы и звания? Большинство даже не женаты и не главы семей. А еще претендуют на руководство *катибой*, целым регионом, а кое-кто даже и страной. Али хочет, чтобы страной руководил кто-нибудь, кого он уважал бы, и додумывает, боясь признаться самому себе: кто-нибудь не такой, как я. Тот, чье превосходство было бы мне столь очевидно, что я даже не мог бы ему завидовать. Говорят, что перед восстанием 1871 года Эль Мукрани – который до тех пор исполнял и даже предугадывал приказы французов – заявил: «Я согласен подчиняться солдату, но не торгашу». Али чувствует примерно то же самое.

Уходя из Ассоциации, он напоминает присутствующим, что через месяц обрезание Хамида. Али готовит настоящий пир. Уже есть список сортов мяса и блюд. И несмотря на тягостную атмосферу, несмотря на сгустившееся напряжение, он приглашает всех, даже ветеранов Первой мировой, чьи истории похожи одна на другую, даже Моханда, который верит в революцию, как ребенок верит, что найдет корни тумана. Они расстаются на этой радостной ноте, и поэтому всем кажется, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается, а выстрелы гремят слишком далеко, чтобы повлиять на ее ход.



Ночь темна, непроглядна, густа, в такую ночь не различить, что там, наверху, совсем близко в сплошной черноте, темное ли небо или невидимый склон горы. Ночь тиха и глубока.

И вдруг вспыхивает свет в непроницаемо-черной пелене: желтые, оранжевые, красные языки пламени разрывают ночь, ее пронзают тысячи искр. Первый, кто это видит, будит окрестные дома криком:

– Пожар! Пожар в горах!

Тут вспыхивает второй сноп пламени, на склоне, напротив того, что занялся первым.

– Там тоже! Пожар!

Загорается третий, четвертый. Деревня окружена кострами, пылающими высоко в горах, пахнет дымом, слышен треск. В этой ночи неоткуда взяться ничему другому – огни и шумы города за много километров отсюда, – и пламя, вспыхивающее через равные промежутки времени – это не может быть стихийный пожар, – кажется непомерным в пустоте и тишине гор. Однако огни не расползаются, не высовывают красные языки в поисках малейшего пучка сухой травы. Только вздымаются все выше, грозные, но обуздываемые кем-то невидимым.

Люди высыпают из домов. Те мужчины, у кого есть охотничьи ружья, держат их в руках. Кричат и плачут разбуженные дети. Вскоре им начинает вторить осел, и его раскатистый рев эхом отдается от скал.

Три темных силуэта входят в деревню. Когда они совсем близко, их можно различить: эти люди одеты в военную форму и, кажется, вооружены до зубов. Они окружают вышедших на улицу жителей и велят им идти на главную площадь, после чего стучат в двери богачей, Амрушей и Али и его братьев.

– Соберите людей, – приказывают они спокойным, но не допускающим возражений тоном, – надо поговорить.

Брюки из тонкого полотна, которые Джамель в спешке натянул, чтобы открыть дверь, плохо скрывают ночную эрекцию.

– Извини, что потревожил, брат, – говорит один из мужчин с понимающей улыбкой.

– Приведи себя в порядок, – строго велит младшему Али.

Он слышал, что люди из ФНО – скоты. Его удивили их вежливость и приличная одежда. Это уж скорее Джамель в своей непристойной пижаме и с опухшими со сна глазами выглядит животным.

По пути на площадь Али смотрит на огни, окружившие деревню, и прикидывает, на каком они расстоянии. Давние рефлексy вернулись, когда он уже думал, что утратил их, и с ними вместе – страх, холодком пробегающий по спине, тот самый, который он силится сдержать или хотя бы скрыть. На фоне языков пламени он видит пробегающие силуэты, в этом смутном и дрожащем театре теней прямые только тени ружейных стволов. Сколько их? Двадцать? Пятьдесят? Сто? Они в непрерывном движении, сосчитать невозможно. Мужчина – по-видимому, глава отряда ФНО – перехватил взгляд Али.

– Да, – говорит он, – нас много, – и добавляет с такой торжественностью, что Али чудится в ней ирония: – Мы – народ.

Только у этого человека в руках автомат «Стен» [\[17\]](#)– Али узнает его сразу (даже Наима, и та узнала бы его: это оружие участников Сопротивления во всех фильмах о войне, которые она видела). У него исхудавшее, как у всех партизан, лицо, выдающийся нос, слегка запавшие глаза. Он гладко выбрит, чего с ним, должно быть, давно не случилось: кожа из-под щетины проступила белая и тонкая. Она блестит в свете пламени. На фоне этой нежной бледности особенно ярко выделяются густые темные усы, идеально обрамляющие верхнюю губу. Этот человек соизволил предупредить о своем приходе, и это успокаивает Али: если он хочет произвести хорошее впечатление, значит, пришел не для того, чтобы их убить.

Двое других внушают меньше доверия. У одного гноятся глаза, у второго рассечена бровь, отчего взгляд косит. Только усатый, которого эти двое зовут лейтенантом, соответствует сложившемуся в голове у Али образу воина. Остальным разве что кур воровать. Он чувствует, что лейтенант думает так же и нервничает от близости двух подручных: он все время посматривает на них.

Вся деревня собралась, лейтенант велит толпе сесть и сам садится по-турецки. Али отмечает, как гибки его движения, и думает, что его костистое тело, тело оголодавшего, отнюдь не утратило мускулатуры. В этом человеке есть что-то от хищника. Али не знает, что военные и

французская полиция зовут его между собой Таблатским Волком. Это прозвище ему очень идет. Скоро его подхватит и пресса. Обращаясь к толпе, лейтенант не представляется. Он идет прямо к цели:

– Мы ушли в партизаны, чтобы сражаться во имя нашей страны. Мы здесь, чтобы противостоять французам, потому что пришла пора нам завоевать независимость или погибнуть в бою. Вчера нас была только горстка, мы прятались. Франция воспользовалась этим, чтобы оболгать и оклеветать нас. Она попросту пытается вас обмануть. Мы не воры и не бандиты. Мы муджахиды, бойцы. Это Франция вас грабит, Франция вас убивает. Сколько невинной крови на руках у французков? Франция долго преследовала нас. Но нас так и не нашли. Сегодня мы выходим сами. Смотрите: мы не преступники! Мы такие же, как вы: кабилы, мусульмане, и, главное, мы хотим быть свободными. Это наши горы. Эта земля (тут он зачерпывает горсть песка и камешков, взвешивает их в ладони и улыбается), эта земля суха, скудна, но она наша! Оливковые рощи, источники, козы, нивы, виноградники в долине, пробковое дерево, руда, которую они добывают из вспоротой земли в Бу-Медране, разве это все не наше?

Деревня колеблется между восторгом и страхом. Восторгом, потому что все согласны: французы не имеют никакого права на то, что дает кабилам земля гор. Страхом перед этим «мы», слишком легко слетающим с губ человека, которого никто здесь никогда не видел.

– Мы богатая страна. Франция заставила нас об этом забыть, потому что все приберегла для себя. Но когда французы уйдут, будет рай. Время пришло. Вам нечего бояться. Мы сильны, у нас есть оружие, и мы не одни. Тунис, Марокко, Египет нам помогут. Поверьте мне: французы скоро уйдут, хотят они этого или нет. Это не мятеж. Это Революция.

Радостные крики взмывают над площадью, и, не видя, что происходит, женщины в домах отвечают звонким эхом, которое сквозь глинобитные стены тоже летит ввысь в темной ночи, до высокого пламени костров, до самых звезд.

– Мы гордый народ, – продолжает лейтенант, – народ, единый в борьбе. Революция – дело общее. И вы тоже поможете прогнать захватчика.

– Как? – спрашивает Али.

Лейтенант поворачивается к нему, мерит взглядом (стоит ли отвечать сейчас?), потом склоняет голову набок.

– ФНО не требует от вас, чтобы вы сражались, не сегодня. Но вы можете предупреждать нас о действиях французской армии, об их передвижениях в горах, о местах, где они ставят кордоны. Ты...

Он показывает на Валиса, юного сына Фарида Белкади, и тот выпячивает грудь.

– Ты будешь дозорным.

Валис по-военному отдает честь. Что-то не нравится Али в этой сцене. Валис стоит с гордым видом, но трудно скрыть, что он ждал этой новости, а может быть, и с этим человеком уже знаком. Али незаметно озирается. Сколько здесь еще таких? Что, если кто-то привел ФНО в деревню? Кто? И в обмен на что?

– Ты, – снова говорит лейтенант.

Его палец указывает на одного из сыновей Амруша. Али чувствует, как замирает его сердце, словно вся кровь вдруг стала холодной и вязкой.

– Ты будешь собирать налог. Отныне вы больше не станете платить каиду – этому продажному псу французов. Мы организуем в деревне сбор революционного налога. Я обещаю вам, что он будет справедлив, но уверяю, что он необходим. Если нашим людям понадобится отдохнуть здесь перед партизанской вылазкой, вы предоставите им кров и пищу. Они сражаются за вас. За Алжир. Да здравствует Алжир!

Эти слова вновь встречены радостными криками. Умелый оратор, думает Али: вздымает грудь толпы так быстро, чтобы люди не успели задуматься, во что им обойдется то, о чем он просит. Знал он таких, десять лет назад, по ту сторону моря.

– Да здравствует алжирский Алжир! – кричит вся деревня.

– Да здравствует Кабилия! – надрывается один старик.

– Да здравствует алжирский Алжир! – еще громче откликаются оба подручных лейтенанта.

Старик не дает отнять у себя слово и затягивает нараспев:

*Я поклялся, что от Тизи-Узу
До самого Акфаду
Никто не навяжет мне свой закон.*

*Мы согнемся,
Но не сломаемся.*

Стихи Си Моханда [18] подхватывают хором. Пока все радостно гомонят, муджахид достает из своей котомки Коран, а из-за пояса – длинный кинжал.

– А теперь, – говорит он, – поклянитесь, что все мы братья, все едины в борьбе и вы никому не скажете о том, что мы здесь были.

И вся деревня клянется в единодушии, какого раньше за ней не наблюдалось, клянутся Али и старший Амруш, Валис-дозорный, юный Юсеф, крича громче всех, и маленький Омар с незнакомой доселе серьезностью.

– Хорошо, – кивает лейтенант. – Коран – это хорошо. Данное слово – это прекрасно. Но помните и об этом...

Он перебрасывает свой кинжал из одной руки в другую, не агрессивно, не грубо, а с какой-то веселой удалью. Впервые улыбается, обнажив все зубы, и Али снова видит в нем давешнего хищника, великолепного и грозного.

– Мы не будем тратить пули на предателей, – просто заключает он.

С этими словами он встает, давая понять, что собрание окончено. Жители деревни, еще разгоряченные, смотрят на него удивленно. Им кажется, будто музыка смолкла посреди танца. Им посулили Революцию, они поклялись в верности борьбе, но все подробности остались скрыты от них за семью печатями. Они не хотят отпускать троицу. У них еще множество вопросов. Например: каков план Революции? Какой следующий этап? Люди из ФНО отвечают, что ничего не могут им сказать.

– Так тебе же лучше, брат. Ты ничего не расскажешь французам, если тебя будут допрашивать.

Кто-то хочет знать, что будет, если армия прослышит об этом визите, узнает об их клятве и захочет отомстить. Как тогда предупредить ФНО?

– Никак, – отвечает усатый муджахид.

– Вы нас не защитите?

Тот медлит с ответом.

– Вам ничего не грозит, – говорит он наконец.

– Мы сможем уйти в леса с вами, если нам будут угрожать?

Поправив «Стен» на плече, лейтенант делает знак своим людям. Они покидают деревню строевым шагом, и их быстро поглощает ночь. Огни в горах почти одновременно гаснут, силуэты исчезают. Как будто все это деревне приснилось.

Али не возвращается в дом и не ложится рядом с Йемой. Он идет под оливами, глубоко вдыхая ночной воздух. Ему хочется анисовки. Воздух так не успокоит. Снова темно, листья хлещут его по лицу, ноги спотыкаются о корни и сломанные ветки. Раз за разом он вспоминает все, что произошло. Али не может отрицать, что кричал и клялся, как все. И дело не в речах – человек ему понравился. За этим человеком он мог бы последовать, не стыдясь, да. Но, не в пример большинству жителей деревни, которых эта сцена впечатлила до такой степени, что они ждут независимости буквально на днях, Али не убедили слова лейтенанта о мощи ФНО. Ему трудно поверить, что соседние страны доставят винтовки и автоматы прямо сюда, в их горы. И если бы Египет посылал оружие, разве эти люди не были бы вооружены лучше? Али видел только один «Стен» на плече главаря, а его подручные довольствовались охотничьими ружьями. Он рассуждает, прикидывает и говорит себе, что для прихода сюда мятежники постарались предстать в наилучшем виде, об этом говорили безупречная военная форма и свежевыбритые лица, а значит, они взяли с собой и свое лучшее оружие. У тех, что остались в горах, наверняка только крестьянские пугачи. И потом, остается вопрос боеприпасов. Али знает, как трудно их достать: у самого давно нет. Французы ввели ограничения. Если ружья зарегистрированы, патроны к ним можно покупать только раз в год, и все. Хочешь – ищи порох на черном рынке и делай их сам. Али пробовал, и через раз эти патроны взрываются в лицо стрелку. А остальные рассыпаются в стволе от удара бойка.

Али садится в беседке, укрывающей новый пресс, этот технически совершеннее того, что принесла река. Слышит, как совсем рядом жует осел. Он закуривает сигарету и в свете пламени видит, как постарели его руки, ставшие со временем пухлыми и дряблыми. Сможет ли он еще сражаться?

Десять лет назад ему пообещали, что на войне он станет героем. Он не может думать об этом без дрожи. Он знает, что обещания тем и хороши, что должны маскировать риски и прихорашивать смерть. Ему страшно. Он не предполагал, что проживет так долго, чтобы война снова постучалась в его дверь. Наивный, он говорил себе: война каждому поколению своя.

Но верит ли он лейтенанту с повадкой волка, когда тот утверждает, что час настал, что война началась? Будь у ФНО чем вооружить деревни, он бы, конечно, это сделал: поднял бы всеобщее восстание. Однако сегодня лейтенант скорее спешил остановить мужчин, которые хотели уйти в леса. Почему? Али уверен, что им не хватает оружия и организация слабовата, чтобы обучать новых рекрутов.

– Ты видел, сколько их было? – спросил Хамза наутро.

От танца костров в горах у него перехватило дыхание. Он не догадывался, как его старший брат, что это была всего лишь мизансцена, разработанная, чтобы произвести впечатление: задуманная, чтобы на нее смотрели издали, вблизи она утратила бы всю магию, словно трюк фокусника.

– Когда ты в темноте проходишь трижды в одном и том же месте, тоже кажется, что прошли трое, – ответил Али, пожав плечами.

Он все решил этой ночью. Ему нужны доказательства, чтобы поверить в борьбу. Без уверенности, что он на стороне победителей, он не пойдет. С него хватит.



Йема беременна третьим ребенком, и подготовка к празднику вымотала ее. От пота хна, которой окрашены ее волосы, собирается в складках на шее и рисует темные ручейки на ее золотистой коже. Склонившись над тазом, она моется на скорую руку, чтобы успеть вернуться к сыну до начала церемонии. У нее болит спина. Она долго и тщательно готовила кускус с помощью золовок и невесток. Ей еще нет двадцати, но она чувствует себя старой. Да она и не знает, сколько ей лет. Знает только, сколько у нее детей, и с появлением третьего она станет старухой.

Она едва успевает с опаской поцеловать Хамида, и тут ее гонят прочь. Мальчик остается в доме с отцом и дядьями; настоящие горцы, в традиционных одеждах они похожи на грандиозные сувенирные статуэтки: кабилы ради такого случая с удовольствием гримируются под кабилов. Первым делом приходит парикмахер и приступает к стрижке. Он срезает только одну черную курчавую прядь, но этот жест символизирует начало процесса, завершение которого для мальчика означает конец детства. Потом мальчику басовитыми голосами рассказывают, каким мужчина должен быть; скоро он тоже станет мужчиной. Отвага, говорят они, благопристойность, гордость, сила, мощь. И эти слова донимают мальчика, как слепни.

Анни учит в школе, что Средиземное море пересекает Францию, как Сена пересекает Париж.

Когда мужчины выходят из комнаты, женщинам снова разрешается войти. На Хамида ливнем обрушиваются поцелуи и похвалы. Ему дают корзинку, полную сладостей, крошечных, тающих во рту, и Хамиду явно нравится черпать из нее липкими от меда пальцами. Йема смотрит на него, и у нее щемит сердце. Она знает, что ее сыну неизвестно, какая боль его ждет. Он радуется этой церемонии, потому что ему сказали, что после нее он станет большим, но он еще не знает, как бывает больно, ему случалось разве что оцарапаться о камни и колючки. Он, наверно, так и представляет себе, что будет

завтра: еще одна царапина, только и всего. Но особенно грустно Йеме оттого, что после церемонии Хамид будет уже не ребенком – то есть существом неопределенного рода, – но мужчиной или, по крайней мере, мальчиком. А это значит, что он не сможет больше быть при ней, держаться за ее юбки, его нельзя будет ласкать. Теперь он будет сыном Али, его правой рукой, его будущим. Завтра она его потеряет, а ведь ему всего пять лет.

– Ешь, сынок, ешь, – шепчет она.

Анни учит в школе, что Рене Коти [\[19\]](#)– президент Республики. Учительница показывает детям его портрет. Анни находит, что он для этого слишком стар.

Наевшись, Хамид протягивает правую руку, чтобы ее окрасили хной. Женщины поют:

*Твои ручки окрасятся хной
И будут руками мужчины, мудреца.
О милый братик, как ты спишь
В твоей постельке принца, короля!*

Клод выносит из магазина стол и нежится под последними лучами солнца на улице.

Хамида укладывают, как только он проявляет первые признаки усталости. Вокруг него столпились сводные сестры, тетки, кузины, шурша тканями и позвякивая украшениями. Они нашептывают ему на ушко сказки про мужчин – отважных воинов, про женщин – жемчужин чистоты, про войну, не знающую измены, и про любовь, не знающую усталости. Он засыпает, улыбаясь, в свою последнюю ночь детства, а праздник продолжается в доме и на улице, под оливами и фигами в полях его отца. Тени деревьев в свете факелов и ламп из кованого железа сливаются с тенями танцующих. Йема устала, спина так болит, хоть плачь, но, несмотря ни на что, она тоже поет и танцует в честь своего первенца, своего солнышка, которого она теряет. Белесый рассвет встает над обессиленным праздником.

Амрушей нет. Али невольно думает, что виной тому приход в деревню людей из ФНО. С тех пор как член их семьи был назначен сборщиком налога, Амруши решили, что принадлежат теперь к новому лагерю, им нечего жить по заповедям деревни. У них иные повеления, извне. Они приняли логику войны.

Покупательнице, заметившей статью, на которой открыт «Пари-Матч», Мишель тихо говорит, улыбаясь:

– Знала я мужчин, которые наносят молниеносный удар. Скажу вам прямо, хвалиться нечем.

– Подумать только, – отвечает покупательница в том же тоне, – сколько мужчин падают с неба, и до сих пор ни одному не пришла благая мысль приземлиться в моем саду.

Мясо сменяют сладости, и губы, блестящие от жира, покрываются сахарной глазурью, медом, золотистыми хрустящими крошками.

Ритуал разработан как театральная пьеса, опера, и есть, конечно, люки с двойным дном, из которых может появиться *deus ex machina* [22]. Как только исчезает с блюда последний пирожок, с улицы раздаются крики, возвещающие о приходе *хаджема*, обрезателя. Это сигнал для Мессауда, брата Йемы: он должен пойти за мальчиком и увести его от группы женщин. Он встает – с той легкостью, какую может позволить себе после пиршества: отяжелел живот и затекли ноги.

Увидев его, Йема крепче прижимает Хамида к груди. Она уже не знает, играет ли отведенную ей в церемонии роль или вправду не хочет отпускать от себя сына. Хамид, мало что понимая, испуганный стонами матери, тоже начинает плакать. Куда девалась уверенность принца и короля. Забыты слова, которые вчера повторял ему отец. Забыта отвага, забыта благопристойность, забыта сила. Мессауд хватает мальчика под мышки. Йема удерживает его за ногу, прикалывает к рубахе серебряную брошь-амулет, целует его. Каждым своим движением она следует ритуалу, хотя больше всего ей хочется, чтобы все прекратилось, и она поет, вернее, рыдает нараспев:

*Делай свое дело, хаджем,
Да направит Аллах твои руки,
Не порань моего сыночка,*

*Иначе я рассержусь,
Делай свое дело...*

Мессауд крепко держит племянника, и Йема отпускает его. Женщины вокруг нее подхватывают хором:

*Делай свое дело, хаджем,
Не то нож остынет.*

Хаджем – старый горец, чья дата рождения теряется в глубине времен. Он привык к плачу детей и к слезам их матерей. В углу комнаты он спокойно развязывает узелок, в котором лежат его инструменты: дощечка с дыркой, нож, веревочка с деревянными шариками на концах, семена можжевельника. Али выходит из комнаты. Когда нож будет резать плоть, ни один из родителей не должен присутствовать. Мальчик должен один, по крайней мере, без их помощи справиться с первой в жизни мужчины болью. Хамид в руках у своих дядьев: Мессауд, брат матери, отдает его Хамзе, брату отца, и тот сажает его на колени. *Хаджем* раздвигает ноги мальчика и ставит на пол блюдо, наполненное землей, для крови и крайней плоти.

Когда он берет пальцами конец пениса и вводит в него семя можжевельника, чтобы защитить головку, Хамид начинает кричать, не сдерживаясь, во всю силу легких. Он больше не хочет быть мужчиной. Он зовет отца и мать. Все вдруг стало ловушкой: новая красивая одежда, еда, смех и песни. Все это для того, чтобы отрезать ему пипиську. Что бы ему там ни рассказывали, теперь он *знает*, что ее всю, просунутую в отверстие дощечки, старик отхватит ножом. (Двадцать лет спустя Наима будет так же горько плакать, когда отец впервые сыграет с ней шутку, будто оторвал ей нос, и покажет в доказательство кончик большого пальца между указательным и средним. И при виде плачущей дочери Хамид смутно вспомнит свой страх перед обрезанием.)

Ему пять лет, и он думает, что умрет от жестокого увечья. Ему надо выбраться отсюда. Он бьется на руках у Хамзы, который не может его удержать и шепчет на ухо в неловкой попытке успокоить:

– Если будешь вертеться, он отрежет лишнего.

Хамид заливается слезами с удвоенной силой. За дверью Йема рвется в дом, чтобы спасти сына. Женщины удерживают ее. Разве ты не хочешь, чтобы твой сын стал мужчиной? Позже, хочется сказать Йеме, позже. У него вся жизнь впереди. Пусть только перестанет плакать. Разве вы не слышите, что ему страшно? Что ему еще нужна мама?

А в доме старый *хаджем* смотрит Хамиду прямо в глаза, и взгляд у него ласковый.

– Я отрежу только маленький кусочек, – объясняет он. – Он мешает твоей пипиське расти. Когда я его уберу, ты сможешь развиваться как мужчина.

Хамид, весь в слезах и соплях, чуть-чуть успокаивается.

– Чак, – говорит *хаджем*, улыбаясь, как будто все это славная шутка.

И подкрепляет слово делом. Земля в блюде тотчас впитывает брызнувшую кровь, а крайняя плоть уже лежит на темной поверхности, как не донесенный до рта кусок на пиру.

Реакция Хамида двойственна: в первый момент он с облегчением констатирует, что большая часть его пиписьки осталась на месте. В тот же миг он чувствует боль, как удар хлыста. Хочет было снова закричать, но дядья уже его поздравляют: «Ты держался молодцом. Ты отважный маленький мужчина. Мы гордимся тобой». До обрезания он еще мог позволить себе разнюниться, но теперь? В этот день, сам того не сознавая, он начинает новую жизнь, жизнь, в которой будет стискивать зубы и кулаки, жизнь без слез, жизнь мужчины. (Позже он машинально будет иногда ронять: «Я плакал», говоря, что способен волноваться, но на самом деле глаза его высохли в пять лет.)

Старик тщательно моет руки, потом готовит пасту из сосновой смолы и масла и наносит ее на головку. Мальчик кусает губы, чтобы не застонать. Наконец жестами волшебника *хаджем* отбивает верх у яйца и вводит в него пенис ребенка. Все мужчины по очереди встают и бросают банкноты в руки новообрезанного. За дверью вновь звучат голоса женщин, флейта и барабан. Хамид стал мужчиной.

– От Фландрии до Конго, – старательно повторяет Анни отцу за обедом, – везде царит закон, и закон этот – закон французский.

- Что ты говоришь, милая?
- Это стихи Франсуа Миттерана.

Когда они наконец ложатся рядом после трех дней праздника, Али притворяется, будто не слышит плача Йемы. Спрятав голову под одеяло, она долго рыдает и не может уснуть. В тихом ворковании, которое она издает, глотая слезы, еще столько детского, столько наивности, что Али, смирившись с тем, что спать не придется, обнимает ее, а она шепчет:

- Мой маленький, моя крошка... я его потеряла.
- Ничего не изменится, – успокаивает ее Али, – все будет хорошо.

Он тоже хотел бы, чтобы чьи-то руки, больше, сильнее его рук, – руки Аллаха? руки Истории? – обняли его и укачали в этот вечер и заставили бы забыть гадкий страх, поселившийся в его сердце: Амруши не пришли.



Каменный коридор вертикально поднимается в гору и спускается осыпями, раскидывается известковыми кружевами, углубляется, принимая маленькую речку, которую впитывает и сушит лето. Пейзаж становится похож на декорацию к вестерну. Но когда течет вода, он смягчается струями, водопадами, мелкими волнами. Зеленеет гирляндами и купами. На склонах нежные ранние маки раскидывают кроваво-красные пятна лепестков. Мелкие рыбки и угри скользят в потоке серебристыми отблесками. Четырехкилометровая вереница скал тянется вдоль изменчивого Уэд-Иссера [\[23\]](#) и узкой дороги между водой и горами. Ущелья к северу от Палестро в начале двадцатого века привлекали много туристов и немало поспособствовали развитию города: гостиницы и кафе процветали, принимая гостей в прочной кожаной обуви и шляпах пастельных тонов. Ущелья Палестро входят в число чудес природы, которые мало кому вздумается посетить в наши дни, когда и Палестро больше не называется Палестро, и иностранные туристы бежали из Алжира после «Черного десятилетия» [\[24\]](#).

Восемнадцатого мая 1956 года подразделение Эрве Артура отправилось на разведку [\[25\]](#). Большинство в нем – молоденькие солдаты, только что прибывшие в Алжир. Они успели только оставить вещи в так называемом Доме путевого обходчика, подивиться на добела раскаленное солнце и поесть за общим столом в столовой, плечом к плечу, жуя в такт. Еще они натянули сетку для волейбола. В этом великолепном антураже мальчишки забыли о форме и подставляют тела солнцу, уже предвкушая, как вернутся домой загорелыми и мускулистыми и будут ходить козырем по улицам своих деревень. Они уже подружились, это легко, когда проводишь вместе весь день. Делают снимки для тех, кому не посчастливилось увидеть воочию эту ослепительную природу. «Вот было бы здорово приехать сюда на каникулы!» – пишет родителям один из парней. Но 18 мая, когда они шли по ущельям Палестро в направлении Улед-Джерры [\[26\]](#), ущелья эти сомкнули челюсти и перемололи их. Подразделение Артура попало в засаду, расставленную ФНО, и молодые солдатики, их капралы и командир, взятые на мушку бойцами, притаившимися в

горах, пали один за другим. Зажатых в тесной горловине со скалистых выступов подстрелить легче легкого. Разведывательная миссия закончилась, едва начавшись, продлившись всего несколько часов.

Молодость ли заставила этих бойцов забыть, что армия, как и ФНО, должна сражаться, убивать, а если придется, и умирать? Или так вышло потому, что в метрополии все еще отказываются употреблять слово «война»? Или оттого, что засада длилась всего двадцать минут, так быстро, что это просто оскорбительно? Не потому ли тела были найдены зарезанными, изувеченными ударами ножей, с выколотыми глазами? Как бы то ни было, этот майский день во Франции запомнят как бойню, которой не мог ожидать никто. В прессе напишут, что трупы солдат из подразделения Артура были выпотрошены и набиты камнями. Что их детородные органы были отрезаны и засунуты им во рты. Журналисты не случайно подчеркнут тошнотворную утонченность этого варварства. Они покажут метрополии, что в Алжире *умирают*, и напомнят: умирать страшнее, когда ты молод, и еще страшнее, если ты изувечен.

Солдаты, оставшиеся в Доме путевого обходчика, и еще многие, расквартированные в этой зоне Кабилии, обезумели от боли и ярости, узнав о судьбе подразделения Артура. Новости – реальные и лживые – кусают их, как шершни. Лопаются кровеносные сосудики в глазах. Они кричат.

В мае 1956 года французская армия развернула репрессии вокруг города Палестро: колонны солдат уходят на штурм гор. Мстят. Убивают. Сами знаете, что надо сделать, сказали им в высоких сферах. Когорты мстителей идут в верном направлении, если, конечно, уместно сказать «верном», по крайней мере, в правильном, они движутся в Улед-Джерру, входят в ущелье и рубят-стреляют-убивают, выплескиваясь в Тулмут и Герр. Другие высовываются лишь для того, чтобы ударить-рассечь-убить, все равно кого, все равно где. Никакой стратегической логики в этом нет. Они идут на Бударбалу, почти достигают Цбарбара.

Навстречу этим колоннам, идущим мстить, тянутся другие – колонны крестьян, которые бредут без цели, без скарба, уходят, просто бегут в панике. Будь наблюдательный пункт установлен выше горных вершин, оттуда было бы видно, как склоны движутся во всех направлениях – обезумевший муравейник.

В 2010-м Наима просидела ночь за пивом в пустой галерее с ирландским художником, который выставляет фотографии разоренного Дублина. Предупредив: фильм так себе, он все же настоял, чтобы она посмотрела сцену из «Майкла Коллинза» [\[27\]](#), и сказал:

– Вот это и есть война за независимость.

На маленьком экране ее компьютера бронированные машины, угловатые, как богомолы, ошетилившиеся автоматами, въезжают на стадион «Кроук-Парк» прямо во время матча по гэльскому футболу. На стадион пришли семьями, все в белом и зеленом, улыбаются и покрикивают. Это, очевидно, воскресенье. Она видит, как танки ползут по полю. Останавливаются. Один игрок завершает маневр, посылая мяч высоко над башнями этих странных насекомых. Толпа аплодирует. Англичане открывают огонь и стреляют по пятнадцати тысячам человек.

Это и *есть* война за независимость: в ответ на насилие горстки бойцов свободы, которые обучались, как правило, сами, где-нибудь в подвале, в пещере или в лесу, профессиональная армия, бряцающая оружием всех мастей, выходит против гражданского населения, вышедшего поразвлечься.

Впервые в деревню Али въезжает вереница джипов, битком набитых французской солдатней, и на всех лицах – маски гнева. Пинками и прикладами они выгоняют жителей из домов. Приказывают им лечь на землю, руки за голову. Обыскивают дома, переворачивают все внутри, бьют посуду, вспарывают постели. Их грубость столь прихотлива, что очевидно: они сами не знают, что ищут.

Скорее всего, они просто хотят показать, что поняли: горы – это смерть. Туземцы – это смерть. Покончено с каникулами и летними лагерями. Они воют, что бы там ни сказала метрополия.

Али сразу ложится, и братья следуют его примеру. Лежа рядом, три горных великана похожи на выброшенных на берег китов. Старая Тассадит, от преклонного возраста кажущаяся иссохшей мумией, вдова, живущая лишь щедротами Али, не шевелится, когда ей велят выйти. Военные выволакивают ее из дома, осыпая бранью. В ее беспорядочных движениях им видится провокация.

– Она глухая! – протестует Али, приподнимаясь.

И изображает, прижав руки к ушам, глухоту старухи.

– Глухая! Понимаете?

– Заткнись, ты! – кричит солдат, пнув его ногой в живот.

Али тяжело падает. Ударившись подбородком о камень, чувствует, как горячая солоноватая кровь растекается во рту.

Теперь, вытащив Тассадит из дома, солдаты отнимают у нее палку, и один из них – совсем молоденький, почти мальчик – лупит ее почем зря. Сержант, сидящий на ступеньке джипа, и не думает вмешиваться. На глазах у застывших крестьян кожа старухи становится красной, потом синей, потом черной. Солдат продолжает бить, пока палка не ломается пополам в руке.

– Черт! – кричит он.

– Ты в порядке? – спрашивает другой – кто бы мог подумать, что при подобных обстоятельствах проявляют столько заботы.

Глаза Али на уровне сапог, на уровне хорошо смазанных стволов, летучей пыли, безвольных тел. Он слышит выстрелы, стараясь думать, что стреляют в воздух. Рискует поднять голову на несколько сантиметров в надежде увидеть давешнего лейтенанта-волка. Если у него есть дозорные в каждой *мехте*, он должен был узнать о приезде джипов еще до того, как деревня услышала шум моторов... И если он покажется, Али клянется себе, что больше его не покинет, будет следовать за ним как тень, убьет за него, если понадобится. Раздается новый залп, следом молитвы – их стонут, перемалывают стиснутыми зубами. Али закрывает глаза и ждет.

От долгого лежания его прохватывают жестокие судороги. Даже не верится, думает он, что от неподвижности может быть так больно. Он лежит, и время тянется так медленно, будто и вовсе остановилось. И солнце остановилось в небе, гнетущее, злое, и больше нет ни часов, ни минут. Али неподвижен в неподвижном времени, и ему больно.

– Ладно, довольно! – вдруг кричит сержант.

Солдаты подтягиваются к джипам. Они уже собираются сесть, но в последний момент двое из них принимают о чем-то совещаться с командиром. Али не слышит, что они говорят, но, с трудом вывернув шею, видит, как все трое кивают, и солдаты вновь поворачиваются к жителям деревни, которые так и лежат на земле. Несколько быстрых шагов – и они хватают двух мужчин, тех, что к ним ближе всех. Военный, ударивший Али, смотрит в его сторону, на миг задерживает

взгляд на нем, потом на тех, кто рядом. Али понимает, что он ищет его – где этот героический бундюль, посмевавший открыть рот? – но не узнает. Для него здешние жители все на одно лицо. Француз делает несколько шагов к Али, медлит, хватает Хамзу. Али хочет встать.

– Лежи, дурак, – шепчет ему Джамель, ухватив за пояс, – не то нам всем конец.

Али колеблется, не зная, кого защищать. Ведь это его братишку француз поставил на ноги. А другой братишка лежит рядом с ним и умоляет не вмешиваться. А дальше, перед домом, – Йема, Рашида и Фатима, три пары вытаращенных глаз, три срывающихся от слез дыхания. Йема лежит на боку, и ее огромный живот словно положили рядом, до того его полная округлость кажется отдельной от тела. На сей раз невестки уверяли Али, что будет мальчик. Али прижимается к земле всем весом, как будто земля может обнять его и принять.

Хамза слишком большой и толстый, чтобы тащить его одной рукой к машине. Солдату приходится подталкивать его в спину, направив на него дуло винтовки. Ему обидно, что нет возможности показать свою силу, и он отыгрывается, осыпая Хамзу бранью. Шлюхин сын, говорит он. Черножопый. Грязный бико. Козел вонючий. И мать твоя коза. Джипы трогаются в облаке пыли, которая оседает на лицах лежащих жителей. У нее вкус мела и бензина.

Все встают, осматриваются – живы ли родные. Две женщины кидаются к Тассадит. Старуха еще слабо дышит. Они несут ее в дом. У Омара, сына Хамзы, разорвана щека: пуля отколола кусок дерева, который попал ему прямо в лицо. У рыжего Ахмеда висит плетью сломанная рука. Хрустят суставы. Но никто не убит.

– Они знают... – говорит старый Рафик.

Медленно отряхиваясь от пыли, он повторяет:

– Они знают, что ФНО приходил к нам.

– Нет, – отвечает Али достаточно громко, чтобы слышали все, – это просто наказание за то, что случилось в ущельях.

Если бы французская армия заподозрила их в приверженности независимости, вряд ли им удалось бы так легко отделаться. Прознай французы, что произошло в ту ночь, ночь кинжала и Корана, наверняка – к примеру – не пощадили бы Валиса, дозорного, который тоже встает, вращая глазами во все стороны, всклокоченный, с белыми от пыли волосами, словно загримированный под старого сумасшедшего.

– А я тебе говорю, они знают, – упрямо твердит Рафик.

Али с раздражением косится на него. Он-то не сомневается, кто знает о том, что произошло, но не пошевелил и пальцем, – это люди из лесов. Они никого не защитили. Не защитили Али. Не защитили Хамзу.

– Что с ним будет? – плача, спрашивает Рашида.

Йема и Фатима пытаются успокоить ее ласками и уговорами, но она не желает, чтобы ее утешали золовки, они-то мужей не потеряли. Рашида плачет все горше.

– Если они его обидят, я их убью, – заявляет маленький Омар, и царапина на его щеке выглядит как боевая раскраска.

Али, не раздумывая, дает ему затрещину.

– Завтра туда пойду, – говорит он, чтобы успокоить Рашиду. – Надену форму и все медали. Пусть увидят, что мы не террористы. Его отпустят.

На рассвете Хамза вернулся сам, ошарашенный, но невредимый. На нем нет ни следов побоев, ни ран. Он провел ночь в камере, а через двенадцать часов ему открыли дверь без всяких объяснений.

– Я ничего не понял, – говорит он.

Семьи двух других пленников весь день ждут, когда же вернуться и их мужчины. Но дорога под горными соснами пуста и тиха. Никто не вернулся из Палестро. Уступив мольбам и угрозам деревни, амин отправился в казарму за информацией. Всю дорогу он ворчит. Назначенный кайдом, который сам назначен высоким чином, в свою очередь назначенным супрефектом, амин – последнее звено колониальной власти, ее низший уровень. Ему никогда не приходилось требовать ответа у французской армии, и его прохватила медвежья болезнь, когда он попросил о встрече с офицером. Сержант, командовавший колонной французских джипов, принял его учтиво. Он заверил его, что двое жителей деревни были отпущены на рассвете, как и Хамза, даже примерно в то же время. Не понимаю, пробормотал сержант, куда они могли пойти? Амин ломал голову, не издевается ли он над ним. И ответил, что понятия не имеет.

– Если что-нибудь о них узнаете, – сказал сержант, когда он был уже в дверях, – не сочтите за труд, зайдите, сообщите мне. Я беспокоюсь о них.

С сокрушенной улыбкой он помахал ему на прощание рукой.

В деревне амин раз за разом пересказывает эту встречу, медленно, кропотливо, как будто из его рассказа может вдруг явиться ответ, знак. Хамза утверждает, что, когда его вывели из казармы, он был один и двух других не видел. Поначалу ему говорят, что он везучий, радуются за него. Но дни идут, отсутствие двух мужчин ощущается все острее, и на него начинают поглядывать косо и перешептываться за его спиной, мол, если он вернулся невредимым, значит, заговорил. Но что он мог сказать?

– Они лучше нас с тобой знают, что происходит в горах, – говорит он Али. – Что такого они могли от меня узнать, не представляю.

И все же по деревне пошел слух, который тут же истово подхватили и раздули Амруши: Хамза изменил клятве на Коране, теперь его ждет кинжал. Несколько ночей Али и его братья, ложась спать, кладут рядом ружья. Но кинжала нет, никто не пришел, и помощи тоже нет – в чем Али видит доказательство, которое искал: у ФНО недостаточно сил для освободительной войны.

Смерть в горах потрясла до основания повседневную жизнь европейцев в Палестро. Ущелья опустели – нет ни туристов, ни рыбаков, ни художников и собирателей диких цветов. Певучий французский язык охотников за бабочками не разносится больше эхом от скалы к скале. Все больше покупателей косо смотрят на Хамида, когда тот играет в лавке. Некоторые изменили Клоду и покупают теперь у тех, кто этого достоин. Говорят, что хозяин «Центрального кафе» угощает за счет заведения каждого солдата, который принесет ему ухо феллуза. Чего не сделаешь, чтобы выпить фернет-бранка с геройским видом? И рекруты, заваливаясь под вечер, кладут на стойку окровавленный кусок хряща. За Францию, ребята! Вы это заслужили.

Семья Клода больше не выходит на загородную прогулку по воскресеньям. Анни хнычет. Ей хочется посмотреть, как извиваются угри в Уэд-Иссере. В городе жарко. Отец заговаривает ей зубы, солнце-де такое злое, что все рыбы уплыли на дно. Он просит ее потерпеть.

– Все-таки, – говорит он Хамиду, – печально, что выбрали самое красивое место в округе для такой бойни... Это, я бы сказал, эгоистично.

– Эготично, – повторяет Хамид.

Французские слова его смешат. Они похожи на пуки.

В конце лета, когда жара совсем сковала горы и живость осталась только у мух, Йема родила Кадера. Первый крик новорожденного был необычайно тих.

– Он знает, что идет война, – пошутила Фатима.



В сентябре 1956-го Али отправился по делам в столицу. Он ищет квартиру. Официально он хочет сделать последний шаг, отделяющий его от преуспевания, и иметь возможность жить в самом большом городе страны. У крестьянства успех измеряется – как ни парадоксально – удаленностью от земли. Когда на ней работают другие, потом машины, и вот можно больше не гнуть спину. А потом и не проверять самому, что работа сделана на совесть, и вовсе не приближаться к полю. Наконец, поручить другим и продажу продукции. Вообще ничего больше не делать. Быть где угодно. Или нигде.

Именно этот последний пункт и есть неофициальная причина приезда Али в Алжир: он боится, что дела в деревне пойдут из рук вон плохо. Деревню посетили по очереди каид, бойцы ФНО и, наконец, армия, и эти пришествия осквернили святилище, которым она была до сих пор. Возникают нездоровые напряжения. На деревню давят с разных сторон, и, возможно, плотина, выстроенная долгой и неспешной совместной жизнью против внешнего мира, наконец прорвется, высвободив обиды, мишенью которых, Али это знает, может стать и он сам. Алжир с его лабиринтами улиц и десятками тысяч лиц даст ему на время необходимую безымянность. Там никто не обратит внимания на его высокий рост. Назло бойцам, укrywшимся в горах, он уйдет в другие чащобы – в сердце самого большого города страны.

Алжирец, показывающий ему квартиру в Баб-эль-Уэде [\[28\]](#), Али не понравился. Он задает много вопросов, то и дело заговаривает о деньгах, все считает на манер французов, как будто саму его жизнь можно исчислить по капле. Нет, Али найдет что-нибудь другое. Пока же он прогуливается по центру, наслаждаясь прохладой моря, подступающего к самому бульвару, блуждает среди высоких зданий. Он встречает мужчин, красных от солнца, женщин в легких платьях в цветочек, венчиками вьющихся вокруг ног. Алжир полон их прелестей, их смеха, их длинных волос и ярко накрашенных губ. Он проходит мимо витрин портных, кожевников, мимо рыбной лавки – запах так и

бьет в нос, глаз не оторвать от подпрыгивающих чешуйчатых монстров. Сможет ли здесь жить он, горец? А Йема? А дети?

Он бродит, пытаясь представить себе, какой могла бы быть жизнь, не будь все это ему чуждо. Почти улыбается, рассматривая кафе на другой стороне улицы, чистенькое, блестящее, прямо-таки парижское. Впрочем, там пьют даже не кофе – традиция мавров, которую с арабами могли бы разделить и европейцы, – нет, это ЧАЙНЫЙ САЛОН С КОНДИЦИОНЕРОМ, как гласит вывеска. Никогда ноги Али не будет в таком месте. Не потому, что это запрещено, даже не потому, что он не осмелился бы, просто нет такого рефлекса – войти и смешаться с загорелой молодежью, видной ему сквозь витрину, – льняные брюки, юбки по колено, полосатые футболки, непокрытые головы. Быть может, живи они здесь, Хамид свободно заходил бы в эту дверь, чтобы встретиться с друзьями... Али мечтает о будущем сына. Внезапно жгучая оплеуха, наспигованная осколками стекла, швыряет его на землю.

Толстые стекла витрины «Милк-бара» разнесены мощным взрывом. Мебель с террасы заскользила, разлетелась и упала посреди улицы, как будто она легче перышка. Тяжелыми клубами валит дым. Из дверей, из зубчатых отверстий, бывших когда-то окнами, с воплями вываливаются клиенты. Сначала невредимые. Потом раненые, некоторые ползком. Дети. Много детей. Маленький мальчик, перемазанный ванильным мороженым и кровью, без одной ноги. Его глаза встречаются с глазами Али.

«Я клялся больше не взрывать бомб, – скажет в 2007 году один из лидеров ФНО Ясеф Саади, организатор терактов в “Милк-баре” и других общественных местах, – не из-за погибших, на погибших мне плевать, все там будем, но из-за покалеченных, оторванных рук, оторванных ног, от этого с души воротило, и я говорил себе: больше никаких бомб, никаких бомб. А потом тебя накрывает... Я все забывал и начинал сызнава».

Внутри повсюду валяются тела. Где-то с полсотни, но Али, смотрящий с другой стороны улицы, не уверен. Все, за что могут поручиться его глаза, – да, их слишком много. До него доносятся хрипы, и сквозь дым он скорее ощущает, чем видит содрогания. Замечает он и полную нелепицу: некоторые стаканы на столах целы, элегантно увенчаны бумажными зонтиками. Они торчат абсурдными

деталими в этой куче плоти, стекла и пыли. «За здоровье ФНО, – словно говорят они, – и хорошего воскресенья!»

Али поднимается, оглушенный. Даже не задумываясь, убегает со всех ног. Бежать, пока не прибыла полиция или армия. Он не хочет быть черножопым, оказавшимся не в том месте не в то время. Он бежит так быстро, как только может. Где оставил машину, он не помнит. Он заблудился. Пробегает мимо группы мальчишек, которые играют босиком, гоня кружащуюся по мостовой консервную банку. Встречает встревоженные взгляды женщин, пригнувшихся к земле под тяжестью узлов с грязным бельем, – они с опаской высматривают за ним фигуры полицейских, их непременно жди следом за бегущим арабом. Распугивает тощих облезлых кошек, которые кормятся из помойных баков да у жалостливых старух. Он ничего не узнает, кружит наобум. Лабиринт улочек и лестниц Алжира стал западней, она захлопнулась за ним и заставляет бежать без цели.

Легкие у него горят и как будто съежились в грудной клетке. Он не останавливается. Он выдержит. Двенадцать лет назад над Эльзасом шел снег, и он выдержал. Выбрался оттуда. Ему кажется, что он снова слышит вокруг немецкую речь, похожую на ругань. Он кричит, стараясь отогнать призраков. И вдруг – вот она, его машина, мирный островок у обочины тротуара. Он быстро садится и, тронувшись, едва не врезается в фургон молочника.

– Вот что бывает, только дай тачку арабу, – лаконично изрекает водитель юному разносчику.

Али едет. Едет, стараясь думать только о том, как держать машину прямо. Он покидает Алжир, а за его спиной вырастают кордоны, контрольно-пропускные пункты, быстро, без задержек. Город захлопнулся, стал мышеловкой. Через несколько дней начнется битва за Алжир. Квартиру Али так и не купит.



– *Бабá*, постой, *бабá*!

Уронив на сиденье пастилу, которую дал ему Клод, Хамид кричит, показывая пальцем на фигуру на обочине дороги.

– *Бабá*, там Юсеф!

Подросток одной рукой держит над головой газету, защищаясь от мелкого осеннего дождика, а другой голосует. На нем только серая рубашонка и широкие штаны, босые ноги покрыты мокрой пылью, уже свалывшейся в корку. С черных кудрей на лоб и шею стекают ручейки. Камю решил бы, что он похож на древнегреческого пастуха, но Хамид просто думает, что ему, наверно, холодно. Али притормаживает и открывает дверцу, не остановившись. Юсеф на ходу вскакивает в машину, широко улыбаясь в знак приветствия. Едва он успевает усесться, как Али дает ему такого тычка в плечо, что парень вскрикивает от боли.

– Я только хотел убедиться, что ты не призрак.

Юсеф не заходил к нему уже три недели. Амин снова спускался в казарму («это входит в привычку...» – ворчал он) и ничего не узнал (это для деревни давно уже дело привычное). Али задействовал свои, параллельные информационные связи в Ассоциации, но тоже тщетно. Никто не знает, куда делся парень, чей тюфячок ночь за ночью остается пустым. Деревня совсем поникла: еще один исчез. Его мать уже подумывает о том, чтобы надеть траур, и к ее обычным жалобам прибавились рыдания. А Юсефу, кажется, и дела мало. Он, как может, утрамбовывает свое тощее тело в мягкое сиденье. С ног на пол машины натекла лужица грязи, и Али морщится. Подросток смеется над его дурным настроением, и Хамид почти машинально вторит ему.

– Дай мне пастилы, – говорит ему Юсеф, обернувшись.

Он кладет конфету на язык с блаженной миной. Grimасничает еще пуще – позабавить мальчишку: закатывает глаза, будто сейчас умрет в экстазе, просовывает розовый кончик языка в щель между передними зубами. Хамид смеется громче, он тут благодарная публика, всегда рад кривляньям Юсефа или, вернее, самому Юсефу, если бы даже тот ничего не делал.

– Где тебя носило, бродяга? – вмешивается Али.

– Ох, тебе это не понравится, дядя...

Уважительное обращение звучит в устах Юсефа как никогда иронично. Он ерзает на сиденье, устраиваясь поудобнее, и в зеркальце заднего вида в последний раз подмигивает Хамиду.

– Что ты делал?

– Выбор, – туманно отвечает подросток. – Все сейчас делают выбор.

Али пожимает плечами.

– Ты называешь это выбором? Когда к твоему виску приставлено ружейное дуло?

– Мне надоело ждать, и я сам пошел к ФНО, – говорит Юсеф, пропустив его замечание мимо ушей.

Али ничего не отвечает, но с заднего сиденья, где возится Хамид, раздается радостный возглас:

– Мессали Хадж!

Оба вздрагивают. Через несколько месяцев после обрезания двоюродного брата Омар достал из тайника фотографию вождя Национального алжирского движения и дал ее Хамиду. И сказал, что в его возрасте уже пора все понимать про политику, Египет, восстание, право народов *на самоопределение* и прочее. Речь Хамид запомнил смутно, но имя врезалось в память и всплыло сейчас, когда он услышал, как серьезно говорят с переднего сиденья. Он повторяет его как заклинание, это имя – его доступ к разговорам взрослых.

– Еще чего? – сухо отвечает Юсеф. – С Мессали Хаджем покончено. Он старый. Он боится французов.

Уходи, пророк с глазами как угли. Героям Юсефа теперь лет тридцать, и они любят оружие. Они больше не говорят: вступиай в переговоры. Нет, они говорят: этап один, изничтожить чувство безнаказанности колонизаторов, посеять страх. Что до этапа два, там будет видно.

– И что же ты делаешь здесь, о воин Революции? – интересуется Али.

– Когда я ушел от матери – это я попытался пойти в партизаны. Встретил одного парня здесь, в Палестро, и он сказал мне, что его кузен там. Сказал: вот увидишь, он тебя сведет. Ну, ждем парня два вечера, три вечера. Его все нет. Наконец пришел и смотрит на меня,

поджав губы, вот так, вроде как думает, что я не гожусь. Чего? Это я его спрашиваю. Не нравится мне твоя рожа, так он мне и сказал. Ну и что? Это опять я. Тебе кто нужен-то? Бойцы или невеста? Ему смешно. Он мне говорит: все равно решаю не я. Я тебя отведу к командиру, но ты зря не надейся, там народ суровый. Я ему: а я и не рассчитывал встретить добреньких. Иду с ним, и он договаривается о встрече с высоким чином. Я говорю кузену парня: о чем меня будут спрашивать-то? Спросят, умею ли я держать в руках оружие? А то я стрелял из охотничьего ружья, было дело, но и все. Зато быстро учусь, говорю я ему, не зря меня прозвали ловкачом. Кузен пожал плечами и говорит: я не знаю. Как же! Отлично он все знал. Там, наверху, еще обыскали меня. Пришел командир, морда зверская. Я ему говорю, мол, хочу с вами. Говорю все, как думаю, мол, мне обрыдло, хочу сражаться, люблю Алжир. Говорю, что у меня нет отца. Франция, говорю, у меня его отняла. Ну, приврал немного, да ладно, кому от этого плохо? Он мне говорит: кого ты знаешь в горах? Никого, говорю, не знаю. Тогда ничем не могу тебе помочь, отвечает он. Я не отстаю, и он мне говорит: на что ты готов? Я ему, мол, готов на все. Отлично, говорит он, возьми это оружие и спустись сегодня вечером в Палестро. Пойдешь на улицу такую-то, номер такой-то, там большие зеленые ворота, а за ними белый дом в три этажа. Войдешь и стреляй во всех, кого увидишь. А чей это дом? Спрашиваю я. А это, говорит, не твое дело. Еще как мое, говорю я ему – я его совсем не боялся, – потому что, сдается мне, это дом супрефекта, и я отлично знаю, что он охраняется. Меня же сразу убьют. А он мне: ты умрешь за свою страну. Я говорю: вот объясни мне, брат, – а сам вижу: ох как его злит, что я его братом назвал, – объясни мне: какая польза Алжиру, если я умру? Что ему прибудет? Я молодой, сильный и люблю мою страну. Я хочу жить, чтобы строить. Если всех ребят, таких как я, поубивают, кто будет строить твой свободный Алжир? Старики и женщины? Ты ничего не понимаешь, говорит он мне, я тебя не возьму, если только ты не убьешь колонизатора или предателя, так сказал Крим Белкасем. А он кого убил? Спрашиваю я и показываю на кузена парня, того, что меня привел. Кое-кого, отвечает он. Уж точно никого, о ком бы я слышал, говорю я. Это что же получается: других принимают, если они выстрелили в старичка или в осла, а я должен один разбить всю французскую армию? И это ваша справедливость? Из-за тебя будут

говорить, что ФНО – это что-то навроде того, как у французов есть элитные клубы, куда и не вступишь, и никто объяснять не станет, по какой причине. А тебя-то чего несет в эти клубы, спрашивает он меня, ты что, любишь французов? Это просто пример, говорю я, для сравнения. А он мне: терпеть не могу поэтов. Я ему говорю, мол, он ничего не понимает. Он мне съездил по морде, и пришлось спуститься с кузенком, а тот всю дорогу поносил меня на чем свет стоит, мол, я повредил его чести, подорвал его репутацию. Веришь, Хамид?

Юсеф оборачивается к мальчику с широкой улыбкой:

– Даже чтобы делать революцию, нужна волосатая рука...

– Не вмешивай его в это, – велит Али.

Хамид на заднем сиденье давно не слушает: он, поплюнув палец, снимает крупинки сахара, упавшие на его рубашку. Зато Али есть что сказать:

– Твоя мать умрет от тревоги с таким сыном, понимаешь или нет?

– А если я останусь с ней, она убьет меня своими попреками.

Понимаешь или нет?

Али смеется, вспомнив Фатиму-бедняжку. Откинув голову на спинку сиденья, Юсеф закрывает глаза. Он не глядя протягивает левую руку назад, и Хамид великодушно кладет последнюю конфету ему на ладонь.



Январское утро 1957 года. Очень холодно – Наима даже не представляла, что бывает такой холод в Алжире, до своего приезда она воображала его выжженной солнцем гигантской пустыней. Воздух ледяной, и Али, несмотря на широкое пальто и шапку из овчины, ощущает его всей кожей. Подняв воротник, он спешит в Ассоциацию. Уже почти пришел, подбадривает он себя, еще несколько шагов, вот он свернет у «Спортивного кафе», минует лавку электрика... Если поблизости будет ошиваться какой-нибудь мальчишка, он пошлет его купить апельсинов и терпеливо очистит их в большом белом зале себе на завтрак. Улица на диво тиха, думает он, видя, что ставни на окнах закрыты.

Труп Акли как будто его и ждет, прислонившись к испачканной красным стене Ассоциации. Глаза ветерана Первой мировой открыты, серы и неподвижны. Он голый. Али инстинктивно отводит глаза, не желая видеть половой орган, – но слишком поздно, чтобы не отметить, какой он до смешного маленький, сморщенный и жалкий. Из рта Акли свисает, как язык у паяца, темно поблескивающая военная медаль. На его груди кто-то нацарапал острием ножа: ФНО. Над его головой на стене та же надпись намалевана кровью, а рядом со стариком картонная табличка, сообщает, что каждого продажного пса французов постигнет та же участь. Али вспоминает слова Акли о том, как он «продал» свои руки французской армии, тогда, на чрезвычайной *джемаа* в 1955-м. Чье тогда это тело, говорил он, если не спрашивать больше с французов платы за его труды? С французов. Получая пенсию, он считал, что вырвался из рабства. ФНО, однако, думал иначе. Как бы то ни было, Али уверен, что люди, убившие Акли, никогда с ним не говорили и называли его продажным псом только из-за его титула председателя Ассоциации, это было как украшение на уродливой женщине, да он сам первый над этим смеялся.

У Акли перерезано горло от уха до уха. Французы называли это «кабийской улыбкой», как будто речь шла о деле привычном, может быть, даже обыденном, в горах – все равно что разведение оливковых деревьев или изготовление украшений. Али, однако, впервые видит

такой изувеченный труп. Разверстое горло, словно второй рот, разинутый в громком крике, которого никто не слышал. Али потрясен той близостью убийцы и жертвы, какой требует такая смерть: тот стоял вплотную к старику, даже обнял его, чтобы перерезать горло. Он ощущал тепло его кожи, его пот, его дыхание. Али предпочел бы, чтобы Акли убили пулей.

Старик сказал ему однажды, рассказывая о Фландрии и о своей войне: лошадь в три раза больше человека, поэтому ее смерть в три раза страшнее. Сам он крошечный на фоне окровавленной стены. Бесшумно взрывается бомба, не выходя за пределы тела Али. Осколки печали и гнева отскакивают от его кожи, но остаются внутри, разлетаются во все стороны, бегут по венам быстрее крови. Шрапнель ненависти. Убивай. Мсти. Осколки застряли в плоти, и достаточно малейшего движения, чтобы их разбудить.

Когда на место прибывает маленький отряд солдат, капитан сразу обращает внимание на человека гигантского роста, который наблюдает за всем, кажется, не замечая холода. Металлическая ярость застит ему глаза – это чувство офицеру знакомо, и он знает, что может использовать его в своих целях. Возможно, он даже штудировал учебник типа «Практическое руководство по миротворчеству» или получил директивы, в общем, научился обращать к своей выгоде гнев туземцев. Он велит отвести его в казарму и усадить в своем кабинете.

В углу керосиновая печка; от нее исходит тяжелое тепло. Зимний свет сочится сквозь металлические планки жалюзи. В маленьком помещении с серо-зеленой мебелью, заваленном картами и папками, довольно уютно, но Али нервничает. Он не знает, зачем он здесь. Боится, что его обвинят в убийстве. В теплом пальто он задыхается и обливается потом. Когда капитан входит в кабинет с переводчиком, его чуть-чуть отпускает. Паренька, который служит переводчиком, он знает, его отец продает кур на рынке. Али не знал, что он *оделся* (этим словом называют в деревне тех, кто вступает в армию). Этот оделся явно с чужого плеча, он словно тонет в форме. Али здоровается с ним.

– Вы знакомы? – тут же спрашивает капитан.

Переводчик с преувеличенной торжественностью – с такой мажордомы в полосатых жилетах у дверей венских дворцов сообщают о прибытии гостей (Наима много таких видела в «Императрице

Сисси») – объясняет ему, кто такой Али. Говорит о деревне в горах, о плантациях оливковых деревьев. Али чудится промелькнувшая на лице капитана улыбка, но тот уже отвернулся и смотрит в окно. Когда он снова поворачивается, на лице подобающая случаю серьезность. У него красивые черные волосы, густые и напомаженные, напоминающие Али волосы актеров на афишах в кинотеатре Палестро. Его широкое лицо и особенно нос – необычайно подвижный – отражают каждую эмоцию. Кажется, будто маска то опережает его речь, то отстает от нее, лицо не зависит ни от слов, ни от воли офицера и живет в собственном ритме под началом гибкого, подрагивающего кончика носа. Капитан спрашивает:

– А покойного ты знал?

– Да, – кивает Али.

– Ты знаешь, отчего он умер?

Нос движется, живет собственной жизнью, и в этой его свободе есть что-то непристойное. Али смотрит, как он дергается, и не может сосредоточиться на том, что переводит ему толмач.

– Он продолжал получать пенсию, – отвечает он, заставляя себя отвести глаза. – ФНО это запретил.

– Он один продолжал?

– Нет, – говорит Али, – мы все продолжали, – выпрямившись на неудобном металлическом стуле, он заявляет твердо: – Это наши деньги.

– Я согласен, – кивает офицер. – Но ты знаешь, что это значит? Сам понимаешь, они на этом не остановятся.

Али пожимает плечами. Ему почти хочется, чтобы они пришли прямо сейчас: явись они в открытую, он мог бы подраться, пустить в ход кулаки, разбить им лица.

– Армия может тебя защитить, – говорит капитан, – защитить вас, Ассоциацию, твою семью. Для этого мы здесь.

– Что ты хочешь взамен? – спрашивает Али. – Я слишком стар, чтобы *одеться*.

Капитан с минуту молчит, раскачиваясь на стуле и пристально глядя на Али.

– Он правду говорит? – спрашивает он, кивком указав на переводчика. – Ты с Семи Вершин?

Али колеблется. Он никогда не называл так свои места. Мания французов все считать ему не нравится – тем более что нельзя жить на *семи* вершинах, надо выбрать одну. Тем не менее он кивает. На лице капитана медленно проступает улыбка, которую он мельком увидел в начале разговора. На этот раз она широкая, шире некуда. Занимает все лицо, тянется до ушей, приподнимает скулы и морщит нос. Офицер возвращает четыре ножки стула на пол и говорит почти с нежностью:

– Мне нужен Таблатский Волк.

– Кто?

– Лейтенант ФНО, что прячется там, в горах. Я уверен, ты с ним встречался. А если нет, ты наверняка знаешь кого-нибудь в твоей деревне, кто сможет мне о нем рассказать. Назови мне имя.

От этой фразы Али вздрагивает, как от пощечины или брани. О таком можно просить детей, обездоленных, паршивых овец, тех, кто не связан с группой узами солидарности. Но о таком не просят мужчину, главу семьи, одного из столпов деревни. Он смотрит на офицера с презрением и строго отвечает:

– Я ничем не могу тебе помочь.

– Тогда и я тоже.

Капитан больше не улыбается. В серо-зеленом кабинете ни один из троих мужчин не шелохнется. Даже кончик носа офицера замер. Слышно только, как урчит печка и сглатывает переводчик, которому не по себе.

– Покойный? – продолжает офицер через несколько секунд.

Труп вновь встает перед глазами Али. Особенно отчетливы два места: крошечный половой орган и огромная рана. Он несколько раз моргает в надежде его прогнать, но картина не уходит.

– Это был твой друг?

Али медленно кивает. Картина стала такой четкой, что ему кажется, будто и другие ее видят. Густые красно-бурые пятна. Серая старая кожа.

– Сочувствую тебе, – вздыхает капитан.

Он встает, с металлическим скрежетом отодвинув стул. Переводчик тут же бежит к двери и распахивает ее настежь. Холод врывается в комнату, бьет наотмашь всех троих, и под напором ледяного воздуха у Али мутится в глазах. Он встает так быстро, как только может.

– Ты куришь? – спрашивает его капитан в дверях. – Подожди меня снаружи, я тебе раздобуду блок-другой.

Когда Али расхаживает по двору, дрожа от холода, из казармы высыпают французские солдаты. При виде поджидающего кого-то горца их осеняет идея.

– Эй, псст, эй, Мохамед!

Али с раздражением оборачивается. Солдаты открывают яркие журналы, на страницах – голые женщины, золотистые шевелюры и кудри цвета воронова крыла, высокие дерзкие груди, полные ягодицы. Солдаты хихикают:

– Что скажешь, Мохамед? Нравится тебе?

Длинные ноги в черных чулках с замысловатыми подвязками, до предела выгнутые ступни в лаковых лодочках на высоченных каблуках. Али не понимает, чего от него хотят. Он отводит глаза, но солдаты, хохоча, машут журналами перед самым его лицом, и титьки, задницы, киски преследуют его, куда бы он ни повернул голову.

Зачем они это делают? Что себе думают? Али в третий раз женат, он наверняка видел больше голых женщин, чем эти мальчишки, попавшие прямо с ферм в казарму, где внезапно чувствуют себя обязанными строить из себя мужчин и соревноваться в мужественности.

Вернувшийся капитан отгоняет их, как безобидных, но шумных щенков. Солдаты разбредаются, особо не упираясь, а несколько выпавших из журналов страниц так и остаются на земле. Приоткрывается карминный рот. Бюст вот-вот вырвется из слишком тесного кружевного лифчика. Офицер протягивает Али сигареты. Тот уходит, даже не сказав спасибо, – уходит, как ему кажется, с достоинством и молча.

Когда он покидает казарму, переводчик разочарованно замечает:

– Вы не особо настаивали...

Офицер смотрит на него с доброй насмешкой:

– Зачем настаивать? Люди видели, как он вошел сюда. Он говорил со мной. Скоро он поймет, что этого хватит, он скомпрометирован. И тогда он поможет нам.

Мальчишки играют, гоняя кур между тремя домами. Они бегают с дикими криками, а пернатые отвечают возмущенным квохтаньем. Али

и Джамель тихо беседуют, глядя на них.

Братья сидят у старого глинобитного дома. Руки Али до сих пор дрожат, когда он вспоминает жалкий труп, выброшенный смертью на белую стену Ассоциации.

– Я не знал, что Акли был предателем, – говорит Джамель.

– Он и не был.

– Тогда за что они его убили? Наверняка сделал что-то плохое.

Али хочется ударить брата – тот ничего не понимает. Он с трудом берет себя в руки (не хватало еще, чтобы война проникла и в лоно его семьи).

– Ничего плохого он не сделал, – отвечает он, – только умер.

Ни о чем нельзя знать наверняка, пока ты жив, все еще может переиграться, но когда ты мертв, рассказ становится незыблем, и решает тот, кто убил. Убитые ФНО – предатели алжирской нации, а убитые армией – предатели Франции. Их жизнь, какой бы она ни была, не в счет: все определяет смерть. Разговаривая с Джамелем, Али понимает, что его поступки больше не важны, пусть он и выбрал молчание, когда сидел перед капитаном, оно ничего не значит, потому что ФНО решит за него, что он предатель, и его люди перережут ему горло от уха до уха. Вся честь, которую Али так берег при жизни, исчезнет по мановению лезвия ножа, и все узнают, что он мертвый предатель.

На следующей неделе он снова пришел в казарму.

– Спроси Амрушей, – сказал он капитану. – Они знают, где тот, кто тебе нужен.

Так он стал живым предателем. И был прав: никакой разницы нет.



– Ты слишком много пьешь, – говорит Клод, продавая Али бутылку анисовки.

– Сам знаю.

Хуже всего, что он пьет один. Никто больше не приходит в Ассоциацию после смерти Акли. Моханд и Геллид заявили, что немедленно отказываются от пенсий – Геллид боялся, а Моханд хотел этого после первой же листовки. Остальные, вероятно, все еще их получают, просто больше не приходят сюда посидеть. Не хотят себя компрометировать. Согласно обещаниям капитана, военные регулярно патрулируют улицу у двери, за которой Али остался один со стаканами анисовки.

После его второго прихода в казарму французы взяли двух сыновей Амруша, сборщика налога и его младшего брата. Али старается об этом не думать. Они сами начали. Что он может поделать? Он ведь должен защитить себя.

Он снова наполняет стакан и ставит бутылку на неустойчивую кипу брошюр. Смотрит на свое отражение в окне – ставни он не открыл. Глаза его пожелтели и стали стеклянными.

Военные, несущие вахту по соседству, несколько лет назад зашли и попросили его выставить в Ассоциации то, что французский политик Робер Лакост назвал в одной своей заметке «богато иллюстрированными брошюрами». Али получил несколько сотен листовок, которые теперь сложены во всех углах помещения. С какой стати ему было отказываться? Он берет брошюру из стопки и просматривает ее, отпивая из стакана маленькими глоточками. Она называется «Истинное лицо алжирского мятежа» – прочесть он не может, но один солдат ему сказал – и посвящена резне в Мелузе. Там, на высокогорных плато к северу от Мсилы, ФНО убил четыре сотни жителей деревни, обвинив их в поддержке Алжирского национального движения Мессали Хаджа, его прямого конкурента в борьбе за независимость. Лежащие в ряд трупы на фотографиях выглядят не больше соломинок. Али затягивается сигаретой, выдыхает дым и в пустой Ассоциации мысленно выстраивает цепочку вопросов: А

они? За что их? Они – предатели? Они боролись за независимость до вас! Как они могли вас предать, когда вас еще не было? За них у вас тоже найдется оправдание? Красивые слова? Гулко звучит его голос, низкий, дрожащий, и, хоть он никогда не бывал на спектаклях и даже не знает, зачем эти французы толпятся у входов в театры, в его речах с каждым стаканом анисовки все сильнее звучат печаль и гнев – как у Мадлен Рено, Робера Гирша или Андре Фалькона [\[29\]](#), когда те играют на подмостках трагедии из жизни королей и королев.

Обычно, после того как он просидит взаперти в Ассоциации два или три часа, его накрывает стыд; он и заставляет вернуться к жизни. Али проверяет, сколько еще осталось в бутылке, всегда надеясь, что выпил меньше, чем обнаруживает. Когда он встает, пол немного качается, но терпеть можно. Он умывается холодной водой и полощет рот. Снова увидев свое отражение в окне, ошеломленно смотрит на это лунное лицо – его лицо, – на котором жир еще маскирует старость. Осталось поправить рухнувшую кипу листовок – и вот он готов выйти.

Он знает, что эти брошюры – пропаганда, с помощью которой французы вербуют сторонников, в том числе среди глав деревень. Они гармошкой разворачивают страшные фотографии, а потом уверяют, будто нашли у одного из пленных черный список ФНО, в котором фигурирует имя их собеседника. Для тебя запахло жареным, говорят они. Ты-де поступишь умно, если дашь нам взять всю твою деревню под защиту, иначе будет то же, что в Мелузе. Часто это срабатывает. В конце концов, всем известно, что французы знают способы – да еще какие – развязывать языки пленным феллагам. Так что это, наверно, правда. Потом, разумеется, глава деревни узнает, что защита *покупается* и к тому же ее цена, как в любом фильме про мафию, неуклонно растет.

Да, Али знает, что у него в руках – орудие пропаганды, разработанное колониальными властями, он не глуп и не вчера родился, но так вышло, что у Франции и у него теперь есть общий враг, а пропаганда – превосходное топливо для гнева.

В задней комнате магазина Хамид и Анни строят замок из банок с томатной пастой. Она хочет, чтобы это был Версаль, он – чтобы дом

Людоеда. Игра быстро перерастает в ссору. Анни страшна в гневе, лучше ей не перечить.

– Тихо, дети! – кричит Клод с нервозностью, которой они за ним еще не замечали. – А то нам уже самих себя не слышно.

Анни рушит замок, не желая уступать. Хамид долго дуется, уставившись в черно-белую плитку. Она обнимает его и целует.

– Я тебя люблю, – говорит он.

– Ты еще маленький, – отвечает она.

Вечером Хамид задает отцу вопрос про любовь. В другой день Али ответил бы ему, что у него нет времени на эти глупости, но сейчас, разомлев от анисовки, он задумывается.

Брак – это устои, структура. Любовь – всегда хаос, даже в радости. Ничего удивительного, если двое не подходят друг другу. Ничего удивительного, если человек выбирает семью, домашний очаг, на прочной основе, на базе очевидного контракта, а не на зыбучих песках чувств.

– Любовь – это хорошо, да, – говорит Али сыну, – хорошо для сердца, ты можешь убедиться, что оно на месте. Но это как лето, быстро проходит. А после становится холодно.

Однако он невольно представляет себе, каково было бы жить с женщиной, которую он любил бы как юноша. От чьей улыбки цепенел бы каждый раз. От чьих глаз лишался бы дара речи. Мишель, например. Приятно чуть-чуть помечтать. Он не знает, что для его детей и тем более для внуков эти несколько мгновений мечты, которые он позволяет себе иногда, станут нормой, которой они будут оценивать свою личную жизнь. Они захотят, чтобы любовь была сердцем, основой брака, причиной создания семьи, и будут биться, силясь соединить порядок обыденной жизни и пламень любви так, чтобы одно не задушило и не уничтожало другого. Это будет вечный бой, зачастую проигранный, но повторяющийся снова и снова.



В конце 1957 года Йема родила еще одного мальчика, и отец решил назвать его Акли. У младенца большие иссиня-черные глаза, всегда открытые и неподвижные. С первых дней родителей тревожит его слабое здоровье. Он худенький, плохо дышит, часто горит в жару.

– Зря ты дал ему это имя, – упрекает Йема мужа, – сглазил.

Али не хочет верить в рассказы кумушек. Он отвечает, что придет весна и малышу станет лучше, как всем. Это от холода ему нехорошо, да еще и снег пошел, и жизнь как будто остановилась. Хамид с нетерпением ждет, когда братик поправится, он хочет показать его Анни. Так куда интереснее, скажет он ей, с *живой-то* игрушкой.

Однажды ночью, когда тишина гор еще сгустилась от снега, который окутал все и усыпил, Акли в колыбельке вдруг стал кричать и не мог остановиться. Вся семья столпилась вокруг содрогающегося от крика тельца. Лобик малыша горит, на груди выступили красные пятна. Йема пытается покормить его, но он не берет грудь. Она растирает его, опустив палец в мед, пытается засунуть ему в ротик, но Акли весь горит и кричит непрерывно.

– Наверно, надо позвать врача, – говорит отец.

Он сказал так больше для себя, чтобы разумное слово прозвучало во всей этой суматохе. Но знает, что невозможно: снег блокировал дорогу, и ни спуститься в Палестро, ни подняться оттуда нельзя. Родственники суетятся вокруг, а младенец кричит так, будто это вовсе не он вопиет, будто из него выходит что-то чуждое.

– Ступай за шейхом, – приказывает Йема Али.

– Чтобы он нес нам глупости про джиннов и показывал фокусы?

– Чтобы он спас твоего сына.

Как только заря окрасила бледным светом вершины гор, Али выехал из дома на осле (машина не признает снега, она артачится и пятится перед ним, словно охваченное паникой животное) и отправился к дому целителя. Тот живет в стороне от *мехта*, в доме с круглой крышей, как надгробия святых – к ним мать водила Али молиться, когда он был ребенком. Перед домом он невольно робеет и

входит с тем же почтительным страхом, с каким входил на кладбище. В доме нет ни женщины, ни ребенка, ни слуги, чтобы его встретить. Шейх живет один – как аскет, говорят его сторонники, как извращенец или пьяница, говорят его враги. Он смотрит на раннего гостя, не произнося ни слова.

– Мой сын болен, – робко говорит Али, сняв засыпанную снегом шапку.

– Я не доктор, – отвечает шейх очень мягко. – У меня нет лекарств.

– Он кричит... все время кричит... моя жена... – пытается объяснить Али. – В общем... Она думает, что в него вошел демон. Потому что я дал ему имя умершего.

Поколебавшись, шейх кивает.

– Я пойду с тобой.

Он собирает какие-то вещи в большую кожаную суму и бормочет вроде бы сам себе, но и для Али:

– Послушать женщин, так мир полон джиннов, они повсюду. Как будто у демонов других дел нет... На самом деле редко, очень редко случаются наши с ними встречи. Частенько за мной приходят, а демона-то и нет. Надо было просто принять аспирин, или не пить спиртного, или уж не знаю что. Но люди обижаются, когда я им это говорю. Они ведь никак не могут прожить без демонов.

Обратный путь долог. Под тяжестью двух мужчин осел еле идет, спина его прогибается. Али чувствует прижавшееся к нему чужое тело, и обоих мотает из стороны в сторону всякий раз, когда натруженное копыто натывается на камень. Когда они добираются до дома, кругляш солнца уже висит в небе и снег блестит под его лучами, как убор невесты. Крики Акли стали совсем слабыми, хрипылыми, мучительными, но они продолжают вырываться из груди малыша, ротик его дрожит, глазки вытаращены. Осмотрев его, шейх удовлетворенно хмыкает.

– Вы правильно сделали, что позвали меня, – говорит он родителям.

Йема не может удержаться и за его спиной бросает на Али победоносный взгляд. Первым делом целитель медленно катает по маленькому тельцу яйцо, нажимая на подмышки, пах и горло. После этого он просит Хамида закопать яйцо в дальнем углу сада. Потом

достаёт из своей сумы бумажные ленты, на которых написаны суры из Корана. Раскачиваясь взад-вперед, он нараспев произносит их над ребенком, который по-прежнему кричит. Через несколько долгих минут он протягивает ленты Йеме.

– Зашей их в его пеленки, – говорит он.

Младенец не перестает плакать, и целитель начинает жечь травы. Комната наполняется дымом и тяжелым запахом. Поводив по пламени острым краем плоского камня, он делает им на лбу ребенка, на руках и на груди несколько тонких вертикальных насечек. Акли наконец умолкает, устремив на целителя свои огромные черные глаза, два темных озера на маленьком сморщенном личике, залитом потом.

– Вот так, вот так, – шепчет шейх. – Все хорошо...

Али отвозит его назад на осле. Теперь, когда спешки нет, они почти засыпают и дремлют всю дорогу до маленького круглого дома, привалившись друг к другу.

– Ты не верил, ведь правда? – спрашивает шейх, раздувая угли в очаге.

Али, смутившись, пожимает плечами.

– Я тоже, наверно, не поверил бы, – мягко говорит целитель, – если бы не родился таким, но я умею видеть.

От кочерги с треском брызжут искры, и вскоре языки пламени уже лижут обугленные дрова. Оба со вздохом облегчения подносят к огню замерзшие руки.

– Я не говорю, что мне дана чудесная сила, – продолжает шейх. – На самом деле все, что у меня есть, – слово Божье, и я этому научился, это не дар. Но я знаю, что джинны бродят среди нас, и знаю нужную суру, чтобы прогнать их в пустыню.

– Разве есть одна сура на все?

– Два года назад ко мне пришла старая женщина, у которой сына замучила армия. Она попросила у меня суру, чтобы защитить дом и держать французов на расстоянии...

Двое мужчин улыбаются друг другу.

– Против ФНО у меня тоже ничего нет... – признается шейх. – Хоть я и начинаю думать, что это не помешало бы.

Наверно, этим двоим открыться друг другу позволяет усталость, или тепло после пути по снегу, или облегчение оттого, что смолкли

крики Акли. Они разговаривают просто и задушевно в белом с зеленым доме-кубе в форме камня Каабы.

– Тебе угрожают? – спрашивает Али.

– Их *улемы* [\[30\]](#) нас не выносят. Они считают, что мы извратили ислам нашим, как они говорят, идолопоклонством. Они ратуют за *чистый* ислам. Но что это значит? Для меня моя вера чиста. Дни напролет я думаю о Боге, вверяю ему каждую секунду моей жизни. Большого и желать нельзя. Значит, они желают меньшего. А меня это не устраивает.

Когда Али возвращается домой, Йема качает уснувшего младенца. Лицо ее осунулось, под глазами темные круги, но она улыбается мужу.

– Смотри, как он затих.

Аккли у нее на руках видит сны, и пузырек слюны тихонько вздувается на крошечных губках. Хамид, свернувшись клубочком на диванчике, тоже уснул. Он тихо-тихо похрапывает, как маленький довольный зверек. Солнце быстро всходит в небесах, а дом Али, игнорируя дневной свет, возмещает бессонную ночь.

– Во сне забываешь все заботы, – говорит Али сыновьям, когда им пора ложиться спать, – такая удача выпадает всего на несколько часов, так пользуйся ей.

Когда Али и Йема проснулись в середине дня, растерянные, еще не опомнившись от ритма, навязанного им усталостью, они обнаружили, что Аккли больше не дышит. Ребенок холодный, недвижимый, он посинел, губы и кончики пальцев почти фиолетовые. Веки закрыты и неподвижны, словно на его черные глаза положили два камня. И когда Наима думает об этой сцене, в памяти всплывает давным-давно выученное стихотворение: «Этой ночью никто не разбудит уснувших» [\[31\]](#).

Снег тает, тихий шум водопада доносится отовсюду, приглашает склониться и посмотреть, как хлопья на пышных ветвях становятся изменчивой, призрачной водой. Но Али идет прямо среди олив, покрытых белизной и инеем. За ним семят Хамид и Кадер. Он попросил их пойти с ним. Мальчики выдыхают густые облачка пара в

холодном, бодрящем зимнем воздухе, в нем все очертания кажутся четче обычного.

– Почему мы здесь, *баба́*? – спрашивает Хамид.

– Почему, *баба́*? – повторяет Кадер.

– Чтобы побыть вместе, – отвечает Али. – В мужском кругу.

Пережить горе в мужском кругу.

И они вновь молча идут по зимним полям. Али иногда оборачивается на двух старших сыновей и думает, не решаясь им это сказать, но надеясь, что они поймут: смотрите хорошенько на все, что вокруг вас, запечатлейте в памяти каждую веточку, каждую частичку земли, ведь никто не знает, что нам удастся сохранить. Я хотел дать вам все, но я не уверен больше ни в чем. Возможно, завтра мы все умрем. Возможно, эти деревья сгорят, прежде чем я успею понять, что происходит. То, что написано, скрыто от нас, счастье приходит к нам или уходит, а мы не знаем, как и почему, не знаем и никогда не узнаем, это все равно что искать корни тумана.

С этого момента нет больше открыток, нет ярких картинок, с годами выцветших до пастельных тонов, придающих всей сцене особое очарование. Их заменяют несуразные фрагменты, всплывшие в памяти Хамида и искаженные годами молчания и беспокойных снов, осколки сведений, которые невзначай роняет Али, отвечая противоположное тому, о чем его спрашивают, обрывки рассказов, как будто взятые из фильмов о войне, никем на самом деле не пережитые. А между этими пылинками, как замазка, как гипс, которым заполняют щели, как серебро, которое плавится в горах, чтобы послужить оправой для больших, иной раз с ладонь, кораллов, – поиски, предпринятые Наимой шестьдесят с лишним лет спустя после бегства из Алжира, поиски в попытке придать форму, упорядоченность тому, у чего их нет и, наверно, никогда не было.



В июне 1958 года к власти пришел генерал де Голль. В казарме Палестро ликуют. Де Голль – это вкус Франции, отец армии; де Голль – это де Голль, черт возьми. Он знает, что делать, да и на международной арене выглядит как надо. На террасах кафе солдаты поднимают бокалы с криком: «За Генерала! За французский Алжир!»

Стоящий за прилавком Клод, прикивая ухом к радиоприемнику, не столь решителен:

– Он говорит, что нас понял... Ладно, но кого это «нас»?

После смерти сына Йема не позволяет Али к ней прикасаться. Он все чаще ночует один в квартире в Палестро. В последние годы квартира была нужна разве что для упоминания в разговорах – вот-де как преуспел Али. В ней пахнет затхлостью и пылью. Иногда Али предпочитает сидеть на стуле в Ассоциации до самого рассвета.

У всех на виду надпись на скалах вдоль дороги, змеящейся до самого Цбарбара:

ФРАНЦУЗСКАЯ АРМИЯ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ И ВСЕГДА БУДЕТ ВАС ЗАЩИЩАТЬ

– Почему ты так поздно приходишь домой? – спрашивает Анни у Мишель.

– Я кое с кем встречаюсь... С военным. Никогда бы не подумала, что и я подхвачу эту моду на военных.

На прилавках крытого рынка запах фруктов, цветов и помятых овощей, пригретых утренним теплом, так назойлив, что и не скажешь – восхитительный он или гадкий. Хочешь пощупать помидоры – и палец погружается в их сочную мякоть. В Рыночном кафе мужчина за столиком читает статью о плане Константина [\[32\]](#), обнародованном Генералом 3 октября. Это длинный список цифр и обещаний: строительство жилья, передел земель, индустриализация и создание десятков тысяч рабочих мест, эксплуатация месторождений нефти и газа, открытых в Сахаре.

– Они бы никогда столько не вложили, если бы хотели уйти, – комментирует мужчина. – Они будут держаться крепко.

Юсеф снова исчез из деревни. Его больше не видно на площади. Не видно и у реки, в обязательном месте встреч для всех мальчишеских игр. Он больше не тратит свою жизнь на дорогу в горы и обратно.

Омар воспользовался случаем, чтобы повысить свой ранг в группе. Хамид теперь только и ждет возвращения старшего друга.

Согласно плану Шалля [\[33\]](#) дождь драгоценных камней пролился на страну этой осенью: операции «Рубин», «Топаз», «Сапфир», «Бирюза», «Изумруд». Смерть, настигшая регион Константины, никогда еще не носила таких красивых имен.

Деревни эвакуируются насильно и на скорую руку строятся в других местах, за кордонами и рвами. Тянутся процессии людей-улиток, почти как в детской считалке несущих на спине свои домишки – в разобранном виде. Французские власти лаконично называют их «переселенцами».

На призрачные зоны, оставленные жителями, сбрасывают бомбы, а иногда и напалм. Наима не поверит своим глазам, когда прочтет об этом, ведь она всегда была так убеждена, что смертоносная жидкость принадлежит другой войне, более поздней, получившей на нее исключительное право. Военные между собой говорят о «спецканистрах».

Эта война идет под прикрытием эвфемизмов.

Снова снег, ранний в этом году. Он окутывает могилку Акли толстым покрывалом, которое никто не решается снять. Склоненная тень Йемы на его фоне едва различима.

Воспоминания смутны, как спутана память Хамида и Али, вроде бы конец 1959-го. Французские солдаты добрались до вершины горы на веренице зеленых грузовичков, уродливых, как жабы.

– Ты знаешь Юсефа Таджера?

Рука хватает за ворот или прямо за волосы.

– Юсеф Таджер – тебе это что-нибудь говорит?

Большой палец уходит глубоко под ключицу, кулак почти раздавил запястье.

– Где он?

За каждым «не знаю» следует удар прикладом или ногой. Особенно усердствуют они с Фатимой-бедняжкой, матерью Юсефа. Она объясняет им, давясь слезами и осколками зубов, что понятия не имеет, где может быть ее сын, что он плохой сын, что у нее все равно что нет сына. Она почти забыла, что перед ней военные, и переходит на кабийский, выкладывая череду горьких жалоб на Юсефа. Он-де никогда не вел себя как мужчина после смерти отца, он-де ее единственный сын, но оставил ее одну в горе и бедности.

– Раз так, никто по тебе скучать не будет, – говорит сержант.

И стреляет ей в голову. Хамид здесь, совсем рядом, держится за руку двоюродного брата Омара. Он видит, как оседает тело Фатимы. Сломанной куклой. Обрываются ее жалобы. Мелким дождиком брызжет на стену кровь. Растекается большой лужей на земле под тряпьем ее тела. Когда старый Рафик кинулся к ней, сержант пристрелил и его. Дети убегают.

Ниже по склону, в отдаленных полях, крестьяне обнаружили оливковых мух. Принявшись отыскивать следы их кладки на плодах, они ничего не слышали. Встревожили их крики детей. Они тотчас бегут к ним. Добежав, не спрашивают «Что случилось?», но «Кто?».

– Франкауи, – кричит Омар, – они искали Юсефа! Фатиму-бедняжку убили!

– Оставайтесь здесь, – велит Али малышам и показывает на канаву. – Ложитесь на дно и лежите смирно, ясно?

Дрожа, мальчики повинуются. Они лежат в душистой траве лицом вниз, травинки щекочут им ноздри, по ним туда-сюда ползают насекомые. Это дети, с ними никогда ничего не случилось – даже четыре года войны пролетели над их головами, как далекие самолеты, пассажиров которых не разглядеть в иллюминаторы. И поскольку это дети, они мечтают с тех лет, когда можно мечтать, чтобы с ними что-то случилось, но, конечно, не это, не встреча лоб в лоб со смертью, не удар, нанесенный смертью прямо в лицо, и не ожидание в канаве, где

смерть похожа на травы, где смерть похожа на чашечки цветов, похожа даже на жука-скарабея, чья спинка разделена на два черных щита.

На дороге перезревшие фиги попадали с деревьев и превратились в темную липкую массу. Али поскользнулся, упал, расцарапал руки и колени, встал и идет дальше.

Переводчик капитана, сын продавца кур, тоже пришел с подразделением, захватившим деревню. К нему и бежит Али, подняв руки, как будто сдается, но при этом наступая, – или наоборот: наступает, сдаваясь. Он дает слово чести, что Юсефа здесь нет и никто его не прячет. Скажи им это, скажи им. Он ушел много недель назад, никто его не видел, такое с ним часто случается. Скажи им это, пожалуйста, скажи им. Али повторяет имя капитана, тычет пальцем в тех солдат, что видели его в казарме. Они меня знают, скажи им, они знают, что мне можно доверять.

Сержант смотрит, как он жестикулирует, умоляя переводчика. Наконец он делает знак своим людям сгруппироваться. Двое из них опускают заднюю створку одного из грузовиков. Достают окоченевшее тело, покрытое грязью и засохшей кровью, сбрасывают на землю. Это лейтенант ФНО, Таблатский Волк. Французские солдаты привязывают его к столбу.

– Он останется здесь, чтобы вы не забывали. Смерть никого не щадит, вам ясно? Героев нет, ясно?

Французы стремительно уезжают. Мертвое тело остается. Окоченевший труп муджахиды с засохшей на усах грязью похож на жалкую марионетку, куклу алжирского воина в плохом гиньоле [\[34\]](#).

– Спасибо, сынок, – говорил старая Тассадит Али.

Она ковыляет к нему и целует ему руки. Другие жители деревни тоже подходят поблагодарить его. Когда Али позже вспоминал эту сцену, ему на ум всегда приходил именно этот момент, непонятный извив Истории: никто не плюет ему в лицо, никто не винит в связях с армией. Все в деревне считают, что он спас им жизнь.

Труп Таблатского Волка, пленник своей вертикальной позы, смотрит мертвыми глазами, как жители деревни со слезами и улюлюканьем провожают останки Фатимы и старого Рафика на

кладбище, что на крутом склоне. Он привлекает зверье, шакалов, стервятников, полосатых котов, лисиц и тварей поменьше вроде землероек, крыс и полевок – кишашую массу с острыми зубками. Вправду ли он служит примером? Надо быть дураком на этой стадии «событий», или «беспорядков», или войны – называйте как хотите, – чтобы не понять: смерть грозит каждому, и не важно, с какой стороны она придет. Труп, в конце концов, не так страшен для горцев, как все сгинувшие, те, чье отсутствие пробило в памяти кровоточащую брешь, она выглядит как они сами, с их голосом, насмешливая пробоина с румяными щеками, серая брешь дождливых дней.

Иные сгинувшие ждут на дне реки, когда кто-то их хватится, другие в яме в пустыне, в расщелине в горах. Есть сгинувшие, чьи тела были найдены, но пропали лица, разъеденные кислотой.

Таблатскому Волку хотя бы повезло, он умер под своим именем, вернее сказать, умерло все одновременно: имя, тело и лицо. Душа? Что случилось с его душой? Хамиду и Омару, которые приходят посмотреть на труп, невзирая на запреты родителей, трудно поверить, что она в раю Аллаха, в то время как тело гниет, привязанное к деревянному столбу. Она, должно быть, еще где-то здесь и смотрит на них.



«Все достойные мужчины в лес ушли, и есть тому причины», – говорится в старом стихотворении Си Мханда, и за ним приоткрывается мир, населенный только женщинами, детьми да трусами, в окружении деревьев, за которыми прячутся бойцы, или в окружении бойцов, которых так много, что они могут заменить собой деревья, – не знаю. Однако по дороге к реке и во время купанья Хамид никого не видел. Он поднимается по склону, заросшему травой и олеандрами. Вода унесла его башмак, и он скачет на одной ноге. Он знает, как будет кричать Йема, как ему достанется на орехи за то, что он ушел один так далеко, да еще потерял обувь. Каждый день мать повторяет свой запрет выходить, каждый день он кричит, улыбается, ластится, выторговывает всеми средствами, какие только есть у детства, разрешение хоть ненадолго выйти. Ему не понять страха матери, потому что он не может себе представить, что умрет, – это взрослые дела. Сегодня он убежал из дома тайком – и не то чтобы боится неминуемой взбучки. Йема сделает вид, будто сердится, а сама задрожит от счастья, видя его живым и невредимым. А он прикинется, будто ему стыдно, все еще радуясь, что снова удалось сбежать. В эту игру мать и сын играют частенько.

Он слышит свист за соснами и узнает знакомый мотив, не совсем приличную песенку, которую деревенские мальчишки напевают забавы ради за спиной родителей. И он идет на свист, забыв предостережение отца: «Больше нечего ждать с гор добра». Мелодия ведет его к хорошо знакомому месту, где скалы срослись наподобие массивного трона с мягкими изгибами. Сюда мальчишки приходили обсушиться и погреться на солнышке после купанья, когда еще могли гулять целыми днями. При виде нескладной фигуры, лежащей на сером камне, сердце Хамида подпрыгивает в груди. Не может быть!

Свистун открывает глаза и улыбается ему, Хамид узнает щель между зубами – в деревне говорили, что в этой щели он всегда запасает немного пищи, это зубы нищеты и хитрости.

– Юсеф!

От радостного крика мальчика взмывают с веток птицы, а парень отвечает насмешливым эхом:

– Хамид!

Они пожимают друг другу руки, стучаются лбами и обнимаются. Хамид никогда не понимал, чего больше в этом жесте, любви или борьбы, но это их приветственный жест, всех мальчишек с гор. Чтобы лицо Юсефа оказалось вровень с головой восьмилетнего Хамида, ему приходится согнуться пополам. Постояв так несколько секунд, молча, улыбаясь, они расцепляют руки.

Юсеф очень худ, кожа обтягивает кости, как мокрое белье или папиросная бумага, и кажется такой тонкой, что вот-вот лопнет от движений челюсти. Прошло много месяцев, как он пропал, никто в деревне его больше не видел, и Фатимы-бедняжки много месяцев как нет. Уже все знают, что Юсеф ушел в горы. Мальчишки часто о нем говорят, даже те, которые слишком малы, чтобы его помнить. Здесь он был их главарем, а теперь, когда его нет, – стал их кумиром, единственным из них, кто уже вполне взрослый, чтобы самому сделать выбор. Иногда Али говорит, что нельзя быть ни в чем уверенным, что Юсеф, возможно, сгинул, как многие другие, или гниет в тюрьме в Палестро. Но Омар, Хамид и остальные верят в рассказы, ими же и выдуманные: нет, такой парень – боевой командир, новый Арезки, кабийский Робин Гуд. И вот сейчас Юсеф – живой и свободный, как им всегда и виделось, – стоит перед Хамидом, и мальчик счастлив, как будто ему явился Бог.

– Расскажи, расскажи, – молит он. – Как там?

– Сначала пришлось туго... Я чуть не умер с голоду, было еще много всякого, но голод хуже всего. Бывало, думал вернуться только потому, что хотел есть. От голода такие схватки в животе, я и представить себе не мог. Мне даже снилась еда, которую я раньше терпеть не мог, лепешки, например, из бараньего жира или хвост, этот жуткий овечий хвост, от которого меня всегда тянуло блевать. По ночам мне являлась мать с полным блюдом овечьих хвостов, и я плакал от счастья, целовал ей ноги и просил прощения за все, что мог наговорить ей при жизни...

Юсеф страдальчески морщится, гримаса искажает его красивое лицо с проступающими костями:

– Они обещали нам, что все будет хорошо. Уверяли, что армия Насера [35] придет нам на помощь. Как же. Мы не видели и тени ни одного египтянина. Так и хоронились там... Иногда я думал, что мне уже двадцать лет, и я буду всю жизнь прятаться в пещере, как дикий зверь, и от этого я просто из себя выходил.

– Почему же ты оставался с ними?

– А ты тоже будешь поддерживать экономическую систему, основанную на угнетении и непредсказуемости? – спрашивает Юсеф Хамида.

– Чего?

Оба хохочут, понимая, что фраза парня не имеет никакого смысла для восьмилетнего мальчишки. Юсеф и сам не всегда уверен, что ее понимает, но заучил наизусть. Иногда она кажется ясной, а иногда это просто слова, выложенные в ряд, как камушки у дороги.

– Я мучился, как пес, пятнадцать первых лет моей жизни, – объясняет он, отсмеявшись. – Я не хотел, чтобы так продолжалось. ФНО обещает, что мои муки кончатся, если мы прогоним французов. Французы обещают, что мои муки кончатся, если я пойду в школу, научусь читать и писать, если сдам экзамены и получу диплом техника, если найду работу на хорошем предприятии, если куплю квартиру в центре города, если откажусь от Аллаха, если буду носить закрытые ботинки и шляпу, как руми, если избавлюсь от акцента, если заведу только одного или двух детей, если отдам мои деньги банкиру, а не буду хранить под кроватью...

Хамид смотрит на него, вытаращив глаза и приоткрыв рот. Так восторженно и сосредоточенно смотрят дети на представление фокусника.

– Слишком много «если», – говорит Юсеф ласково, – ты не находишь?

Мальчик энергично кивает. Минут пять они молчат, наверно, считают «если», глядя, как колышутся на ветру верхушки сосен.

– Мы их одолеем, – говорит Юсеф. – Это уже вопрос дней...

– А Анни? – с тревогой спрашивает Хамид.

– Что Анни?

– Я хочу на ней жениться, – заявляет Хамид с величайшей серьезностью.

Он впервые формулирует свою надежду вслух, и эта минута становится для него зыбкой церемонией.

– Этого никогда не будет, – со смехом отвечает ему Юсеф.

– Вы прогоните ее во Францию?

Тот пожимает плечами:

– Она сама уедет. Ты думаешь, французы здесь, потому что им нравятся виды? Когда им скажут, что они не могут больше жиреть за наш счет, поверь, они все соберут манатки быстрее, чем требуется, чтобы сказать «Французская Республика».

– Только не Анни, – не уступает Хамид.

– Осел, – смеется Юсеф, в шутку отвесив ему подзатыльник.

Он надевает тельник, военный китель, ботинки на шнурках. Хамида он в этой одежде впечатляет, в нем появилась выправка, какая-то новая мужественность, и мальчик краешком глаза следит за каждым его движением, чтобы потом подражать.

– Можно мне с тобой? – робко спрашивает он.

Юсеф хохочет.

– Ты? Ты? Ах ты бедняжка... У твоего отца будет разрыв сердца, если ты уйдешь в партизаны.

Хамид не понимает почему: тогда уж скорее у Йемы. Она точно этого не переживет. Парень уходит, и он машет рукой. Ради ли прикола, в память об их былых играх в шпионов, или это и впрямь реальная предосторожность – тот оборачивается и просит мальчика не смотреть, в какую сторону он пойдет. Хамид послушно прикрывает глаза ладошкой.

– Послушай, – звучит удаляющийся голос Юсефа, – послушай хорошенько... те, что приняли сторону французов, дураки, они ошиблись. Но еще не поздно. Они еще могут присоединиться к нам. Если они придут с оружием, убив хоть одного офицера, их простят. Алжир не ест своих детей. Передай это.



Али теперь часто ходит в казарму, чтобы обменяться информацией с капитаном. Он говорит немного (ничего, скажет он потом на воображаемых процессах в лагере, совсем ничего – да, я называл имена, но это были имена умерших), ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить с армией доверительную связь, необходимую для защиты деревни.

Он выбрал, скажет себе Наима позже, читая свидетельства, которые могли бы (но только могли бы) принадлежать ее деду, защиту от убийц, которых ненавидит, другими убийцами, которых тоже ненавидит.

В июне 1960 года представители Франции встретились с делегацией Временного правительства Алжирской республики в Мелёне для переговоров.

– Де Голль нас бросает, – ворчат солдаты.

Провал этих первых переговоров посеял сомнение, что их бывший герой по-прежнему на их стороне.

На улицах Палестро начинают закрываться магазины европейцев. Их немного. Это едва заметно. Опустошенная витрина, сорванная вывеска, погашенная лампа.

Придя в очередной раз к военным, Али видит Мишель, быстрым шагом выходящую из казармы. Как обычно, в присутствии этой женщины все слова, пусть даже он их и знал, вылетают из головы. Но на сей раз Мишель тоже молчит. Два жгуче-красных пятнышка размером с монету выступают у нее на щеках, потом расплываются, окрасив все лицо до ушей ярко- или нежно-розовым. Так и хочется потрогать пальцем. Она резко оборачивается, и Али видит по ту сторону, во дворе, капитана с длинным подвижным носом, который пристально смотрит на них. Так они и стоят все трое, никто не знает, что сказать, и каждому ясно: невозможно смотреть на двух человек одновременно.

В казарме солдаты хмурые и недобро косятся на Али, когда он входит в кабинет капитана.

– Де Голль объявил референдум по самоопределению, – объясняет переводчик. – Они теперь не знают, что и думать.

Возле крытого рынка уличный зазывала бьет в барабан и визгливым голосом сообщает о назначении председателя Совета в декабре. Европейцы плюются или пожимают плечами. Во дает Шарль. Они больше не верят.

– Это обманный маневр, уловка де Голля, – говорит Али братьям. – Они никогда не выпустят Алжир: партизан подавили, все в руках у армии. ФНО принимает свои мечты за действительность.

– Но если независимость все же придет, брат?

– Разве мы не должны?..

У всех троих на уме послание Юсефа.

Ночами, в тиши и темноте, множатся кражи оружия из всех казарм страны, дезертирства и убийства. Между французскими военными и их местными подчиненными отношения накаляются. Они больше не играют в кости у колес джипов. Не учат друг друга забавы ради ругательствам на своих языках. Возвращаются в горы мужчины, которых выплюнули казармы после многих лет военной службы.

– Командир велел возвращаться домой, – объясняют они, пожимая плечами.

Едва вступив в свою деревню, а то и раньше, там, где дорога делает изгиб, где растут темные купы вечнозеленых дубов, некоторые из них исчезают. Никто не спрашивает, что с ними случилось. ФНО объявил: тем, кто *оделся*, нельзя будет снять форму и жить прежней жизнью. Придется предварительно отмыться в крови офицера.

Прослышав об этом, Али наверняка сравнивает роль, которую он играет при капитане, с той, что выпала недавно исчезнувшим во французской армии. Ему, вероятно, легко убедить себя, что у него с ними нет ничего общего. О Фаттахе, дохляке из Таблата, говорят, что он участвовал в допросах с пристрастием, сам держал рукоять. О Буссаде, великане из Миуба, говорят, что он копал могилы. За этими людьми тянется такой глубокий след, что, не тронь их даже ФНО, – за оружие схватились бы семьи убитых. Они были обречены, им не найти мира в своих деревнях. А Али только попросил защиты для себя и

своих родных – защиты, которой пользовались все вокруг него. Он заплатил за эту защиту, как полагается, как человек чести, не оставляющий долга за своей дверью. Никто не может его в этом упрекнуть. Место, которое он занимает там, в горах, защитит его от поспешных репрессий – так, по крайней мере, он думает, хочет в это верить и скажет потом, что верил.

С тех пор как Али нашел пресс в водах вздувшейся реки, он слишком хорошо играл роль землевладельца, чтобы деревня забыла оказанные услуги. Он давал работу тем, кто в ней нуждался: сыновьям бедняков, детям вдов. По-дружески относился, дал шанс быть мужчинами, а не ничтожествами. Они наверняка это запомнят. О нем скажут, думает Али, что он, возможно, ошибался в политических суждениях, но тут, в горах, всегда был хорошим сыном, хорошим братом, хорошим отцом, хорошим кузеном, хорошим главой, хорошим мужем, короче говоря, хорошим алжирцем.

В этом году он собирает оливки со своим кланом, еще не зная, что никогда больше не увидит, как плоды созреют на его деревьях.



Как рождается страна? И кто мучается в родах?

В некоторых областях Кабилии существует поверье, о «спящем ребенке». Оно объясняет, почему иная женщина может родить, когда ее муж отсутствует много лет: ребенок-то был зачат мужем, но уснул в ее чреве, чтобы выйти только много позже.

Алжир – как этот спящий ребенок: он был зачат давно, так давно, что никто не может договориться о дате, и спал много лет, до весны 1962-го. При подписании Эвианских соглашений [\[36\]](#) ФНО настаивает на этой формулировке: Алжир *возвращает* себе независимость.

Почти полвека спустя после их подписания Наима записала следующие выжимки из этих соглашений в вордовский документ, широко пользуясь копированием и курсивом.

Общая декларация делегаций от 18 марта 1962 г.

I – СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В АЛЖИРЕ

СТАТЬЯ 1

19 марта 1962 г. в 12 часов будет положен конец операциям и любым военным действиям.

СТАТЬЯ 2

– Обе стороны обязуются *запретить всяческие акты насилия, как коллективного, так и индивидуального характера.*

– Должны закончиться любые подпольные действия, нарушающие общественный порядок.

II – ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 19 МАРТА 1961 Г., КАСАЮЩИЕСЯ АЛЖИРА

A) ОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Французский народ на референдуме 8 января 1961 года признал за алжирцами право выбирать, путем прямого всеобщего голосования, свою политическую судьбу по отношению к Французской Республике.

Что касается образования независимого и суверенного государства, соответствующего алжирским реалиям, и сотрудничества Франции и Алжира, отвечающего интересам обеих стран, – французское правительство считает, как и ФНО, что решение о

независимости Алжира в сотрудничестве с Францией единственно верное в этой ситуации.

ГЛАВА I

Об организации органов власти в переходный период и гарантиях самоопределения

а) Референдум по самоопределению позволит избирателям высказаться, хотят ли они, чтобы Алжир был независимым, и, в этом случае, хотят ли они, чтобы Франция и Алжир сотрудничали на условиях, определенных настоящими декларациями.

с) Свобода и *искренность* референдума будут гарантированы.

h) Соблюдение личных свобод и общественных свобод в полном объеме будет восстановлено в кратчайшие сроки.

i) ФНО будет рассматриваться как легальный политический орган.

l) Лица, бежавшие за рубеж, смогут вернуться в Алжир. Переселенные лица смогут вернуться на прежнее место жительства.

ГЛАВА II

О независимости и сотрудничестве

A) О НЕЗАВИСИМОСТИ АЛЖИРА

I – Алжирское государство получает суверенитет целиком и полностью во внутренних и внешних делах

Это суверенитет во всех областях, в частности обороны и иностранных дел. Алжирское государство свободно строит собственные институты и вольно выбирать политический режим, который сочтет отвечающим его интересам.

На международной арене оно также вольно определять и проводить, как предполагает суверенитет, политику по своему выбору.

Алжирское государство безоговорочно подпишет Всеобщую декларацию прав человека и создаст свои институты на основе демократических принципов и равенства в политических правах всех граждан без дискриминации по признаку расы, происхождения и вероисповедания.

II – О ЛИЧНЫХ ПРАВАХ

И СВОБОДАХ И ИХ ГАРАНТИЯХ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(Набирая на клавиатуре следующие строки, Наима подумала, что они на диво ясны и кратки. Они должны были защитить ее деда. И

именно эти несколько строчек, подумала Наима, набирая, оказались на диво неэффективными.)

Никто не может подвергнуться мерам полиции или правосудия, дисциплинарным санкциям или какой бы то ни было дискриминации по причине:

– *мнений, высказанных по поводу событий в Алжире до дня голосования по самоопределению;*

– *поступков, совершенных в рамках тех же событий до объявления прекращения огня;*

– *ни одного алжирца не могут заставить покинуть алжирскую территорию, равно как и запретить выезд из страны.*

ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ФРАНЦУЗСКИХ ГРАЖДАН, ИХ ГРАЖДАНСКОГО СТАТУСА И ПРАВ

(Следующие статьи оказались самыми трудными для Наимы, все эти цифры и законодательные сроки читать нелегко. Она перекатала их как есть, целыми абзацами, при помощи копирования, потому что изложить их вкратце не удалось. Эти следующие строчки защищали тех, кого стали называть черноногими. Наиме кажется забавной, но и трагичной мысль, что, несмотря на четкость изложенных положений, большинство тех, кому они обещали место под солнцем, покинули страну задолго до сроков, оговоренных, например, в статье а.)

а) На период в три года со дня самоопределения граждане Франции по гражданскому статусу и правам, родившиеся в Алжире, с документальным подтверждением десяти лет проживания на алжирской территории на день самоопределения; или с документальным подтверждением проживания и чьи отец или мать, родившиеся в Алжире, отвечают или могут отвечать условиям гражданских прав; *имеют все алжирские гражданские права и рассматриваются, таким образом, как французы, имеющие алжирские гражданские права.*

По истечении трех лет они получают алжирское гражданство по запросу или подтверждению записи в избирательных списках.

в) Для обеспечения родившимся в Алжире гражданского статуса французов, *личной защиты и защиты их имущества* и их регулярного участия в жизни Алжира предусмотрены следующие меры:

– их законное и достоверное участие в общественных делах (как – недоумевают Наима – участие может быть *законным* и *достоверным*? Какой смысл этих двух прилагательных в этой фразе?);

– на собраниях их представительство должно соответствовать вкладу каждого. В различных областях общественной жизни им будет обеспечено участие на равных;

– их права на собственность будут соблюдаться. *Никакие меры по экспроприации не будут применяться к ним без предоставления справедливой компенсации, установленной предварительно.*

Они получают соответствующие гарантии защиты своих культурных, языковых и религиозных особенностей. Они сохранят свой личный статус, который будет уважаться и поддерживаться алжирской юрисдикцией, включающей магистратов того же статуса. Они будут пользоваться французским языком на публичных собраниях и в своих отношениях с властями.

(Был большой пункт В во второй главе, но она никогда его не перечитывает. Он касается горнодобывающей промышленности и эксплуатации месторождений угля, которые Франция отказалась отдать новому независимому государству. Наима не вчера родилась и знает: колонизация всю продолжалась подпольными путями. Слово «Франсафрика» она встречает в газетах, с тех пор как научилась их читать. Она, однако, отмечает, что пункт В и его статьи об экономическом сотрудничестве занимают в Эвианских соглашениях больше места, чем меры, которые якобы защищали ее деда. Отмечает и только, с обманчивой легкостью, которая говорит о многом без всяких комментариев.)

III. ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОЕННЫХ ВОПРОСОВ

Французские вооруженные силы, личный состав которых будет постепенно сокращаться после прекращения огня, отойдут к границам Алжира к моменту вступления в силу самоопределения; личный состав будет сокращен *в срок двенадцать месяцев от самоопределения* до восьмидесяти тысяч человек; *репатриация этого личного состава будет осуществлена по истечении второго срока в двадцать четыре месяца.*

– Алжир оставляет за Францией военно-морскую базу в Мерс-эль-Кебуре на период в пятнадцать лет, возобновляемый по соглашению

между двумя странами;

– Алжир также оставляет за Францией право пользования аэродромами, полигонами и военными объектами, которые ей необходимы.

IV. ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ РАЗНОГЛАСИЙ

Франция и Алжир будут решать возникшие спорные вопросы путем мирного урегулирования.



Хамид бежит по дороге, весь в поту, а колени так болят, будто ноги вот-вот отвалятся.

– Пойдешь в магазин, дашь Хамзе деньги и вернешься, – взял с него слово Али. – Не задерживайся по дороге, не останавливайся.

Хамид обещал и бежит со всех ног, несмотря на свинцовое солнце. Его пьянит ощущение собственной скорости. Внезапно на дороге появляется человек и протягивает руки, чтобы остановить мальчика. Хамид замедляет бег, чувствуя, как ему в ноздри ударил запах собственного пота.

Человек посреди дороги улыбается. У него красивые белые зубы, обрамленные черно-рыжими усами и бородой. Они как будто спят там, в уютном гнезде.

– Ты сынишка Али?

Он, кажется, очень рад, что встретил его. Хамид кивает.

– Выполняешь поручения отца?

Снова кивок. Улыбка становится шире.

– Тогда выполни заодно и мое.

Хамид еще раз кивает, подпрыгивая на месте. Он надеется, что это не слишком надолго. Ему хочется снова бежать, так быстро, чтобы обогнать запах собственного тела.

– Скажи своему отцу, – медленно выговаривает человек, проводя пальцем по горлу, – что очень скоро мы снимем с него шкуру.

Он произносит эту фразу с улыбкой, вроде бы не пытаясь напугать мальчика, как будто речь о чем-то приятном, что наверняка произойдет. Много лет спустя Хамид все еще будет раздумывать, чего хотел этот человек – помочь им избежать обещанного ножа, или просто разделить с ним кусочек столь лучезарного будущего, уготованного ФНО для всех. *Вот так это будет, раз-два, спасибо.*

Какая-то часть его упорно хочет, чтобы этого последнего вестника послал ему Юсеф – во имя былых веселых денечков у реки.

Хамид повторяет отцу слова улыбчивого человека, ловя малейшую дрожь на его лице. Ему хочется, чтобы Али отмахнулся от

угрозы и продолжал спокойно пить кислое молоко, невозмутимый и царственный. Но Али побледнел и со стуком поставил стакан на стол.

– Кто это был? – спросил он.

Сам того не сознавая, он схватил Хамида за ворот и трясет. Маленькая Далила закрывает руками глаза.

– Кажется, один из сыновей Фариды, – лепечет Хамид.

Али кривит рот в презрительной усмешке:

– Это он тебе сказал? Он хочет мстить за страну? Марсианин! Поверил в независимость, когда были подписаны соглашения! А теперь выпячивает грудь и говорит, что одолел Францию. Да он бы отца с матерью продал Франции, если бы Франция захотела!

В последовавшие годы Хамид не раз услышит это слово: марсианин. В конце концов он поймет, что так называют тех, кто присоединился к ФНО в марте, когда были подписаны соглашения. Но пока оно не ассоциируется ни с чем, даже с зелеными светящимися человечками, которых он увидит потом на страницах комиксов. Это просто обидное слово, зыбкое и лишнее смысла.

Свистящий над остатками ужина шепот Джамеля, Хамзы и Али долетает сквозь стены до детей, которым совсем не до сна.

– Это твоя вина, Али. Твоя вина, брат. Зачем всем говорил, что ты за французов? Теперь ФНО придет сюда, и нас всех убьют.

– Ты бредишь, – отвечает Али. – Я никогда не говорил, что я за французов, и не прикасался к оружию. У них нет никаких причин держать на нас зло. Меня просто спрашивали про семьи с гор, и я отвечал. Говорил: такой-то кузен такого-то. Но это и так все знали. Меня просили: расскажи нам про такое-то место, и я рассказывал про место, объяснял, где ручей, где скалы. Но и только. Я не предатель.

– Да если б ты сказал вдвое меньше, они все равно сочтут, что это слишком. Думаешь, Амрушам нужны доказательства, чтобы отнять у нас ферму? Ты понимаешь, что они только этого и ждут? У них уже сколько лет на нее слюнки текут. А теперь и сыновья Фариды туда же!

– Они все отберут! Конечно, они все отберут. Это твоя вина, Али.

– А ты, можно подумать, был муджахидом? – злобно спрашивает Али. – Не потому ли они тебя отпустили, не тронув и волоска на твоей голове?

– Я не знаю, почему меня отпустили! – кричит Хамза.

Все молчат, пришибленные, истерзанные, три больших тела, раздавленных тяжестью того, что их ждет.

– Они спустят на нас всех собак независимости...

Теплая весна сменяется жгучим летом, а на смену насмешливым песенкам, которые несутся вслед Али, когда он гуляет в горах, приходит брань. Он даже не знает, когда произошло это превращение, оно кажется результатом естественного и непрерывного роста, так у растения почки медленно становятся цветами, потом плодами. Люди на обочине дороги с мотыгами на плечах свистят сквозь зубы, когда он проходит мимо. Батраки, возделывавшие его земли, один за другим перестают выходить на работу. Али и его братьям приходится самим засучить рукава. К вечеру их руки, помягчевшие после долгих лет безделья, горят и кровоточат.

В одно прекрасное утро Али видит, как дети бросают в него камни. Это пока не страшно, по-детски: они кидаются в него со смесью жестокости и радостного ликования, не переставая весело лопотать.

У опустевшей лавки и вокруг его амбаров бродят незнакомые люди, их головы опущены, глаза блестят. На вопрос, что их сюда привело, они отвечают, что просто зашли купить оливок, но когда Али хочет дать им ведро или горшок, отмахиваются.

– Нет, нет, не сейчас. Мы скоро вернемся за ними. Слышишь? *Мы вернемся...*

И они уходят, смеясь и тараща глаза туда-сюда.

Йема решает больше не выходить из дома, потому что у источника какой-то человек обругал ее и сорвал желтый платок с черной бахромой. Ночью, засыпая, она тесно прижимается к Али, так, чтобы ни рука, ни нога не высывались из-за большой ширмы – его тела.

Тихонько выскользнув из дома, пока не проснулись родители, Хамид видит, что кто-то навалил перед дверью кучу. Как ни странно, запах его не смущает. Похоже на подгнившие цветы.

Назавтра он находит ухо. На этот раз он зовет отца.

Возрастающее напряжение можно увидеть по кучам мешков с песком у стен казармы – они все выше. Несколько раз солдаты просили Али помочь им разгрузить машины, и от тяжести этих естественных щитов у него хрустела спина. Сейчас, в июньское утро, все здание уже окружено стеной из джута и песка, и в ужавшемся дворике голоса кажутся приглушенными.

Али по своему обыкновению хочет поговорить с капитаном. Часовой, едва подняв глаза от журнала, отвечает: его нет.

– С кем тогда я могу поговорить?

– Сержант Домас здесь.

У Домаса мордочка крысы – или кукушки – и выпирающий кадык. Это он смотрел, как его солдаты били старуху Тассадит, это он хладнокровно убил Фатиму-бедняжку и Рафика. Али его ненавидит, и Домас отвечает тем же: это сильнее его, он вообще не любит туземцев. Он думает, что лучше всего отравить их газом, как американцы травили ДДТ комаров, высадившись на островах в Тихом океане. Только тогда здесь можно будет сносно жить.

– Чего ты хочешь? – спрашивает сержант.

Вопрос он задал так, для проформы.

– Защитите мой дом, – говорит Али.

– Это невозможно.

– Дайте мне оружие.

– Невозможно.

– Увезите нас куда-нибудь, на одну из оставшихся французских баз.

– Невозможно.

– Тогда посадите нас в тюрьму! Там мы, по крайней мере, будем в безопасности.

Сержант пожимает плечами:

– ФНО обещал не трогать харки [\[37\]](#).

Али смеется, горький смех диссонирует, отдаваясь в носу:

– И вы им верите?

Домас не может не замечать, что происходит по всей стране в последние несколько месяцев: импровизированные суды в деревнях, сведение счетов в ночи, засады на дорогах. Весть о подписании

соглашений еще не дошла до жителей самых отдаленных пунктов, а уже множатся «вдовы освобождения».

Али переминается с ноги на ногу, большое тело покачивается, как стрелка метронома, взгляд устремлен в глаза сержанта, а тот уже теряет терпение. С буньюлями всегда одно и то же: дай им палец – откусят руку. Домас недоумевает, какому сукину сыну с душой оглашенного пришло в голову их вербовать.

– Послушай, старина, – делает он последнее усилие, – тебе просто надо было выбрать правильную сторону.

– А ты-то что же, выбрал неправильную?

– Нет, но я француз.

– Я тоже.

Через несколько дней, когда французы будут покидать базу, Домас отберет у харки казармы оружие и скажет своим людям, показав на служака, брошенных на произвол судьбы после многих лет повиновения: «Полезут в грузовики – наступайте им на руки». Он даже сам покажет пример, и черная подошва солдатских башмаков раздавит побелевшие от усилия суставы. «Бросьте, не парьтесь!»

На старой афише, сообщающей о референдуме, у вокзала Палестро:

«Генерал де Голль верит в вас. Верьте в Него. Голосуйте “да”».

Путь между горой и долиной стал слишком рискованным теперь, когда в каждом уголке леса, в каждом сплетении ветвей, в каждом зарослях ладанника с мохнатыми листьями, кажется, прячутся партизаны. Али решил покинуть деревню и поселил всю семью в квартирке в центре города, подальше от территорий, подконтрольных Амрушам и сыновьям Фариды. На прямых широких улицах Палестро еще можно поверить, будто полиция и французская армия поддерживают порядок.

Йеме и детям запрещено выходить на улицу, отвечать на звонки. Али, уходя, запирает дверь на два оборота, сперва обязательно проверив из-за кухонных занавесок: не поджидает ли кто на улице.

В первый день Хамид, думая, что может пренебрегать отцовскими наказаниями, как делал это в горах, попытался просочиться за дверь вслед

за отцом. Такой трепки он не получал за всю свою жизнь. Синяки не сходили долго, переливаясь всеми красками с рынка на главной площади, который, кстати, больше не работает: баклажан, перезревшее яблоко, банан, лимон...

Каждое утро Али идет в казарму и пытается поговорить с капитаном. Каждое утро ему отвечают, что его нет.

Отъезд европейцев стал непрерывным кровотечением, оставляющем в сердце города области тишины. Центральное кафе закрылось, закрылась лавка электрика, магазин грампластинок. Заколочена досками крест-накрест витрина угольщика.

– Может быть, это уловка де Голля, – повторяет про себя Али. – Просто чтобы выманить из лесов последних партизан и заставить показаться мятежников, окопавшихся за границей.

Он не может поверить, что это конец. Ему еще не приходилось видеть, как страна переходит из рук в руки. Признаков этого он не распознает.

Капитана он встретил случайно. (Или, по крайней мере, оба сделали вид, что это случайность, когда офицер выходил из магазина Клода – то есть от Мишель.) Отсутствие переводчика вынуждает их обмениваться короткими рублеными фразами – поспешно, без уверенности, что будут поняты.

– Я приходил много раз, – говорит Али капитану.

Тот вздыхает:

– Мне очень жаль.

– Ты должен мне помочь, – продолжает Али. – Я потерял горы. Я не хочу потерять жизнь.

Они стоят перед лавкой, в ее почти опустевшей витрине теперь много свободных полок.

– Меня переводят, – говорит капитан, изобразив рукой резкое и в то же время такое легкое движение – перевод. – Через несколько дней я уеду. Я ничего не могу сделать.

– Почему ты уезжаешь отсюда?

Капитан снова вздыхает.

– Послушайте, – отвечает он, – буду откровенен: они не хотят, чтобы я увидел, что здесь будет. Боятся моей реакции. Судя по всему, в

верхах меня считают чересчур чувствительным...

Между сушеными помидорами и пакетами с крупой больше нет привычной корзины с перцами. Полка пуста и уже покрывается пылью.

Клод, Мишель и Анни тоже уезжают. Они не верят в статьи Эвианских соглашений, обещающих им полную защиту личности и имущества. Они уже толком не знают, во что верят, но успокаивают себя: успеем-де еще определиться, когда заживем спокойно. Клод организовал их отъезд. Через две недели они покинут Палестро.

– Тут приходили ко мне ребята, говорили, чтобы я этого не делал, – рассказывает он Али. – Бандитские рожи. Говорят, что мы должны подать пример теперь, когда де Голль свалил. Это наша страна, надо оставаться здесь и все такое... Что они себе думают? Что мне хочется уехать из Алжира? Что я это делаю для своего удовольствия?

Он умолкает.

– Я тоже хочу уехать, – говорит Али. – Во Францию.

– Едем! – восклицает Клод почти весело. – Мне будет не так одиноко.

– У меня нет документов. Я боюсь. Боюсь за детей. За Хамида...

Услышав имя мальчика, Клод вздрагивает. Он ударяется локтем о металлический кассовый аппарат, еще красующийся на прилавке. С мелодичным звоном выдвигается пустой ящик.

– Это стратегия, – думает Али, прижавшись лицом к стеклу кухонного окна, – когда они очистят Алжир от французов и алжирцев, которые остались им верны, тогда они вернуться и будут бомбить страну. Уже из-за одного этого надо уезжать...

Нечистая совесть Клода сконцентрировалась в обрывке фразы: «Этот маленький араб, которого мы почти усыновили». Семи слов достаточно, чтобы лишить его сна. В квартире на втором этаже, несмотря на огромный деревянный вентилятор под потолком, стоит душная жара, и эти слова неотступно крутятся у него в голове.

Он не может, сказав это и повторив еще и еще, бросить Хамида на произвол судьбы и уехать, не заботясь о том, что станет с его семьей. И вот посреди поспешных сборов он умоляет Мишель поговорить с

капитаном. Все в городе знают, что у него еще остались крепкие связи. Говорят, он добывал документы для некоторых харки из Палестро.

Клод сдвигает мебель и складывает одежду, снимает и развинчивает большие деревянные рамы и при этом говорит, но не очень уверенно:

– Наверно, надо отложить отъезд.

На подушке, в полусне, который обычно следует за любовью, капитан обещает Мишель сделать все, что в его силах. В его пустой служебной квартире мало что осталось, только большой матрас на полу. Пальцы Мишель пробегают по его плоскому белому животу, играют с волосами на лобке, легко обводят пупок.

Есть что-то абсурдное, непристойное или почему-то нежное в том, что выживание семьи зависит от изгибов тела Мишель, от ее тяжелых грудей и полных ягодиц, от ее лица в полумраке спальни и прядей волос, падающих на глаза.

– Если тебе удастся добраться до Тешуна, – говорит капитан Али, – ты сможешь уехать во Францию. Там есть лагерь для бывших военнослужащих, и их сажают на корабли. Я звонил им и назвал твое имя. Они думают, что ты из числа моих людей.

– Увидимся во Франции, – говорит Клод, притворяясь, будто в это верит.

Со стуком падает металлическая штора. В последний раз мелькает бело-синяя юбочка Анни, когда та садится в большой черный автомобиль. Жесты Клода, быстрые, как движения птицы. Губы Мишель. Ее золотистая кожа. Коробки, чемоданы и четыре ножки стола, торчащие на крыше машины.

В конце 2000-х годов Наима заканчивает верстать каталог выставки Томаса Майландера. В следующем месяце галерея представит его работу: машины, нагруженные под завязку (с открытым багажником) разноцветными свертками, а на крышах громоздятся слоями чемоданы, их равновесие весьма шатко. Художник сфотографировал их в 2004 году в Марсельском порту. У них нет номеров. Они могли приехать из любой страны и могут уехать куда угодно или никуда. Возможно, они встали на прикол навсегда на этом

призрачном паркинге. Возможно, в одной из них лежит потрепанный плюшевый мишка, похожий на игрушку Анни. «Эти контейнеры на колесах – очевидная материализация концепта границ и вытекающих из них соприкосновений культур», – сказал нам Томас Майландер.

На заднем сиденье машины, зажата между чемоданом и детским столиком, Анни с трудом поворачивается, чтобы помахать рукой.

Список приоритетов, вероятно, составленный Али (более или менее сознательно):

1. Спасти Хамида.
2. Спасти себя.
3. Спасти Йему, Кадера и Далилу.
4. Все остальное.

Уставившись на скользящие по потолку тени, он мысленно проделывает путь, отделяющий их от лагеря в Тефешуне.

Нота бригадного генерала Ле Рея от 24 августа 1962 года: «Уважая независимость молодого Алжирского государства и заботясь о том, чтобы оградить Францию от ненужного перенаселения, мы считаем своим долгом предоставлять защиту только лицам, достойным нашего интереса и реально находящимся под угрозой за действия на нашей стороне, исключая все прочие категории. <...> Могут приниматься только лица, приходящие на наши посты с просьбой о защите. Запрещается искать этих лиц в деревнях для воссоединения семей».

В хаосе того жгучего лета Джамель, младший брат Али, исчез. Два батрака, которые были с ним, найдены с перерезанным горлом.

– Я остаюсь, – решил, несмотря ни на что, Хамза.

Дочери Али от первого брака, уже замужние, тоже никуда не едут. Семья, сплоченная сезонами сельскохозяйственных работ, распадается: война вспорола ее, как лемех ком земли, и рассыпала на множество прощаний.

Тефешун (сегодня Хемисти) расположен между Типазой и Алжиром, на побережье. От деревни Али не меньше двухсот километров. Два с половиной часа пути, сообщают Гугл-карты Наиме.

Но это идеальный вариант, не учитывающий ни торможения на каждом вираже, ни контрольно-пропускных пунктов, которых было много в 1962 году, и французской армии, ни ФНО. А главное – когда уезжал Али, эти два с половиной часа могли внезапно сорваться в бесконечность смерти.

В автомобиле, не в пример машине Клода, нет никаких чемоданов, никакой мебели. Нет и семьи в полном составе. Только отец и его старший сын. Ничто не дает повода думать, будто они хотят покинуть Алжир. Просто обычная поездка, по делам. Йема с двумя другими детьми присоединится к ним позже. Ее брат Мессауд отвезет ее в лагерь.

– Что будет, если нас остановят, *бабá*? – спрашивает Хамид, когда отец трогает машину с места.

– Не беспокойся.

Пятнадцать лет назад офицеры, отдававшие Али приказы на европейских полях сражений, никогда не упоминали об опасности, посылая солдат на штурм. Они, наверно, не видели причин для этого бесплодного усилия: даже сообщи они предполагаемый процент потерь, каждый думал бы, что в это число входят только другие, не он. Солдаты могут понять *теоретически*, что смерть для них – самый вероятный исход в бою, но это понимание чисто математического порядка – по крайней мере, так мне кажется. Они не примеряют его на себя. Я – мое «я» – не может умереть. Али, наверно, чувствует себя защищенным оттого, что не в силах представить себя мертвым. Вот одна из причин, почему у него хватило смелости на такое путешествие. И это «не в силах представить», если в нем не очень много расчетливости, походит на бессмертие.

Между 1954 и 1962 годами многие испытали на себе эту волшебную надежду. Те, кого затаскивали на ненасытные виллы столицы, на зубастые фермы, затерянные в горах, в защитные отряды с волчьими клыками, те, кого держали над бездной или чью голову окунали в воду, те, кому сжигали головку полового члена прямым электрическим разрядом, те, от кого отрезали кусок за куском, продолжали верить, что в последний момент – который без конца откладывался – что-то отвлечет от них смерть и они, пусть даже избитые, обескровленные, растерзанные, еще смогут жить. Смерть

была рядом, у порога, смерть множила знаки своей неизбежности, и все же они отгоняли ее беспорядочными жестами, гримасами, красноватой пеной на губах, и хрипами, и криками ужаса, и растекавшейся под ними мочой, и пальцами, судорожно сжимающими руки братьев. До последнего продолжая верить, что их слабые содрогания могут отсрочить смерть.

Наима не знает, как, каким чудом, повторяющимся на каждом километре, ее дед и отец, а следом бабушка, дядя и тетя добрались невредимыми до Тефешуна, преодолев все кордоны.

Она представляет себе сторожевые башни, вздымающиеся над пустыней, и железную дверь, огромную, как доисторическое животное, – в нее выжившие в панике колотят кулаками.

Из лагеря очень скоро, гроздьями, спрятанными в грузовиках, беженцев, в том числе всю их семью, везут в Алжирский порт.

Через дыры в брезенте они видят надписи на стенах столицы:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ САЛАН [\[38\]](#)
ТЫ НАС ПОЙМЕШЬ



ОАС [\[39\]](#) БДИТ
ФРАНЦИЯ ОСТАНЕТСЯ

Корабли огромны, их бока вырастают над морем железными стенами. Корабли огромны, и огромна толпа людей на пристани, стремящихся подняться на борт. Корабли огромны, но за этим морем людей, которые требуют места или молят о нем, они кажутся меньше.

Кто решил судьбу тех, что могут найти там убежище?

На корабль грузят французских животных, французских кур, овец, ослов и лошадей. Лошади выглядят абсурдно над водой, с ремнями на брюхе, стреноженные, поднятые лебедкой, как ящики, они жалобно ржут, и полные паники глаза вращаются на продолговатых, как костные капсулы, головах.

Лошадей погрузили на палубу, от волны и качки они обезумели. Некоторые ломают передние ноги. Другие падают за борт. А может быть, бросаются.

На борт грузят лошадей.

На борт грузят французскую мебель, растения в горшках, чьи цветы опадают, и буфеты, широченные как автомобили. Да и автомобили тоже грузят. Французские.

Чуть позже репатрируют даже статуи, снятые с постаментов на площадях, ставших алжирскими, чтобы они обрели приют во французских деревушках, где офицеры армии 1830 года, навсегда застывшие в бронзе, смогут по-прежнему браво салютовать, смотреть в подзорную трубу и командовать невидимыми солдатами.

На борт грузят статуи.

Но тысячам темнокожих людей они говорят – наверно, пытаюсь заслонить своими спинами лошадей, машины, буфеты и скульптуры:

Этого не может быть.



Они топчутся на палубе, ожидая, когда смогут по одному спуститься в трюм. Али – высокий, он выделяется в очереди мужчин и женщин с согбенными спинами. В сутолоке он потерял шапку, и его высокий лоб, увеличенный к вискам островками голой кожи, все дальше оттесняющей шевелюру, блестит на бледном солнце. Он мнет нервной рукой плечо старшего сына, но держится прямо. У палубных перил черноногие, одни в слезах, другие в гнев, бранят его надтреснутыми голосами: для них он в ответе за всех тех, что скоро станут алжирскими алжирцами, хоть сам-то он никогда им уже не будет.

– Это уловка. Через полгода, самое большее, – говорит он Йеме, – мы вернемся назад в деревню.

– Иншалла, – откликается она.

Впервые ему кажется, что она принижает его этим словом, напоминая, что Аллах превыше мужа с его геополитическими анализами и его жалких попыток что-то предпринять (в деревне он и сам в это всегда верил и был счастлив). А сегодня ему нужно, наоборот, чтобы жена и дети верили в его силу и власть.

– Через полгода.

– *Аука д ауква*, – отвечает Йема – на этот раз по-кабийски.

Она не хочет играть в доверье-поверье. Не хочет обещаний. *Аука д ауква* значит: завтра будет могила.

Когда корабль уже трясется во всю силу двигателей и от их гула пенится море – на случай, если он неправ, на случай, если Франция действительно бросит Алжир на произвол судьбы (такого не может быть), – Али старается запомнить пейзаж, чтобы увезти с собой на ту сторону Средиземного моря ясное воспоминание.

Но что это за пейзаж? Это не его земля. Не Кабилия. Это город Алжир, череда улиц и домов, ничего не говорящая его памяти. Али смотрит во все глаза, но его ничто не трогает, в этом для него нет никакого смысла. За каждой стеной живут люди, с которыми он незнаком, они ему никто, он не знает названий улиц, и картины

стираются в его памяти прямо сейчас – увидел и позабыл, он ничего не унесет с собой, ничего не запомнит из этого пейзажа. Он даже начинает думать, что, глядя слишком пристально, стирает другие воспоминания. Как будто энергию, вложенную им в этот последний взгляд (да не последний же, полгода самое большее), он черпает из того источника, что необходим для сохранения прежних образов. Может быть, это образ его матери, может быть, фиговое дерево, Италия или один из его браков исчезают сейчас, стерты даже не столицей – стерты ничем. Слепящим солнцем. Пейзажем, который как будто взрывается и дробится на мелкие осколки.

Корабль медленно удаляется в водах гавани. И странный образ встает перед глазами Али: как будто натянутый канат связывает корму огромного парома с берегом, и корабль, отплывая, тянет за собой всю страну, и она медленно, но неотвратимо уходит в море: старая Касба, Большой почтамт, Ботанический сад, а потом черед и внутренних земель, и вот уже и они исчезают в волнах. Медеа. Буира. Рывок корабля ту же натягивает канат: Бискра и Гардая тоже погрузились в море, потом Тимумун, и песок пустыни истекает из раны, открытой отчалившим кораблем. Вся Сахара, песчинка за песчинкой, исчезает в Средиземном море.

Для Хамида это выглядит иначе. Они никогда не говорили об этом. Но то мальчишеское видение осталось. Белый Алжир. Ослепительный город. Появляющийся тут же, стоит только заговорить о стране. Четкий и в то же время далекий, как макет города в витрине музея. Переулки разрезают кварталы, карабкаются на холм обшарпанные дома. Виллы. Собор Африканской Богоматери, рядящий Алжир под Марсель.

Именно эта картина останется в глазах Хамида и будет возникать всякий раз, когда кто-нибудь скажет: «Алжир». И это странный для него феномен, ведь, когда отплывает корабль, этот город он видит впервые. Не ему, нет, не ему бы быть образом утраченной родины. Этот город не утрачен, потому что никогда ему не принадлежал (так, как могут принадлежать людям города, в которых много пройдено, в которых за каждой табличкой с названием улицы встает

разыгравшаяся там сцена). И все-таки он уносит с собой его, сам того не желая. Алжир подложен в его багаж.

Для Наимы это тоже выглядит иначе. Потому что для нее корабль идет в другую сторону. На ее глазах Марсель будет удаляться, а Алжир – становиться все ближе. Она подумает об отце, о деде. Подумает, что Алжир не такой уж белый. Подумает: я заплачу, – но слез не будет, и она даже попытается их выдавить, сказав себе: я хочу, чтобы что-нибудь произошло, пусть даже неприятное или напускное, ведь я еду в Алжир, и нельзя же вот так просто стоять у парапета.

Она подумает, что было ошибкой ехать одной, потому что ей хочется разделить это с кем-то.

Она подумает о Кристофе. Скажет себе в очередной раз, что им надо перестать видеться. Потому что она не может, совсем не может представить его рядом с собой на этом корабле. Не потому, что не хочет. Может быть, и хотела бы. Но ведь очевидно, что ему здесь не место, так очевидно, что даже ее воображение не может преодолеть это и нарисовать сцену, которая очарует ее на несколько мгновений. Даже в ее воображении Кристоф-на-палубе-парома смотрит на нее с ироничной улыбочкой, означающей: «Сколько можно, Наима... Перестань ребячиться и отпусти меня с этого корабля. Мы оба знаем, что меня здесь нет».

Часть вторая

Холодная Франция

«Им, зажатым между пустыней Сахарой и социализмом, легко было поддасться искушению уехать во Францию».

ЖАН-МАРИ ЛЕ ПЕН

«Молодые больше не приемлют того, что принимали их родители».

*Репортаж из «Дома Анны» [\[40\]](#), 1976
(архив Национального института аудиовизуализации)*

«Нет такой семьи, которая не стала бы местом конфликта цивилизаций».

ПЬЕР БУРДЬЁ. «Алжир-60»



Я не помню, как начинается «Энеида», что за приключения первыми выпали Энею и его спутникам, когда они покинули Трои – вернее, место, где прежде была Троя, от которой остались лишь руины и запах крови и дыма. Я помню только первую строчку, которую перевела с латыни уже больше десяти лет назад: *Arma virumque cano* – «Битвы и мужа пою». Полагаю, что дальше шло придаточное предложение: «мужа, который...» – и о нем-то была вся история, но моя память сохранила только три слова. Несмотря на забвение, в которое погрузилась эта длинная поэма, полная перипетий, очевидно, что в конце своих тяжких скитаний Эней достиг Лация, и его потомки основали там Рим.

Что же происходило между мгновением, когда Али ступил на французскую землю в сентябре 1962 года, и другим – когда Наима поняла, что знает семейную историю не больше, чем я помню «Энеиду»? История без героя, наверно. Эта история – во всяком случае – никогда не была воспета. Она начинается в квадрате холста и колючей проволоки.

Лагерь Жоффри – именуемый еще лагерем Ривезальт, – куда после долгих дней бессонного пути прибыли Али, Йема и трое их детей, полон призраков: призраки испанских республиканцев, бежавших от Франко, чтобы оказаться здесь за колючкой, призраки евреев и цыган, попавших в облавы правительства Виши в свободной зоне, призраки военнопленных разного происхождения, которых дизентерия и тиф скосили далеко от линии фронта. Со времени его создания, три десятка лет назад, это место заключения для тех, с кем не знают, что делать, официально ожидая решения властей, а неофициально – надеясь забыть о них, пока они сами не сгинут. Это место для людей, не имеющих Истории, ибо ни один народ из тех, что могли бы им ее дать, не хочет включить их в свою. Или же место для тех, кому История дает противоречивый статус, как это было с тысячами мужчин, женщин и детей, которых принимали там с лета 1962 года.

Алжир будет называть их крысами. Предателями. Псами. Террористами. Отступниками. Бандитами. Нечистыми. Франция не

будет называть их никак, ну, или почти никак. Франция зашила себе рот, окружив их лагеря колючей проволокой. Быть может, так оно и лучше – никак их не называть. Ни одно из возможных имен не может их обозначить. Имена скользят по ним, не говоря о них ничего. Репатрианты? Страну, куда они прибыли, многие не видели в глаза – тогда как можно утверждать, что они вернулись на родину? И потом, это наименование не отличит их от черноногих – а те требуют, чтобы их отделили от смуглой, курчавой толпы. Французские мусульмане? Но нельзя отрицать, что среди них есть атеисты и даже христиане, и это ничего не говорит об их истории. Харки?.. Любопытно, что за ними осталось это имя. И странно думать, что слово, которое изначально означало движение (*харки*), здесь – застыло, да еще не на своем месте, и, кажется, навсегда.

Собственно, харки, то есть военнослужащие местных формирований – связанные с армией чем-то вроде трудового договора, заключаемого на определенный срок, подлежащий продлению, как поймет позже Наима, – составляют лишь горстку среди тысяч, населяющих лагерь. Бок о бок с ними живут алжирцы, работавшие на САС (специализированные административные секции) и ГАС (городские административные секции), члены МГБ (мобильных групп безопасности) и бывших МГСР (мобильных групп сельской полиции), фамильярно именуемые Жан-Пьерами, участники ГСО (групп самообороны, которым французская армия доверила винтовки и гранаты для защиты их деревень) и «вспомогательные мусульмане» Французского государства (каиды, кади, амины и егеря), местные избранники, мелкие чиновники, профессиональные военные, ИВП (интернированные военнопленные, люди из ФНО, взятые в плен армией, – этих вынуждали участвовать в набегах под строгим наблюдением), знахари, учителя религиозных школ. А к этому мужскому батальону, и без того разношерстному, надо добавить все прибывшие с ними семьи – женщин, детей, стариков. И все они называются теперь одним словом – харки.

Можно ли утверждать, что сын булочника – булочник?

И остается ли парикмахер, сменивший профессию, по-прежнему парикмахером?

И можно ли считать торговца одеждой портным только потому, что две профессии *похожи*?

Лагерь – временный город, в спешке выросший на руинах прежних лагерей, и его бараков, только что построенных, уже не хватает. С каждым днем, вернее, с каждой ночью, ибо перевозки осуществляются тайно, лагерь растет, подпитываемый непрерывным потоком крытых брезентом грузовиков, прибывающих напрямиком из Марселя или из Ларзака, который решено очистить во избежание гуманитарной катастрофы. К осени этот хлипкий, наскоро построенный город, этот город потерянных душ, насчитывает десять тысяч жителей – он второй по численности в департаменте, сразу после Перпиньяна.

Хамид и его семья идут по аллее, а палатки вдоль нее приоткрываются и из них выглядывают усталые и любопытные лица. Настойчивые взгляды задерживаются, рассматривая их черты, оценивая размеры тюка, который несет под мышкой Али. Хамид и Далила, раздраженные этой живой изгородью пронзительных глаз, показывают любопытным языки. Испуганный Кадер хнычет, цепляясь за юбки Йемы. Они скоро сами станут такими же: будут всматриваться во вновь прибывших в ожидании знакомых лиц в надежде увидеть в их багаже хоть что-нибудь съестное, ведь здесь его так не хватает.

Когда солдат показывает им палатку, в которой они могут «располагаться» (его голос ослаб и дрогнул, произнося это слово), Али говорит:

– Спасибо, месье.



В Ривезальте невозможно забыть войну, от которой они бежали. Все напоминает о ней. Ритуалы лагеря, его строгости, его ограда – все это от армии. Семьи, которые официально здесь «транзитом», лишены свободы передвижения. «Следует установить за перемещениями пристальное наблюдение, выходить из лагеря разрешить только по серьезным причинам», – подчеркнет в одном из указов Помпиду. То, что лепечет Али на своем приблизительном французском, не воспринимает «всерьез» ни один из военных, когда он к ним обращается. Пантомима, которой он пытается восполнить недостаток слов, роняет его в их глазах. И он остается за колючей проволокой Ривезальта, сиюсь приспособиться к навязанному ритму жизни и выглядеть для своей семьи сильным мужчиной, хотя больше ни за что не отвечает, даже за мелкие детали повседневной жизни.

Утром они должны присутствовать при поднятии флага под фальшивые звуки старенькой трубы и, вздрагивая от холода, смотреть, как со скрипом поднимается триколор на металлической мачте. На трапезы сзывает сирена из громкоговорителей, укрепленных на столбах. На эти звуки выходят из палаток и бараков из листового железа и картона, не защищающих ни от чего (особенно от ветра, этого назойливого ветра, который забирается в черепную коробку, этой трамонтаны ^[41]– само слово чарует Хамида так же, как сила дуновения раздражает), толпы праздных людей с алюминиевыми мисками в руках. Регулярно распределяют одежду, тряпье вываливают прямо наземь, на брезент, и раздают на вес тысячам стучащих зубами, которых дожди и холод застигли врасплох.

Дети, как прежде, собираются компаниями в аллеях и меряют рост – по линиям колючей проволоки, окружающей лагерь. Хамид чуть выше четвертого. Кадер едва дорос до третьего. Днем иногда слышен их смех, они с визгом носятся между бараками, как стайка птичек, но когда меркнет свет и гаснет небо, в Ривезальт приходят иные звуки.

Ночи в лагере – театр теней и криков. Как будто невидимые людоеды бродят по аллеям, заглядывают в палатки и сжимают шеи

черными от крови и пороха ручищами, давят на грудь огромными ладонями – ломая грудную клетку – или целуют ртами, полными гнилых зубов, обдавая мертвым дыханием детские мордашки. Далеко в прошлом остались те времена, когда был только один людоед на всех, и звали его Сетиф. Теперь у каждого свой личный, карманный, так сказать, людоед, приплывший с ним на корабле, который выходит ночами. И взмывают крики от палатки к палатке, потом слышатся голоса мамаш, поющих колыбельные, упреки соседей, требующих тишины, шепоты, приглушенные толстым полотном.

Ночные людоеды родились из воспоминаний, но подпитываются страхами перед настоящим и перед будущим. Когда те, кого, за неимением лучшего, зовут харки, спросили, почему они заперты здесь, где же Франция, где вся остальная страна, – им объяснили, что это для их же блага, что ФНО все еще ищет их и надо их защитить. С тех пор каждую ночь они дрожат, боясь, что им бесшумно перережут горло, одному за другим, чтобы завершить работу. Утром они машинально трогают себя за шею.

Чтобы чем-то занять этих мужчин и женщин, которых становится все больше, им предлагают курсы Посвящения в жизнь метрополии: мужчины могут научиться, как сократить текст для телеграммы, а женщины – пользоваться электрической швейной машинкой и утюгом. Детей же сразу начали учить – как будто от этого зависит их жизнь – старым народным песенкам. Полезность этих курсов, хоть учащиеся об этом еще не догадываются, состоит не в образовании, которое они могут дать, но в тщательно организованной вокруг них рекламе. Надо дать понять французам, что за вновь прибывших с их таинственными обычаями сразу берут ответственность, чтобы они, в свою очередь, стали хорошими французами, умеющими читать, писать, вести дом и петь песни. И действительно – поначалу в лагере полно телекамер. В новостях рассказывают о том, какой путь за спиной у тех, что прибыли сюда тысячами. Операторы обожают крупные планы их своеобразных лиц, черноту густых волос, посадку головы, глубину глаз, движения, которыми женщины отводят с лица белый *хайк* [\[42\]](#) или цветную косынку, повязанную вокруг головы, реденькие зубки детей, младенцев на руках, тела, утопающие или, наоборот, затянутые в одежду от Красного Креста, у которого никогда не находится

подходящих размеров. И главное – молчание. В теленовостях подчеркивают отсутствие языка, на котором можно общаться. Молчание тех, кто ждет.

Сайт Национального института аудиовизуализации полон этих кадров, снятых в лагере Ривезальт, в Ларзаке, на первых лесоразработках, куда отправляют работать харки. На одном из этих архивных видео, использованном в документальном фильме «Мусульмане Франции, с 1904 года до наших дней», можно увидеть Хамида, крошечного, но легко узнаваемого по чуть нависшему над левым глазом веку, – он надрывается среди полусотни детей в какой-то сборной построике:

*Все танцуют, все танцуют!
В Авиньоне на мосту
Все танцуют, все танцуют!*

Ни один из мальчишек не улыбается, и никогда еще веселая песенка не звучала так мрачно.

– Где тебе больше нравится? – спрашивает журналист детей, которых ему удастся поймать (многие не хотят с ним говорить и откровенно его боятся). – Во Франции или в Алжире?

Когда ему отвечают: «Во Франции», он говорит: «Тогда ты должен быть доволен». А когда отвечают: «В Алжире», он удивляется: «Да что ты, почему же?» И, видя, что ребенок мнетя, предполагает:

– Потому что там теплее?

Тот же вопрос он задает и взрослым, только не так по-отечески. И взрослые отвечают почти так же смущенно и боязливо, как дети: «Во Франции». Один мужчина, сдвинув густые черные брови, кусает губы, чтобы не расплакаться, и отвечает:

– Не в Алжире, нет. Больше никогда. Алжир надо забыть.

Это дается ему с великим трудом. Лицо его перекошено. Чтобы он забыл всю эту страну, полностью, ему нужно дать новую. А ведь им не открыли двери Франции, только ограду лагеря.

– Не думал я, что все будет вот так...

Эта фраза часто звучит на поворотах аллей, но ни одна камера ее не улавливает. Мужчины жуют ее и нехотя сплевывают, женщины

вздыхают меж собою. Большинство, даже те, кто никогда не покидал деревню, имели представление, образ того, чем была Франция. И она никак не походила на лагерь Ривезальт.

Франция из деревни в горах не выглядела ни пугающей, ни незнакомой. Она не была совсем чужой и уж тем более *эль горба*, изгнанием. Французские министры все годы, пока длился конфликт, наперебой утверждали: «Алжир – это Франция», но для большинства жителей деревни фраза теперь приобрела обратный смысл. Франция – это Алжир или, по крайней мере, продолжение Алжира, куда уезжали люди на протяжении почти века, сначала батраками на полевые работы, чтобы через несколько месяцев вернуться в деревню, потом рабочими на заводы. Для Йемы это был большой город, далекий, дальше столицы, дальше даже Константины, но в нем встречались и пересекались алжирцы. Даже Али был там в войну, в 1944-м. Ее это ничуть не впечатляло. Франция, говорил старый Рафик в деревне, она как рынок: уезжаешь надолго, зато возвращаешься с товаром.

– Не думал я, что все будет вот так...

Почему здесь нет ничего похожего на рассказы очевидцев? Неужели старожилы лгали?

Каждую среду происходит странная церемония, которую называют «процедурой признания гражданства». Перед судьей и его помощником жители лагеря должны ответить на единственный вопрос:

– Хотите ли вы сохранить французское гражданство?

Эти люди, завербованные добровольно или насильственно, участники – иногда сами того не зная – войны, не называвшей своего имени, не раз слышали, что они французы. С тех пор они потеряли Алжир. И теперь их спрашивают, не хотят ли они – а вдруг – отказаться и от Франции. Что же тогда у них останется? Каждому нужна страна.

– Хотите ли вы сохранить французское гражданство?

– Да, месье, – отвечает Али.

– А вы, мадам?

Судья смотрит на Йему, совсем маленькую перед его столом, но отвечает снова Али:

– Да, месье.

– Тогда подпишите здесь, – холодно говорит помощник.

Али нервно ломает пальцы. Еще в темном коридоре, где им приказали вести себя тихо, Хамид заметил, как сгорбилась спина отца. Мальчик видит его сзади, и ему кажется, что голова медленно исчезает в широких плечах, как будто ее засасывают зыбучие пески.

– В чем дело? – спрашивает помощник.

– Я не умею писать, месье.

Тот знаком просит его обмакнуть палец в чернильницу и поставить отпечаток внизу документа. Оттуда, где стоит Хамид, ему не слышно, что говорят в кабинете, но видно, как шевелятся губы, по крайней мере, губы помощника и судьи, не родителей, нет, он видит лишь их безмолвные спины, только две пары губ из четырех, но этого ему достаточно, чтобы понять: ни один из двоих за столом ни о чем не рассказывает, не спрашивает о самочувствии и даже не объясняет его родителям, что ситуация немного сложнее, чем думалось – для нас тоже, заметьте, – потому что, видите ли, как бы это сформулировать, демократия, если угодно, или права человека, или Славное тридцатилетие [\[43\]](#), – это как аппетитный торт, большой торт, если смотреть на него на фотографиях, допустим, в журнале по кулинарии или в книге рецептов, где он красуется без всяких представлений о его реальных размерах, – но на столе, в окружении едоков по праву, и едоков без прав, и потенциальных едоков, этот торт – согласитесь – уже не так велик, отнюдь, и делить его по крохам – дело долгое и трудное, и все равно никто не уйдет сытым, несмотря на затраченные усилия, поэтому мы вынуждены – поймите нас правильно, – вынуждены спросить вас, не предпочтете ли вы на десерт яблоко или даже скромно обойдетесь кофе, – если вы понимаете, что я хочу сказать. Нет, Хамид будет уверен, когда вспомнит эту сцену: ни судья, ни помощник не тратили время на метафоры, кулинарные или другие (Франция – огород с истощенной многочисленными посадками землей? Франция – океан с иссякающими запасами рыбы?). Они шевелят губами, давая лапидарные инструкции, и отец каждый раз повинуется, прижимает измазанный чернилами палец к протянутому документу, кивает головой и удаляется тяжелым шагом, когда его просят выйти. Мальчику открывается новый Али, угодливый, старающийся все сделать как велят, однако неспособный соответствовать первому, чего ждет от него Франция, – написать свое

имя. Хамид невольно верит вежливым, но слегка презрительным улыбкам судейского и его помощника и думает, что уметь писать, должно быть, не так уж и трудно. Он видит, как Али и Йема покидают кабинет, подняв вверх испачканные пальцы, как будто не знают, что с ними делать, и есть что-то дурацкое в их позах и растерянных взглядах.



Ривезальт в постоянном движении. Прибытие, отбытие. Сложение, вычитание. Некоторые, кажется, покидают лагерь, не успев попасть в него. Это в большинстве своем военные, оставшиеся во французской армии, которые могут быстро получить приказ об откомандировании, или гражданские, чьи родные уже обосновались во Франции, – им есть куда ехать. Остальные же пребывают в подвешенном состоянии. В окружении прибытий и отбытий со всех сторон голова у них пошла кругом. Идут недели, месяцы, людей и семьи сортируют, распределяют и перераспределяют. Разлучают соседей, друзей, близких, которые встретились здесь, и эта неожиданная скученность стала для них изрядным утешением. Они списывают новые горести на злую судьбу, на жестокий случай или на потребности рынка труда, который плохо знают. Никто не объяснит им, что Служба французских мусульман, приданная новому Министерству по делам репатриантов, порекомендовала «ни в коем случае не помещать на поселения семьи одного происхождения», так как это «неизбежно приводит при возникновении трудностей к сплочению членов этой семьи и тем самым к росту ее сопротивления в случае применения дисциплинарных мер». Применяется принцип, который одни приписывают Древней Греции, а другие римскому Сенату, принцип, который с легкой руки Макиавелли приобрел популярность и вошел в поговорку: «Разделяй и властвуй». Одних отправляют на север, где их ждут разверстые пасти шахт. Это обычно крепкие широкоплечие парни, мускулы без языка. Другие рассыпаются созвездиями по сотням поселений, созданным Министерством лесного хозяйства для генерации рабочих мест. Иных отправляют на запад, в Ланды, там их ждет не работа, а новый лагерь, Биас, где они сменяют французов из Индокитая, в свою очередь отправленных в другой лагерь, – это танцы проигравших в колониальных войнах. Глядя на тех, кто садится в эти грузовики, остающимся в Ривезальте легко понять, что туда везут умирать стариков и инвалидов.

Али и его семью долгие месяцы никуда не отправляют. Хамиду стыдно, что никому не нужны руки его отца – они, всегда видевшиеся

ему воплощением грубой силы, теперь висят, дряблые и бесполезные. Семья решается обустроить свою палатку здесь, в Ривезальте, пока не началась настоящая жизнь.

Прибив растянутые мусорные мешки к деревянным рамам, они соорудили дверь. Назавтра их примеру последовали другие семьи. В лагере пошло поветрие, что-то вроде моды – надо бы когда-нибудь проанализировать, как и почему так бывает: мода появляется даже в крайней нужде, когда вдруг кто-то захотел стать бедным *на особицу*, и тут все кидаются ему подражать. При каждом порыве ветра надо бежать за этой подвижной дверью несколько кварталов. Но семьи делают такую и себе, терпеливо, старательно. Дверь создает у них иллюзию личного пространства внутри палатки, принадлежащего только им, они могут открыть или закрыть свое жилище, они его хозяева.

Ниже в лагере есть так называемый квартал холостяков, в который Али запрещает ходить своим детям. Это горькое имя для мужчин, собранных там, ведь многие из них на самом деле не холостяки. Некоторые вдовцы, другим не удалось взять с собой семьи. Им сказали: они приедут к тебе позже, документы есть только у тебя. Сказали: уезжай первым, а все что нужно сделаешь во Франции. Но потом был только хаос, как по эту, так и по ту сторону моря: французская администрация противилась воссоединению семей, алжирское правительство отказывало семьям харки в праве выезда с территории, дома были разграблены мстителями и покидались в спешке, письма возвращались с пометкой «адресат выбыл», и как узнать, куда писать, где скрывается жена, кто из близких ее приютил... На этом участке лагеря то и дело вспыхивают драки, без повода, только чтобы почувствовать, как разбивается кулак о скулы, в надежде, что смутное, но постоянное ощущение кошмара наконец рассеется, стычки без гнева и без радости. Хамид, однако, не слушается приказов отца и любит туда ходить. Он привязался к одному старику, чье лицо напоминает ему лицо с картинки из комиксов, принесенных добровольцами из ассоциации «Католическая помощь», или из Международного экуменического центра, или из Красного Креста – он их не различает, их представители все на одно лицо с их влажными и ласковыми улыбками. Хамид смотрит картинки, и его воображение

восполняет диалоги в пузырях, которые он не может прочесть. Индийский факир, помогающий Мэдрейку Волшебнику в одном из выпусков, говорит в точности как старик из квартала холостяков. Печаль звучит в голосе, удерживая его на низких частотах, из самого нутра. И даже если пузырь совсем маленький, Хамид сочиняет целую историю:

– Однажды ночью, говорит старый факир, в мою дверь постучался отряд муджахидов. Я открыл и дал им поесть. Они спросили, есть ли у меня собака, и я сказал, что есть. Придется ее убить, сказали они. Сначала я засмеялся: зачем убивать моего пса? Ты думаешь, он продался Франции? Могу поручиться, что нет. Они объяснили мне, что собаки лают каждый раз, когда проходят их бойцы, и так выдают их французам. Только не мой пес, ответил я, мой дрессированный. Ты что-нибудь слышал, когда вы вошли? Ничегошеньки. Все равно, сказали они, придется его убить. Нельзя, ответил я, я святой человек, моя вера запрещает насилие. Они спросили: ты отшельник? И не успел я ответить, как оттолкнули тарелки, сказав, что, мол, жалеют, что преломили со мной хлеб. Я думал, они уйдут, но они дали мне палку и сказали: бей. Я ответил: нет. Они рассердились. Говорят: собака или ты. Мне надо было сказать, мол, я. Не знаю, о чем я думал. Думал, наверно, что все само собой уладится. Знай я, что жизнь после – это лагерь, что завтра могила, сказал бы: бейте, разбейте мою голову, братья, и дайте мне умереть здесь, на моей земле, в моей *зауия* ^[44], рядом с моим шейхом. Я испугался, я был трусом, я ударил пса. С ума сойти, до чего они живучие, псы, он не хотел умирать, крепко держался за жизнь. И ревел, как любое другое животное, когда страдает, когда умирает, выл, как стая сов, и я видел по его добрым собачьим глазам, что он не понимает, почему я это делаю. Под конец, видя, что дело слишком затянулось, они перерезали ему горло. И сказали: в следующий раз слушайся сразу, или конец придет тебе.

– Я отомщу за тебя, – пообещал Мэдрейк, колыхнув своей шелковистой накидкой, – и за тебя, и за твою собаку.

Когда снова раздавали одежду, Кадеру досталась ярко-красная пижама, которая – в кои-то веки – пришлась ему точно впору. Это бумазейный комбинезончик с застежкой спереди от паха до горла, украшенный сзади, на уровне копчика, шерстяным помпоном. Не

столько одежда для сна, сколько маскарадный костюм зайчика или какого-то сказочного зверька.

Как только Кадер ее надел, пижама стала его любимой одеждой, и снимать ее он отказывается. Он носит ее каждый день, а на ночь прячет как может, чтобы с легкой руки Йемы она не исчезла в унылой куче грязного белья. Среди палаток и бараков тусклой военной окраски Кадер-красный-зайчик в своей пижамке разбрасывает искры смеха. На голову он натягивает великоватую ему вязаную шапку – она почти закрывает глаза, зато держит в тепле его наголо бритую голову – из соображений гигиены всем детям при поступлении в лагерь пришлось остричься. На ногах у него резиновые сапоги, они ему чуть тесноваты, и он не может снять их сам. В такой экипировке Кадер носится по лагерю. Он перепрыгивает через лужи и грязь, сворачивает под прямым углом из аллеи в аллею, имитируя скрип тормозов (тормоза у зайчика?), похрустывают под его сапогами доски и дощечки, единственные сухие дорожки в лагере, а для него – мостики над устрашающей бездной. Картонки он дырявит пяткой. Иногда оступается, поскользывается на мостике, и сапог тонет в луже (а вдруг там крокодил!), взметнув сноп бурых брызг, которые ложатся пятнами на шерстку волшебного зайчика.

К вечеру красный комочек весь перемазан, и Йема с трудом отмывает его в тазу (душа в лагере все еще нет, но скоро, скоро, обещают им). Когда она снимает с него алый мех, малыш извивается и протестует, зайчик хочет, чтобы его мыли прямо в шубке, он ведь с ней никогда не расстается.

– Кадер, не мешай Йеме, – сердится Хамид.

Он завидует его детству, на нем будто нет никаких следов войны. Детству, полному сказочных зайчиков и приключений на мостиках. Далила не такая. Ей исполнилось восемь лет, и она больше похожа на Хамида: война заволокла их глаза тьмой и разом вырвала из детства. Хамид мечтает туда вернуться: для него оставленные позади земли – это значит скорее беспечность, нежели Алжир. Он старается вволю фантазировать – все его фантазии похожи на розовое суфле, – да так, словно хочет отторгнуть от себя весь внешний мир. Что почти удастся ему, когда он встретит Клариссу – но это случится через десять лет. Пока же, в лагере Ривезальт, ни Мэдрейк, ни Тарзан не могут помешать внешним раздражителям стучаться в двери его мира.

В начале ноября 1962 года грузовики привозят пополнение, там множество калек. Среди них, с обвязанной грязным бинтом головой, Мессауд, брат Йемы. Хамид первым узнал под раной знакомое лицо, возникшее из канувших в прошлое гор. Вскрикнув от радости, он бросается на шею дяде. Следом его обнимает Али – коротко, по-мужски. Йема не в силах так быстро. Она рассматривает брата, гладит, плачет у него на плече, говорит:

– Как ты похудел...

– Но хоть цел, – отвечает Мессауд.

Он вкратце рассказывает, что в августе, после того как он отвез Йему и детей в Тефешун, его арестовал ФНО. После двух месяцев в заключении он бежал (как Мэдрейк! – возбужденно думает Хамид).

– Охранник дал мне бежать, – поправляет его дядя. – Он сказал: завтра тебя казнят, но, боюсь, сегодня вечером я так устану, что забуду запереть дверь... Я убежал и шел два дня. Кузены в столице меня спрятали.

Дальнейшее (пароход, поезд, грузовик, лагерь) все знают. Об этом даже не говорят, и это опущенное путешествие, повторяющееся в речах вновь прибывших, создает впечатление, что Алжир и Ривезальт – города-соседи, как будто между ними и моря никакого нет. Мессауду дают место в переполненной палатке, чтобы ему не пришлось селиться в квартале холостяков, и вечер становится праздником. Али и Йема хотят разделить с ним все немногое, что у них есть. Его осыпают добром – пуловеры, разрозненные ботинки, банка сардин, кусочки сахара... Мессауд смеется и отстраняет протянутые дары, раз, другой, потом принимает. Даже здесь он должен повиноваться неписаным законам деревни: от подарка не отказываются. Надо только подумать, чем сам сможешь одарить позже. Чувство благодарности связывает такими же узами, как любые другие, а здесь, может быть, других и вовсе не осталось.

– Завтра я научу тебя всему, что нужно знать, чтобы выжить в лагере, – говорит Али.

И с этим простым обещанием отчасти вновь обретает свою ауру патриарха, главы, частичку той уверенности в себе, какая была у него когда-то, там, в горах. В глазах Хамида он как будто сразу стал выше ростом в тесной палатке, он снова горец.

Уложив детей, взрослые пьют чай, приготовленный Йемой на старенькой спиртовке, и шепот их становится грустным.

– Я видел, как горят оливы, – говорит Мессауд.

Он проверяет, спят ли дети (Хамид крепко зажмуривается, притворяясь спящим), и показывает шрамы на запястьях, оставленные колючей проволокой самодельных наручников, укусы которых он терпел много недель.

Вновь прибывшие, как Мессауд, принесли новости с родины, облакающие в слова потаенные страхи. Они служат информационными бюллетенями тем, кто давно заключен здесь. Население бараков кучкуется вокруг того или иного человека, едва узнав, из какой он деревни или города.

– Ты не в курсе, что случилось с моим братом, Талеб?

– А Малика, ты должен ее знать, у нее была маленькая ферма на самом краю деревни, у перекрестка дорог. Не знаешь, что с ней?

– А дом еще стоит?

– Что они сделали с моим отцом?

Иногда звучат ответы, которые исцеляют:

– Я его видел, все хорошо.

Другие вызывают стоны:

– Его отправили на тунисскую границу, на разминирование.

(Это одна из кар, придуманных ФНО для предателей: разминировать голыми руками границы, которые французы буквально наспиговали минами.)

А иногда к старым вопросам лишь добавляются новые.



Хамид весь вытянулся – от кончиков ног до пальцев руки, которая силится вырасти на несколько сантиметров, чтобы достать до яблока, он хочет дотянуться до своего десерта, пока его не выкинули из очереди. Если он создаст затор, его вытолкают, бедром, плечом, а то и просто подхватят под мышки и отставят подальше, как ребенка, а он ребенок и есть, как будто малорослый не бывает голодным, как будто пустое брюхо не пусто, если оно в маленьком тельце. Он ненавидит раздачу пищи, когда ему надо добыть еду не только себе, но и Кадеру и Далиле, которых мать поручает ему. Он старший брат, отвечает за младших и не может оплошать. Рука вытягивается еще на полсантиметра, и он чувствует под пальцами гладкий бок яблока. Увы – вместо того, чтобы схватить, он лишь отталкивает его.

– Держи, сынок.

Мужчина с очень смуглой кожей – почти негр, как зовут их Йема, которая за полвека во Франции так и не научится произносить слово *хель* (черный) без неодобрительной гримаски, – берет его за руку, раскрывает ладонь и кладет в нее яблоко.

– Хочешь еще одно?

Стоящий за длинным раздаточным столом молодой военный протестует: полагается по одному на каждого. Смуглый бросает на него такой взгляд, что тот мгновенно замолкает. Слова застряли в горле, он даже не успел осознать, что перестал говорить. Рука смуглого берет второе яблоко, потом третье, и никто не возражает. Он уводит Хамида от очереди и усаживает поодаль на чахлый газончик.

– Пока они будут думать, что подают нам милостыню, мы ничего не добьемся, – говорит он мальчику, или самому себе, или воображаемому собеседнику, а кому – Хамид может только догадываться. – То, что они нам дают, наше *по праву*. Надо, чтобы они это поняли. И мы тоже, мы должны быть в этом убеждены.

Хамид кусает яблоко и кивает.

– Сколько тебе лет, малыш?

– Я родился в год бобов, – отвечает Хамид.

Так он ответил в последний раз. Французов этот ответ не устраивает. Очень скоро он станет цифрами сообщать возраст, высчитанный исходя из даты рождения, хотя ничто не доказывает, что она верна, а не была вымышлена целиком и полностью, когда составлялись бумаги, сделавшие возможным бегство. Однако, пусть даже эта дата выдумана, возраст, который она позволяет назвать, больше нравится руми, чем истинная правда, которой они не понимают (в год *чего?*), и поэтому Хамид вскоре научится ее замалчивать.

Он радостно грызет яблоко, хотя мякоть у него мучнистая, подпорченная. Быстро доходит до сердцевины и вращает огрызок во рту, чтобы отделить малейшие кусочки мякоти, работая зубами и языком. Выплевывает только семечки и волокна. Смуглый смотрит на него, улыбаясь.

Хамид не понимает, почему Йема вдруг бросается к нему с криком, почему тащит его за ухо в палатку, охваченная гневом и страхом, дает ему пощечину, просит прощения, снова бьет, целует, трясет. Он не противится, ошарашенный, только мотаются во все стороны руки, ноги, голова. Далила принимается визжать, монотонно, на одной ноте, сперва с трудом повышая высоту крика, она держит эту ноту долго, чисто, это – сигнал тревоги тела-машины: когда девочка так визжит, она уже не ребенок, она – система выживания.

– Ты знаешь, кто этот человек? – спрашивает Йема Хамида, продолжая его трясти. – Знаешь?

Хамид уже отбивается, трясет головой, он ничего не знает, кроме того, что человек дал ему яблоко, – тут он понимает, что два других, которые он нес брату и сестре, выпали у него из кармана. Он хочет бежать на их поиски, но не может вырваться из рук матери.

– Никогда больше не подходи к нему! Слышишь?

– Но почему? – хнычет мальчик.

– Это не человек. Это пантера. Демон.

– Что он сделал?

– Все. Он сделал все, что бывает в кошмарах. Он из команды «Жорж» [\[45\]](#).

Три года назад демон, о котором говорит Йема, стоял в строю среди братьев по оружию и получал награду из рук генерала де Голля. Эту новость показали по всем каналам. Его уверяли, что он герой. Ему

говорили, что он нужен Франции, что Франция скоро одержит победу и все прочее, что говорят во время войны, любой войны, тем, кто рискует головой. Слишком много раз произнесенные слова потускнели, однако демон еще верил в них. Он с энтузиазмом пожимал руки. Его благодарили, полунамеком, за готовность убивать и пытаться, потому что коммандо «Жорж», несмотря на девиз «Изгнать нищету», изгонял-то в основном людей, которые в ней жили.

Сегодня недолгий герой тележурнала 1959 года сидит за колючей проволокой. Конечно, Алжир его ненавидит, конечно, Франция его не знает – он этого ожидал, с тех пор как его коммандо разоружили в марте. Удивляет его другое – что даже здесь все его боятся, избегают и презирают. В Ривезальте существует иерархия преступления, исключая его из общей жизни. В лагерном обществе, как и в Алжире, выход из войны означает, что есть счета, которые надо свести, и в застойной жизни Ривезальта у репатриантов было время их детально изучить. Большинство тех, кто здесь, всё отрицают, они не предавали, не причиняли зла и мечтают о шансе объясниться с Алжиром, сказать слово в свою защиту. *Я не убивал, я не пытал, в чем меня, собственно, обвиняют?* Иногда между собой они разыгрывают эти воображаемые процессы. Будь ты Бен Белла [\[46\]](#), говорят они, я бы тебе все объяснил. И даже если собеседник уже знает историю, они рассказывают ее снова, выносят на суд, надеясь на милость – и милость почти всегда следует. А вот если заговорят члены коммандо «Жорж», неизбежно последует приговор, так что тут даже и рисковать нечем. Они слишком публично творили зло, чтобы потом защищаться или ссылаться на смягчающие обстоятельства, – они причинили зло *по телевидению* и сами вырыли себе могилу. После трех десятков выданных медалей и около четырех сотен цитат французские власти отказали им в репатриации. Те, кому удалось бежать нелегально, дорого за это заплатили – даже здесь это не секрет. Многих из них ФНО удалось прибрать к рукам. Лейтенанта, возглавлявшего коммандо, летом сварили заживо. Эта сцена кажется вышедшей из старых фильмов про Тарзана, комиксов «Гинтин в Конго» или из первой трилогии «Звездных войн»: связанный по рукам и ногам человек в гигантском котле, под которым потрескивает огонь, а вокруг толпа улюлюкает в злобной радости. Признанный предателем из предателей и преступником из преступников, лейтенант

заслуживал самой мучительной смерти. Решение о способе его казни далось – я думаю – нелегко: разных видов смертей наслучалось столько, что сравнить и исследовать никому не пришло бы в голову. Я не знаю, кто предложил его сварить – это оригинально.

– С этими людьми не разговаривают, – втолковывает Йема Хамиду и остальным детям. – К ним даже близко не подходят. Ясно?

Французы, охраняющие лагерь, не понимают, почему в нем столько дерутся. Одни охотно ссылаются на привычки арабов, другие говорят: это у них крыша поехала из-за отрыва от корней. Есть и такие, что указывают на недостатки временного города. Они как будто не видят, что заперли тут вместе людей, не имеющих общей цели. Для Йемы член команды «Жорж» – монстр. Для Али сторонник Мессали Хаджа – фашист арабского мира. Для поборников независимости, соперников ФНО, как и для старой офранцуженной элиты, Али – эгоист и деревенщина и так далее. Антагонизмы подогреваются постоянной близостью, на которую обрекает жизнь в лагере. За оскорблениями дело не станет, за кулаками тоже, реже в ход идут ножи, но случается и такое: лезвие – бог весть откуда взявшееся – вдруг блеснет в занесенной руке.

Администрация нашла в широкомасштабной раздаче нейрорептиков быстрый и эффективный ответ на гнев, то и дело вспыхивающий в аллеях. Тех, кому лекарства нипочем, помещают в психиатрическую больницу. Хамид привыкает к присутствию больших белых тушек машин скорой помощи, припаркованных между бараками. Иногда он видит, как из них выводят странных существ, с пустыми глазами, с перекошенными дряблыми лицами, с зашитыми головами, похожих (отдаленно, очень отдаленно) на людей. О них говорят шепотом, что они слишком много кричали, мешали другим, и тубиб – доктор о них позаботился. Во имя спокойствия и порядка их отправили – лекарствами или лоботомией – туда, где растут корни тумана. Они никогда не вернуться.

Отделенные от неба и от земли слишком тонкими слоями, семьи в Ривезальте всецело зависят от погоды. В конце осени на лагерь обрушились проливные дожди. Капли стучат и стучат по полотну палатки с оглушительным грохотом. В первую ночь ливня Хамид не различает звуков, и непрерывные шквалы с небес пугают его.

– Пусть опустошат хоть все свои автоматы, – успокаивает его Мэдрейк, стоит мальчику провалиться в сон, – в меня они не попадут.

Назавтра он начинает различать: дождь шумит по-разному. На железные и полотняные крыши обрушивается целая симфония капель, отдается эхом, рассыпается нотами под аккомпанемент раскатов грома. Слушая ночь за ночью, он научился их распознавать и может зрительно представить, как они разбиваются над ним. Почти машинально мальчик выпрастывает руки из-под одеяла и невидимыми в темноте жестами словно дирижирует грозой.

Оказывается, однажды у него так хорошо получилось, что вода к утру унесла четыре палатки. Он жалеет, что проспал катастрофу. Ему хотелось бы посмотреть, как потоки поглощают хрупкие сооружения и драматический масштаб приобретает убожество Ривезальта, жизнь в котором становится похожей на комикс.

Зима 1962-го выдалась на редкость холодной. Среди алжирцев с юга и из долины многие впервые видят снег. Ошеломление при виде молочно-белесых небес, хлопьев, осыпавших лагерь. Дети плачут от страха, когда снег касается их кожи. Другие смеются, ловят снежинки ртом, лепят в кулачках плотные льдинки, чтобы долго их сосать. Через несколько часов у них начинаются спазмы в желудке. Хамиду слишком хорошо знаком снег, чтобы очаровываться внезапным снегопадом, и потом, он нужен матери. Пока другие мальчишки бегают туда-сюда, он помогает ей расставить вокруг палатки все алюминиевые миски. Когда они наполняются, Йема топит снег на спиртовке и хранит воду в канистрах. В санитарных блоках замерзли трубы, и лагерь под снегом страдает от нехватки воды.

Из разрезанных бидонов Али смастерил самодельную угольную печку. Она пахнет жженой краской, и дети кашляют. Все лучше, чем рядом, у Юнеса, бог ведь какие химикаты были в его бидоне, но у него разит смертью каждый раз, когда он хочет погреться. Мужчины установили и жаровни на улице, чтобы можно было беседовать вне тесноты палаток и бараков.

Движение на аллеях, если смотреть сверху, – удивительное зрелище. Перемещаются только от огонька к огоньку, дрожащими блошиными скачками, потирая озябшие руки, вдыхая маленькими глоточками ледяной воздух, застревающий в горле. Слишком холодно, чтобы отходить далеко от огня. Подвижность ограничена, раздроблена

остановками. Обитатели лагеря теперь общаются по насущной необходимости и стуча зубами: они не смотрят, кто сидит у огня. Если холод жалит слишком больно, то просто примыкают к ближайшему кругу, садятся плечом к плечу с незнакомцами и здороваются, только основательно прижавшись. Чтобы добраться до душа, наконец-то установленного на другом конце лагеря и почти всегда неисправного, Хамиду приходится сделать три остановки. Перед тем как покинуть палатку, он мысленно составляет список жаровен на своем пути: у Ахмеда, у медпункта, у вагонетки... Он бежит. Белый парок вырывается изо рта, такой густой, что, кажется, замедляет дыхание.

Снег под торопливыми шагами идущих быстро превращается в ледяную грязь, и она никак не желает отлипнуть от подошв.

Чтобы защитить детей от холода, Йема подкладывает в их обувь и под одежду газетные листы. Рвет что попадется под руку, и, может быть, среди этих публикаций, которые она не в силах понять, есть и несколько номеров «Каталанского рабочего», те, что Наима прочтет позже, в ходе своих поисков, – там призывают власти Ривезальта избавиться от «наемников» и «швали», нашедших приют в лагере. Слова мало волнуют Йему, ей нужна бумага. Проложенные достаточно толстыми слоями местные газеты не только защищают от укусов зимы, но и служат отличными щитами, позволяющими малышам бить друг дружку в живот, не сгибаясь от боли пополам. Драки сопровождаются глухим шорохом газетной бумаги и мстительными криками. Чтобы удостовериться, что Мэдрейк не разделит постыдную судьбу прокладки в его гадких галошах, Хамид тщательно прячет комиксы между слоями брезента под крышей палатки. Волшебник отсырел и покоровился, но, как может, противится зиме.

Весной, с концом морозов, территория каждого растет. Хамид снова бродит без цели и остановок, Кадер-волшебный-зайчик тоже взялся за свое и скачет, скачет, скачет. С палаток стаскивают полотнища брезента, из-за которых зимой дом казался луковицей, состоящей из одной кожуры.

Под теплым солнцем, в подсыхающей грязи лагерь вновь похож на лагерь. Когда Хамида и его семью отправили в Жук, во вновь открытое поселение на лесоразработки, до мальчика не сразу дошло, что они провели в Ривезальте восемь месяцев. Если не считать

капризов погоды – ему кажется, что он прожил всего один день, длившийся бесконечность.

– Будешь доволен, – говорит ему один жандарм перед отъездом, – те места немного похожи на Кабилию.



В письмах префекта департамента Буш-дю-Рон, ксерокопии которых разыскала Наима, лагерь в Жуке называется «Домом Анны» в честь пастушки, ставшей святой, о которой она не нашла никакой информации. Созданный в 1948 году у берегов Дюранса и департаментального шоссе 96 для рабочих, рывших Провансальский канал, он принимал харки с 1963-го и – хотя официально и был тоже временным пристанищем – закрылся только в 1988-м.

Сегодня от него ничего не осталось. Вернувшись из Алжира, Наима захочет увидеть место, где ее отец провел почти два года, она поедет по автостраде А51, через мост Мирабо на старых опорах, которые были установлены в 1845 году, да так и стояли перед утесом Кантепердри, с двойными башенками и арками из бежевого камня, утончающимися с каждым этажом, красивыми и странными, словно элемент декорации, забытый Питером Джексоном после съемок «Властелина колец». Она увидит на месте лесного поселения только темно-зеленые ворота, запертые на цепь, а за ними лежит – она не понимает зачем – большой валун в пятнах ярко-розовой краски. Все бывшее поселение обнесено оградой. Наима пытается рассмотреть, что там за ней, но ей кажется, что дорога от ворот не ведет никуда, только в сосны и заросли. Справа от входа, между департаментальным шоссе и оградой, высится мемориал, воздвигнутый в 2012 году. Почти пятиметровый, мраморный, он представляет собой – я об этом где-то читала – дверь в восточном или псевдовосточном стиле. Издалека Наиме кажется, что он похож на гигантский дверной замок с рожками.

Ухватившись за прутья ворот, она пытается заглянуть за ограду. Металлическая решетка ходит ходуном и звенит, когда она лихорадочно трясет ее. Перебравшись на другую сторону, она идет прямо, все дальше, туда, где сосны. Ничего нет. Дорога кончилась. Наима продолжает путь по траве, поднимается на склон, поросший чахлыми деревцами. Наклоняясь к земле, раздвигая заросли и колючки, она находит следы прежней жизни: оторванную руку куклы, ставшую сероватой, клапаны от газовых баллонов, сливные трубы,

торчащие из земли, – признаки отжившей цивилизации там, где в свои права вступила растительность.

Сверху, обернувшись, она видит вальяжно извивающийся Дюранс, молочные отсветы, голубеющие меж бледных скал. Слышит цикад, они мерно стрекочут под деревьями, невидимые лютни цвета коры.

Этот вид, эти звуки – она наверняка слушает их так же, как когда-то и Хамид, и Али, хотя прошло столько лет.

Теперь они живут в домах из дерева и асбестоцемента, построенных пятнадцать лет назад. Тем, кого поселили ближе к шоссе, достались сборные домики, желтые с белым, в два этажа, нечто среднее между летним бунгалом и сараем для инструментов. Внутри размещаются зачастую вдесятером. Али и Йеме повезло: они живут со своими тремя детьми и дядей Мессаудом. Шестеро – не так много. И все-таки по утрам в доме пахнет выхлопами малышей и потом спящих.

В переполненных домишках женщины, еще не заметив, что эта жидкость съедает все краски, отмывают каждый квадратный сантиметр жавелевой водой: социальные службы им гарантировали, что в плане чистоты это *must*. Дерево, эмаль, стекла и штукатурка – ничего ее не минует. Йема с соседками даже обсуждает, не мыть ли чудесной жидкостью фрукты и овощи. Не решаются лишь потому, что жавелевая вода содержит алкоголь.

Йема хочет, чтобы ее крошечное жилище было безупречным – самым чистым из всех. Так она отрицает бедность, замещая одну иерархию другой, на вершине которой еще может найти место. У нее дома не найдешь ни облачка пыли, ни мушиного дерьма, ни остатков пищи под ножкой стола или темного потека на гладкой поверхности пластиковой мебели. Каждый квадратный сантиметр, который она оттирает, принадлежит ей.

– Она протрет стены до дыр, – говорит Али соседям.

Но первый параграф устава поселения, спущенного французскими властями, который им сразу же и зачитали, гласит: чистота – одно из условий *sine qua non* [47] их пребывания здесь, поэтому Али не мешает Йеме скрести дом. Устав начинается так:

«Жители лесных поселений широко пользуются заботой правительства.

Им предоставляются не только ресурсы, являющиеся плодами их регулярного и добросовестного труда, но и бесплатное жилье, которое хотели бы иметь многие бездомные.

Кроме того, квалифицированный персонал оказывает им необходимую помощь, помогает в их хлопотах и обеспечивает постоянную поддержку.

Оборотной стороной этих преимуществ является некоторое количество обязанностей и запретов».

Далее следует относительно короткий список, который можно резюмировать еще более лапидарно: они должны быть здоровыми, тихими и послушными. «Несоблюдение одного из вышеуказанных правил повлечет за собой немедленное выселение нарушителя. Освободившееся жилище будет предоставлено другому репатрианту и его семье». Приветственные речи могли бы звучать и потеплее – даже «квалифицированный персонал», зачитавший им текст, это понимает.

Детей «Дома Анны» распределяют по трем окрестным школам, в Жуке, Пейроле и Сен-Поль-ле-Дюранс, но только с первого класса. В лагере организованы детский сад и подготовительный класс, требующий особой системы обучения: как научить чему-то детей, о которых сами учителя ничего не знают? Они сомневаются в их умственных способностях. Сомневаются в их адаптации. Сомневаются в их честности. Учителя не столько учат, сколько ставят опыт первого контакта с неведомым доселе видом инопланетян. Уроки начинаются как бы ошупью.

– Меня зовут Хамид, я из Кабилии.
– Меня зовут Мохтар, я из Кабилии.
– Меня зовут Кадер, я из Французского Алжира.
– Нет, Кадер, – нервно перебивает его учитель. – Французского Алжира больше не существует.

Дети молчат, озадаченные. Фраза перекликается с требованиями их родителей: не думать больше об Алжире, забыть Алжир. И для них это выглядит так, будто страну физически стерли с лица земли. «Как уничтожают страну?» – мысленно спрашивают они.

– Когда я учился в коллеже, – рассказывал Хамид много позже, где-то через полвека и через несколько лет после поездки Наимы, – я повесил на стену карту мира, чтобы повторять географию. Однажды

вечером прихожу – а Алжир кто-то выжег сигаретой. Осталась круглая дыра.

– Кто же это сделал? – спросила Наима.

– Твой дед, полагаю...

Очень скоро учитель подготовительного класса отказался от мысли научить детей читать и писать. Это слишком сложно. Все ученики разных возрастов. Объяснять приходится на трех языках, подобных окровавленным обрубкам: арабском, кабийском,

французском. Разве можно, разрываясь между народом ^و и народом

Ж

, добиться результатов по методике для французов, впитавших родной язык с колыбели? На уроках они рисуют цветочки. И учатся играть в регби.

– Нельзя обижаться на этого человека, – скажет Хамид Наиме, – я думаю, он делал нас счастливыми. А это было непросто. Стоило только начать заводить самолет – и малыши писались со страху, а мы, старшие, бросались на пол. При любом шорохе шагов косились на дверь и не слушали. Не так-то легко было заставить нас улыбаться, заново научить играть. Но все-таки это была не школа. Или, во всяком случае, не французская школа.

Между тем, с тех пор как Хамид приехал в эту страну, он мечтает только об одном: стать неотличимым от французов. Он пока не претендует ни на равенство, ни на справедливость. Он просто хочет увидеть Анни и знает, что им не встретиться на скамьях этого недокласса. Он скучает по смеху девочки и думает, что если услышит его снова, то вернется в детство. Франция, которую он до сих пор видел, кажется такой маленькой, что он не сомневается в их скорой встрече.

По другую сторону моря, в потерявшем свое имя Палестро, бакалейная лавка и квартира над ней, в спешке покинутые семьей Клода, были несколько раз ограблены. Последние мародеры унесли даже кухонные краны. После долгих месяцев скрежета и пыли магазин отдали юному Юсефу Таджеру, бойцу Революции. Он входит, обнажив в улыбке широко раздвинутые зубы, зубы мальчишки с гор, маленького

бродячего торговца, которого независимость превратила в респектабельного коммерсанта. Отпихивает ногой пустую консервную банку под прилавок и, вскинув руки и разинув рот, застывает в безмолвном крике: ГОООООООООЛ!

Как все мужчины в «Доме Анны», Али работает на Национальное лесное хозяйство. Дом с должностью так и пришли парой, как сиамские близнецы. Никто не просил их переосмысливать или воображать себе новую жизнь во Франции. Они будут жить среди деревьев и работать среди деревьев. Когда Али вспомнит поселение много лет спустя, перед его мысленным взором встанут крупные планы коры, бурые и красные островки, разделенные ямками и глубокими трещинами, в которых кишит целая жизнь, миниатюрное воспроизведение тектоники плит, о которой он ничего не знает. Он рубит стволы, облезавшие, как обожженная кожа, расчищает аллеи, вырубает кусты на обочинах дорог. Маленькие группки, выходя в лес, редко встречают местных. Идеальная работа, чтобы присутствие харки не стало слишком обременительным для соседних деревень. Они незаметно прореживают лес, чтобы в нем не распространились пожары.

Однажды, когда Али и еще трое мужчин из лагеря валят деревья, с падающей сосны на них обрушивается дождь гусениц-шелкопрядов. Вспоротые размахом ветвей волокнистые гнезда изрыгают на них бурых и черных чешуекрылых, крошечных мохнатых монстров, чей шелк подвергает тело пытке огнем, а глаза муке мученической. Несколько часов спустя их руки, шеи, торсы, животы, лица покрыты красными пятнами. Жгучие волокна плавают в ручейках пота и распространяются по всему телу. Четверо мужчин чешутся и бранятся, у них опухли веки, и из оставшихся щелочек-глаз непрерывно текут слезы, мешая видеть. Когда они возвращаются в «Дом Анны», женщины с удивлением смотрят на эту группу мужчин – красных, распухших и лихорадочно чешущихся. Башир, старший из них, морщится:

– Мы попали в засаду. Ничего не могли сделать. Их было слишком много.

Все хохочут, и Али удивляется, хотя тоже смеется: надо же, эта шутка времен войны их рассмешила. Он чувствует, что не единственный, кто удивлен: все вокруг, и мужчины и женщины, смеются дольше и громче, чем того заслуживает шутка Башира. Они смеются просто тому, что могут смеяться. Смеются, понимая, что война отступила в их сознании, как море в отлив, и на обнажившемся пляже они могут пользоваться лексиконом ужаса, не поддаваясь панике.

– Разденься на улице, – говорит Йема мужу, – не вноси в дом вещи, от которых чешутся.

Все следуют его примеру и раздеваются между домами, открыв под рабочей одеждой всю поверхность зудящей кожи. Женщины приносят им тазы с водой и мыло, и они моются как дети, радостно взвизгивая и брызгая водой друг на друга.

Наконец женщины усаживают их на землю, размашистыми движениями расчесывают им волосы и пытаются клейкой лентой снять последние зловредные нити. Иные предпочитают осторожно поскрести кожу лезвием ножа. Жена Башира льет немного молока на красные вздутия. Ни дать ни взять импровизированный салон красоты под открытым небом, и они смеются над гримасами своих мужчин, которые неспособны вынести малую боль и вдыхают воздух со слюной сквозь стиснутые зубы, когда женщины резким движением отклеивают скотч.

После этой засады, опасаясь походного шелкопряда, живущего в соснах, мужчины поневоле одеваются с головы до ног, обливаясь потом, как в хаммаме, в своих комбинезонах, перчатках, защитных очках и длинных носках, а малыши, глядя, как отцы уходят в этой сбреу, думают, что они похожи на космонавтов, только бедных, или ученых, только грязных, идущих неловкими шагами в тайную лабораторию. У Али развился такой страх перед гусеницами, что они чудятся ему на стенах дома, в кровати и даже в его тарелке. От каждого незаметного движения поблизости он вздрагивает так, что смешит детей.

Хамид, кажется, помнит, что здесь они совсем скоро отпраздновали свой первый после отъезда из Алжира Аид-эль-Кебир [\[48\]](#). Память сохранила картины лагеря, полного громко

блеющих баранов, которых мужчины и женщины тащат на веревках, проклиная строптивую скотину. От страха бараны гадят повсюду на аллеях бурыми вонючими катышками. Изрядная часть заработка Али ушла на покупку барана. Он не мог удержаться: ему хотелось барана потолще, пожирнее, чем у соседей. Вернувшись с упитанным блеющим созданием, он улыбался так, будто своими руками изловил дикого зверя. Хамид же слышать не может, как баран трется о стену дома и упорно бодает столбик, к которому привязана его веревка, и вовсе не потому – как полагают родители, – что ему жалко животное. Он просто злится: оно стоило таких денег. В первые годы во Франции его родители ведут себя так, будто еще когда-нибудь обретут былой статус. Они больше не говорят о возвращении в Алжир, об уловках генерала де Голля и военной мощи Франции, но еще мечтают о богатстве, о том, что они зовут – по-своему, по-деревенски, по-стариковски, – домом-полной-чашей. Мальчик слушает их и иной раз тоже верит в хорошие дни, которые непременно вернуться, но чаще сердится на родителей за внешние признаки благополучия, платить за которые со временем придется ему, брату и сестре. Ему-то плевать на размеры барана, а вот пара новых ботинок еще как не помешает.

В день Аида из каждого жилища поднимается запах крови. От близости очагов и обилия жертв блеющий хор оглушителен. Впервые Аид вызывает у Хамида отвращение. Несколько дней блюда путешествуют из одного дома в другой, но Хамид отказывается съесть даже маленький кусочек мяса.

Много позже дочери спросят его, в какой момент он перестал верить в Бога, и он с надлежащим пафосом станет рассказывать о своем отрочестве и о Марксе, но посреди глубокомысленных речей перед глазами вдруг встанут картины из детства: кровь, шерсть и дыры в его подметках.



Через несколько месяцев после переезда в «Дом Анны» Йема снова забеременела. Ей страшно, как в самый первый раз, будто она успела забыть, как рожают. Она думает о черноглазом мальчике, похороненном там, в горах. Спрашивает себя, остался ли кто-нибудь из родни, чтобы помнить о нем, чтобы присесть у маленькой могилки, где на надгробии широко улыбается лежащий полумесяц.

– Ты слишком много грустишь, – говорит ей соседка. – Это вредно для ребенка. Не распускайся.

Йема молча извиняется перед тем, кто угнездился в ее животе. Она хочет его, конечно, не вопрос, она счастлива, что он есть и уже растет, но ей хотелось бы не выпускать его наружу, вечно держать в себе и защищать. Шепча ему нежные слова, она просит его не покидать ее слишком скоро, уверяет, что готова носить его годы, если он только пожелает.

К ней приходит сотрудница из социальной помощи – обсудить будущее ребенка, «такого особенного», говорит она, ведь ему суждено родиться во Франции. Какая-то женщина переводит ее слова, но, даже переведенные на арабский, они непохожи на язык, который понимала бы Йема.

– Конечно, – шелестит сотрудница, – надо дать этому ребенку все шансы. Сделать так, чтобы он обрел свое место в этой стране и, главное, чтобы французы – простите, – остальные французы, признали его своим.

– Я бы рада, – говорит Йема, – но тогда вам придется научить меня, как сделать так, чтобы он родился с гладкими волосами.

Переводчица делает большие глаза.

– Очень важно, например, – продолжает сотрудница, – дать ему имя, которое отражало бы ваше желание вращаться в здешнюю культуру. Вы уже думали об имени?

– Омар, – говорит Йема, – или Лейла.

Это имена первенцев Джамеля и Хамзы. Тех, что остались там. Йема думает, что, взяв их имена, она вернет их в семью, которую ей больше всего на свете хочется воссоединить.

– А почему бы не Мирей? – спрашивает помощница, сделав вид, будто не слышала. – Или Ги?

– Потому что от солнца не спрячутся за решетом, – отвечает Йема.

На этот раз переводчица фыркает. Вечером, однако, Али признает правоту социальной работницы.

– Ей лучше знать, – говорит он со смирением человека, который уже ничего не понимает.

Ребенка назвали Клодом, и когда Наима позже попытается составить список своих дядей и тетей, ей будет казаться, что она играет в «найди лишнего», как в школьных тетрадках на каникулах: Хамид, Кадер, Далила, Клод, Хасен, Карима, Мохамед, Фатиха, Салим.

Странная тут жизнь для семьи Али и для сотен других жителей «Дома Анны». Приятная – весной и в первый месяц осени, пекло – летом, долгая дрожь – зимой. Жизнь, прячущаяся за соснами.

– Кроме конторы по найму, – комментирует кто-то в архивном видео, снятом десять лет спустя, – я не знаю, кто вообще в курсе, что мы есть на свете.

Они живут в своем кругу, и в конце рабочего дня мужчины выходят из домов поиграть в домино. Вытаскивают стол, приносят стулья, табуретки, самые молодые садятся на ступеньки крыльца. В вечернем воздухе смешиваются запахи смолы и пищи, слышен стук костяшек домино, счет очков, быстрый, как на торгах на бирже, насмешки мужчин над невезучими или неумелыми, гневные возгласы проигравших и лай собак, кружащих вокруг стола в ожидании куска еды, недовольных этими черно-белыми прямоугольниками, которые ничего не чувствуют, но требуют столько внимания.

Иногда кто-то из мужчин сообщает, что пригласил жителей деревни или бригадира и на этот раз они точно придут. Им оставляют свободные стулья, но не ждут их, начинают играть. Все знают, что никто не придет, как будто гости забыли дорогу, которая ведет сюда.

К выборам, однако, про них, кажется, вспомнили. Местные политики фрахтуют автобусы, чтобы они могли проголосовать. Мэры, депутаты, сенаторы приезжают в лагерь пожимать руки и обещать. Если бы обитатели «Дома Анны» могли кормиться обещаниями, у всех были бы такие же лунные лица, как у Али в те баснословные времена.

Во время этих визитов избранники с помощниками благодарят их – всегда одними и теми же словами – за безоговорочную любовь к Франции, и никто им не отвечает, разве что бледными улыбками. Странное дело: чтобы иметь право на существование, им надо выглядеть первостатейными патриотами, влюбленными в триколор и ни в чем не сомневающимися. В этом лагере, однако, есть люди, работавшие раньше на ФНО, те, что несли дозор или собирали налог, некоторые выигрывали для него битвы в горах, есть даже бывший политический комиссар – с удивленной нежностью все зовут его Мао. Но здесь, после бегства, они не решаются об этом сказать, потому что их приняли, объяснив, что только за свою *безоговорочную* любовь к Франции они получили право на жилье и работу. Их присутствие здесь столь зыбко, столь зависимо от чьего-то желания, что им, наверно, кажется, будто их вновь посадят на корабли, если они признаются, что, мол, нет, Франция – это, знаете ли, еще как посмотреть. Они молчат о своем настоящем прошлом со всеми его сложностями, подтверждают кивками упрощенную версию, которая вытесняет непростую, накрывает память, и когда их дети захотят копнуть поглубже, то обнаружат, что все сгнило под покровом безоговорочной любви, а старики, мол, и не помнят совсем ничего.

Иногда Али не может больше выносить ни лагеря, ни леса и идет вдоль департаментального шоссе час или два в поисках чего-нибудь другого. Чаще всего, дойдя до соседнего городка, он просто садится на бортик фонтана и смотрит на прохожих. А то заходит в табачную лавку и покупает пачку «Житан» – в Алжире правительство готовится национализировать «совокупность имущества, прав и обязательств табачных и спичечных мануфактур и предприятий» – или печенье для малышей в бакалее – декрет от 22 мая 1964 года национализирует затем и мукомольное и крупяное производство, фабрики по производству макарон и кускуса. Каждый, даже короткий разговор с продавцом доставляет ему несказанное облегчение: он не невидимка. В лагере ему случается в этом сомневаться. Он часто видит один и тот же сон: кто-то из детей болен, надо срочно везти его в больницу. Али выходит на шоссе и пытается остановить машину. Стоя посреди асфальтовой ленты, он машет руками мчащимся на него машинам, но ни одна не притормаживает. Они проезжают сквозь туман его тела, не

замечая его присутствия. Хамид это знает, потому что слышал среди ночи, как Али шептал свой кошмар Йеме в темноте тесной комнатки, где умещались они все. Что до дальнейшей истории, ее он тоже знает, потому что это одна из немногих рассказанных отцом после отъезда из Жука новым соседям, которые спрашивали о поселении. Она также – следовательно – одна из немногих, которыми он поделился с дочерьми, и Наима будет рассказывать ее в свой черед, хотя никогда не слышала из уст деда и даже не уверена, на самом ли деле он ее пережил.

В начале июля 1963-го Али входит в бар и садится у стойки. Он зашел сюда впервые, заведение довольно грязное, даже свет кажется серым, но этот темный налет нравится Али после слепящего солнца, которое припекало ему голову всю дорогу.

– Одно пиво, – говорит он патрону.

Вернее, думает, что говорит так, но в ушах патрона это звучит как «уднупиво», и это его раздражает. Ему не нравится, когда коверкают слова, это режет слух, ранит барабанные перепонки. Он нервно пожимает плечами и ничего не отвечает. Когда Али будет рассказывать эту историю, он скажет, что патрон решил его не обслуживать, как только увидел в дверях, но, возможно, все не так просто. Хозяин кафе борется с охватившим его гневом. Он и сам хотел бы с ним совладать или даже не испытывать его вовсе.

– Одно пиво, – повторяет Али, не повышая голоса.

Его печальные глаза окончательно выводят хозяина из себя. Глаза жертвы, вынуждающие его стать палачом, еще прежде чем он сделал что бы то ни было, лишают свободы действий. Глаза, в которых как будто сосредоточилась вся боль мира.

И эти чертовы медали у него на груди. Он не верит своим глазам: этот тип надел весь иконостас ветерана. Это его защита от французов, оправдательная записка матери-республики.

– Я не обслуживаю черножопых.

Фраза сказалась сквозь зубы сама собой. До последней секунды он не знал, что ее произнесет. Но теперь она вылетела, назад не вернешь. И он, наоборот, упрямится, повторяет ее громче.

– Ты понял? Я не обслуживаю черножопых.

В деревне Али ударил бы обидчика, и никто бы его не осудил. Здесь же он чувствует, как его два метра съезживаются на табурете,

сила куда-то уходит, кровь превращается в воду, а ноги, как нейлоновые колготки на бельевой веревке, лишь отдаленно напоминают ноги, бесполезные и смешные.

– Хорошо, – бормочет он, – не надо пива, я просто посижу немного.

– У тебя не все дома или как? На выход! Уходи сейчас же.

– Нет, нет, – так же тихо отвечает Али. – Я не уйду.

– Яниуду, яниуду! – орет хозяин за стойкой, и лицо его становится кирпично-красным. – Ты думаешь, ты где? Думаешь, у себя дома? Грязный бундюль! Я вызываю полицию.

Делая несколько шагов, отделяющих его от телефона, он молится про себя, чтобы Али был благоразумен и ушел или, по крайней мере, подался к выходу. Надо, но как не хочется снимать трубку. Надо, но как не хочется оправдывать свою ярость перед кем-то еще. Ему и себя-то убедить трудно, что он прав.

Но Али не сдвинулся с места. Сгорбив большое черножопое тело на табурете, он не касается стойки, убрал руки подальше. Он не хочет ни давать отпор, ни вести себя вызывающе. Просто хочет, чтобы его не выставили за дверь. Он убежден, что это его право. Али ждет муниципального полицейского, замкнувшись в молчании, как он надеется, достойном, и хозяин по ту сторону стойки тоже молчит. Никто сегодня не вспомнит точно, как выглядел полицейский, толкнувший дверь бара, по версии Али. Для Хамида он был чем-то вроде сержанта Гарсия из «Зорро», при усах и портупее, Наима же описывает его скорее как жандарма былых времен, закрытого щитом, как панцирем.

Когда ему объясняют ситуацию, полицейский шмыгает носом и чешет переносицу. Потом он встает перед Али, по-прежнему неподвижно сидящим на табурете. Али пытается улыбнуться, чтобы продемонстрировать доброжелательность, но полицейский не замечает улыбки, он опустил глаза. Избегает взгляда Али? Стыдится? Готовится ударить? Али уже жалеет, что остался. И тут полицейский поднимает голову и говорит:

– У него семь кило железа на груди. А ты не нальешь ему выпить?

Хозяин бара краснеет, но упорствует в своей неприязни. Слишком поздно идти на попятный. Люди, которых считают мерзавцами,

зачастую просто рохли, не смеющие попросить переиграть все с начала.

– Кто докажет, что это его медали?

Полицейский пожимает плечами. Аргумент так слаб, что даже не заслуживает ответа.

– Откуда это? – спрашивает он, показывая на одну из наград.

– Монте-Кассино, – почти шепотом отвечает Али.

Он не произносил этого слова почти двадцать лет. Думал, что никогда больше его не произнесет. И вдруг полицейский со всей силы бьет кулаком по стойке.

– Сейчас же! – кричит он патрону, и тот невольно вздрагивает. – Налей нам два пива! – потом, повернувшись к Али, добавляет: – Я тоже там был.

И не успел горец и пальцем шевельнуть, как полицейский падает в его объятия.

– Монте-Кассино, черт побери...

Ненадолго кафе-бар в Жуке становится для Али дружелюбным и приветливым местом, он чувствует себя как в Ассоциации, под защитой общих воспоминаний. Они с полицейским пьют пиво и улыбаются, растроганные едва ли не до слез. Но когда они покидают бар, Али встречает ненавидящие глаза патрона и понимает, что никогда больше сюда не придет. Последним взглядом он прощается с высокими табуретами, со стойкой, пахнувшей металлом и жиром, с афишами Тур-де-Франс на стенах и с воспоминаниями о Монте-Кассино.

Монте-Кассино

Наима несколько раз повторила: «Мой дед был в Монте-Кассино», в ее голосе ровно столько испуга, сколько нужно, хотя она и не уверена, что выразилась как надо. Возможно, вернее будет сказать, что его послали в Монте-Кассино, как говорят запросто – «его послали». Название для нее означает одновременно определенное место, пять месяцев 1944 года и воспоминания, которые ее дед хранил всю жизнь в глубинах памяти, – этот труп был так хорошо завален камнями, что не мог выплыть на поверхность.

Монте-Кассино. Холм высотой пятьсот метров над дорогой, ведущей из Рима в Неаполь, в области Лаций – той самой, куда прибыл Эней после долгих странствий, – на вершине которого в шестом веке Бенедикт Нурсийский основал аббатство.

Монте-Кассино. Замок «линии Густава», который союзникам нужно взломать, чтобы продолжать продвижение по Италии. Наима посмотрела несколько документальных фильмов, стараясь понять, какие движения войск составили эту битву (на самом деле это четыре битвы, одна за другой). Это ей не удалось.

Монте-Кассино. Бомбы, сброшенные сотнями бомбардировщиков, сыплются дождем, а внизу строения аббатства, уже не раз разрушенные за долгие прошедшие столетия, снова умирают и тоже рассыпаются – пылью и обломками.

Монте-Кассино, негостеприимные стены, отвесные скалы, на которых истребили всю растительность, чтобы лучше видеть, и которые не служат ни щитом, ни укрытием.

Монте-Кассино, или битва палочников, тоненьких существ, повисших на скалах и изо всех сил старающихся стать невидимыми. Восхождение начато, солдаты не могут двигаться, не могут ни попить, ни поесть горячего, потому что малейшая струйка дыма выдает их присутствие засевающим на горе немцам. Автоматы и град минометного огня.

Монте-Кассино, река, через которую союзники пытались навести мосты, далеко внизу. Часто воды ее красны.

Монте-Кассино. Стоны на шести или семи разных языках. Но все об одном и том же: мне страшно, мне страшно. Я не хочу умирать.

Во всех четырех сражениях под Монте-Кассино на передовую посылали солдат из колоний: марокканцев, тунисцев и алжирцев с французской стороны, индийцев и новозеландцев – с английской. Это они дали нужное количество убитых и раненых, позволившее союзникам потерять пятьдесят тысяч человек в горном массиве.

Я думаю, что в начале фильма «Туземцы» [\[49\]](#) показана битва под Монте-Кассино. Там виден трудный штурм горы. Но поскольку это начало фильма и нельзя пожертвовать персонажами, к которым зритель едва успел привязаться, – то в этой действительно кровавой битве не погибает, как ни странно, никто из героев. Для меня Монте-

Кассино скорее похоже на «Тонкую красную линию» Терренса Малика. Это долгая и нудная бойня в таком месте, которое никакой топографией описать невозможно.

Среди солдат из Северной Африки, повисших на склоне горы, был Али, но были и Бен Белла и Будиаф, соответственно первый и четвертый лидеры будущего независимого Алжира. Встретиться им не судьба. А случись такая оказия – кто знает, может быть, эта история была бы совсем другой.



Когда температура резко падает, Йема из кожи вон лезет в поисках дополнительных ковров и раскатывает слой за слоем на полу домика, чтобы не чувствовалось исходившей от цемента сырости. Али прибывает к стенам часть одеял. В этой шерстяной пещере матрасы разложены вокруг печки, и детям хорошо. Хамид уже узнает в пузырях комиксов буквы А и Х – первые буквы его имени, – то есть может расшифровать крики боли и смех героев.

АААААААХ!

Ха-ха-ха!

В других пузырях слишком много слов и знаков препинания, ему это неинтересно. Он продолжает сочинять историю и рассказывает ее Далиле, Кадеру и Клоду, а тот уже лепечет, лежа рядом на подушке, новый член их клана, то подопытная свинка, то повинность, то пупс.

– «Оливковые деревья мои, – сказал злой капрал, придя в джунгли Тарзана. – И все твои обезьяны передо мной – ничто, потому что у меня есть самолеты и бомбы». Но капрал не знал, что у Тарзана есть тайный план...

До наступления ночи дети уходят на холмы за дровами и, невзирая на родительские наставления, собирают хворост, невольно исходя из представлений о прекрасном. Они берут только самые красивые ветки, затейливой формы, вилками, трезубцами или с конусами на концах, как у рождественской елки. Их одежда перепачкана потеками смолы, от них стойкий запах, и эти дети, пропахшие лесом, с листьями в волосах и охапками веток в руках, кажутся маленькими эльфами. Когда «Дом Анны» накрывает темнота, ветки и иголки потрескивают в печке, за которой всегда внимательно приглядывают Али, Йема или Мессауд, так что любое общение в бунгало то и дело прерывается: необходимо поддерживать огонь, который так и норовит угаснуть, снова и снова, и взрослые без конца оживляют его, тревожно или властно вороша кочергой в недрах печки.

Хамид впервые празднует свой день рождения – тот, что соответствует официальной французской дате, – в подготовительном

классе лагеря – учитель уверяет его, что так делают французы. Дежурное разучивание песенок занимает их надолго, потом учитель открывает пакет с печеньем.

В тот же вечер к поздравлениям присоединяется Шерин, дочка их соседей, она бросается мальчику на шею, как будто ныряет, и целует его в уголок рта – потому что ей сказали, что так делают французы, или потому, что так делают дети, наощупь открывая для себя, что одно тело тянет к другому. Мысленно извинившись перед Анни, на которой он по-прежнему намерен жениться (есть в нем это молчаливое упорство, которого Наима не унаследовала *от слова совсем*), Хамид оценил мимолетное и быстрое прикосновение губ Шерин к его губам. Девочка убежала – а он, закрыв глаза, стоит и улыбается еще долго. Он улавливает бродящие во всем теле ощущения от поцелуя и уверен, что отныне клеймен этим жестом любви, как каленым железом.

Когда Наима просит своих родных рассказать про лагерь в Жуке, где они жили почти два года, каждый рассказывает о своем. Хамид, ее отец, говорит об унижении оттого, что они снова оказались за колючей проволокой. Кадер помнит пещеру, где он играл, «Дом Анны» как будто весь умещался в этой пещере. Йема ругает социальную работницу. Далила утверждает, извиняясь, что это был рай: да-да, простите, для детей это был рай – деревья, свет, река.

А Али уже не может ничего сказать. Его не стало за годы до того, как Наима начала задавать вопросы.

– Рай?

– Я бы там осталась. Когда мы приехали сюда, я плакала, так плакала, не могла остановиться.

И взмахом руки Далила показывает на тесную кухню многоквартирного дома и жалкую детскую площадку напротив окна.



Они тщательно пакуют вещи. На этот раз время есть. Это не поспешное бегство из Алжира, когда взять пришлось только то, что смогли унести (немного банкнот, три серебряных браслета, украшенных эмалью и кораллами, часы, одежду и обувь, медали, завернутые в тюрбан, ключи от старого глинобитного дома и от сарая, где стоят машины, фотографию Али в форме – единственную какая оставалась, снятую в 1944 году, – молитвенный коврик). Это и не отъезд из Ривезальта, когда сборы были до смешного просты и коротки – ведь не было никаких новых вещей. Нет, на этот раз массу всяких мелочей нужно завернуть в газету, сложить, уложить стопками: тарелки, чайный сервиз, комиксы Хамида, новую куртку Али, гербарий, собранный Далилой, плетеную колыбельку Клода. Теперь-то они положат в багажный отсек автобуса целый чемодан и поедут в настоящий дом, самый настоящий, который ждет их, только пока неизвестно где.

– Куда? – спросили они, когда директор поселения сообщил им новость.

– Флер.

Директор записал название на бумажке – Flers. Кто-то узнал последнюю букву: такую же, как в конце слова «Парижа» – Paris. Почему-то их это успокоило. Им кажется, что они едут в маленький Париж, а «s» для них залог изысканности и передового образа жизни. Хамид, правда, в этой теории сомневается – изучая комиксы, он начал понимать, что буквы не всегда несут в себе один и тот же смысл. Они повторяются случайным образом, непонятно, абсурдно, – он толком не знает как, – и то, что зрительно похоже, может означать прямо противоположные вещи. «S» ничего не гарантирует, как и «a», «h» и «z»: французские буквы – талисманы только для неграмотных.

В заднее окно автобуса они с Йемой машут руками Мессауду – он стоит на обочине дороги, неподвижный и прямой, как деревья, с которыми в конце концов и сливается.

Город построил для харки несколько кварталов многоквартирных домов на окраине, там, где раскинется через несколько лет местная гордость: самый большой во Франции гипермаркет «Леклерк». Но пока здесь только эти бело-серые дома, все одинаковые. Это пейзаж, начерченный по линейке, большими рассчитанными штрихами: углы домов, линии между плитами потолка, полосы линолеума на полу, штрихи холодных под рукой перил, пересекающие лестничную клетку. Это система бесконечных параллелей и перпендикуляров, повторяющихся в каждом доме во всех масштабах. Дети, прижимаясь носами к стенам, видят детали крупным планом – но и здесь лишь прямые линии, так же выглядит и квартал, открывающийся с пригорка за домами. Ни отдыха, ни передышки глазу в этом мире прямых углов, разве что оборудованная среди домов детская площадка, образующая на земле удивительно мягкий овал. Горки и турники на ней установлены неаккуратно и раскачиваются под весом детей, берущих их штурмом.

Когда автобус высаживает несколько семей из «Дома Анны» в их новом квартале, идет дождь. Кругом еще грязь от стройки. Это облачное небо, как очень скоро поймет Хамид, позволяет видеть все, вот в чем проблема. Глаза не щурятся на сияющее солнце, мощные потоки света не размывают окружающих деталей. Кабилия и Прованс были чередой силуэтов деревьев, гор и домов, наполовину съеденных светом. Одни цветные пятна плясали между веками, которые трудно было держать открытыми. А Уэд, стекавший с гор от деревни к Палестро, вспыхивал слепящими бликами, как будто по всему склону контрабандисты рассыпали осколки зеркал, чтобы посылать друг другу сигналы. Обычно думают, что на свету можно рассмотреть до мелочей каждую деталь. На самом же деле яркий свет скрывает так же хорошо, как тень, если не лучше. Но небо Нормандии не скрывает ничего. Оно нейтрально. Под ним существует каждый дом, каждый тротуар, каждый человек, идущий от автобуса к своей будущей квартире, каждая лужица грязи, уже растекающаяся на ступеньках и внутри домов, потому что половинок нигде нет. Небо низкое, и в то же время оно далекое. Оно не смешивается с пейзажем. Оно просто здесь, на заднем плане, как абстрактные полотна, перед которыми ставят

детей, когда в школу приезжает фотограф. Небо будто смотрит в сторону.

Перед строением В семья остановилась: никто не решается потянуть тяжелую дверь. Малыши трогают пальцами стекло, оставляя на нем жирные кружки. Йема затаила дыхание, ее разочаровала серость, ее пугают углы, смущает тамбур в подъезде, закрывающийся на две двери. Али с вымученной улыбкой говорит, подталкивая в спину Хамида:

– Нам будет хорошо здесь. Мы заживем как французы. Больше не будет разницы между ними и нами. Вот увидите.

При виде ванны дети визжат от радости. Им надо немедленно перелезть через эмалированный край, скатиться внутрь и затеять возню – Хамид, Кадер, Далила, руки-ноги вперемешку. Потом они умоляют Йему открыть кран, быстро раздеваются, стучаясь локтями и коленками о белые холодные стенки и блестящий латунью кран, и молча, почти с благоговением смотрят, как их покрывает поднимающаяся в ванне горячая вода.

Трое детей сидят неподвижно, не дыша, в этом миниатюрном приливе под надзором матери.

– Я хочу жить в ванне, – шепчет Кадер.

Распаковывая чемоданы в новой квартире, Йема впервые позволяет себе вспомнить все вещи, которые оставила дома: *табзимт*, полученный на рождение первого сына, свадебный *хальхаль*, платья и туники... Слезы наворачиваются при виде пустых полок, когда разложено там и сям содержимое чемоданов.

В следующие после приезда дни она то и дело переставляет немногие вещи из Алжира, которые удалось привезти с собой. То они на столе, то в шкафу, то стоят в ряд у кровати. Она не находит места для этой малости. Все это не подходит к новой квартире, стало чужим, стало странным. То, что там, в деревне, было любимой и привычной вещицей, здесь диковинка. Пластиковая мебель, обои, бледно-желтый линолеум – все это обрамление изолирует алжирские вещи и отторгает их, наподобие музейной витрины. Как индийские и африканские артефакты в музее на набережной Бранли [\[50\]](#), выставленные под стеклом с коротким пояснительным текстом, который должен приблизить вас к вещице, но, наоборот, удаляет от нее, описывая ее как

нечто причудливое, то, что вам надо – вот именно – *объяснить*. И подобно этим простым вещам, которыми пользовались целую жизнь (ложки, ножи, вышитые пеленки), ставшим теперь экспонатами, немногие сокровища Йемы никогда не сольются с квартирой в стандартной многоэтажке, они как будто изобличают ее углы и ее холодность, или, наоборот, квартира подчеркивает их дешевизну и архаичность. Эти вещи, которые Али и его жена выбрали из тысячи других, потому что не пережили бы, попади они в руки ФНО или пришедших следом всевозможных грабителей, потому что они были их вещами больше, чем все остальное, потому что они сами были ими, – эти вещи, которые Али и Йема собирались лелеять до конца своих дней как амулеты, сосредоточившие в себе Алжир и их прошлую жизнь, они мало-помалу забывают, убирают в дальний ящик, смущаясь, раздражаясь, и теперь только дети достают их, любят, играют с ними, как будто это детали разбившегося у них дома космического корабля, носителя абсолютно чужой цивилизации.

При всем своем желании Али и Йема не живут в квартире, они ее занимают.

Торговые представители не ошибаются, ставя на эту новую клиентуру чуть ли не назавтра после их приезда. Им можно продать все что угодно: они ничего не знают. Даже лучше: они боятся не знать. Боятся незнакомой мебели. Боятся оказаться изгоями общества, плохо обставив свои квартиры.

– Родители хотели, чтобы мне не было стыдно за наш дом, если маленькие французы придут ко мне поиграть после школы, – рассказывал Хамид позже. – Поэтому они купили ту ужасную гостиную. И синтетические покрывала. И картины. Они кое-чего не понимали. Во-первых, что маленькие французы никогда не придут к нам играть. Большинству из них было запрещено ходить в «зону». Я сам ходил к ним играть, когда приглашали, это было везение. Потом, прикиньте, восемь человек плюс мебель в жилище такого размера, места для игр все равно не было. И в-третьих, мне было стыдно, несмотря на все их усилия. Как раз за эти усилия, думаю, и стыдно-то.

Квартиры обставлены, а торговые представители по-прежнему идут косяками: вот страховые агенты (здесь квартиру принято страховать, как, впрочем, и жизнь), а вот и продавцы автомобилей (у

всех французов есть машины), электробытовой техники (такой пол не подметают, вам нужен пылесос), и туроператоры (Марокко – это почти Алжир, поездка пойдет вам на пользу) и многие другие, опутывающие их улыбками, брошюрами, посулами и кредитами.

Днем, когда Али на работе, а Хамид в школе, приходят другие представители, чаще всего женщины, знающие, что мужа нет дома. Большинство из них алжирки, «городские» – для Йемы это значит, что они ходят без покрывала и красятся, а то и курят. Они носят в саквояжах полосатые ткани и посеребренные украшения, какие были в деревне. Йема рассказывает им обо всем, что оставила дома. Женщины сочувственно кивают и предполагают, что, может быть, ее хоть отчасти «исцелят» новые красивые вещи. Поначалу она вежливо отказывается: не хочет тратить деньги Али без его ведома. Но как-то раз одна из женщин приходит снова и говорит ей:

– Я знаю, что вы не кокетка. Но когда я получила это, сразу подумала о вас. Это особенные украшения. Они из Мекки.

Тут Йема идет в спальню и достает несколько банкнот из тумбочки. Потому что как-никак Мекка – это не пустяки. Она отдала этой женщине половину зарплаты мужа за дешевое медное украшение, покрытое тонким слоем серебра, который вскоре облупится, оставляя на запястьях черные и зеленые следы.



Учебник французского, лежащий перед Хамидом, предназначен для самых маленьких, и поэтому в нем много картинок – тарачат большие глаза щенки, котята играют с клубками, большие цветы тянутся к солнцу, а добрые мамы пекут пироги для розовощеких детишек. Учитель принес ему из библиотеки этот учебник для подготовительного класса.

Хамид пытается преодолеть стыд (ему одиннадцать лет, он любит рыцарей, супергероев, дуэли на шпагах и схватки – голыми руками против львов. Он не верит в кругленький и розовый мир книжек для малышей) и схватиться с французским языком врукопашную. То, что он называет «французским» и представляет себе как сверкающий трофей, манящий его с крутой горы или со дна кишачего акулами моря, – это на самом деле письмо, алфавит. Хамид никогда не делил родной язык на слова и тем более на знаки – это единая и неделимая субстанция, сотканная из смешанного бормотания нескольких поколений. Так что все эти кружки и палочки, точки и завитки на странице кажутся ему наступающей армией, готовой захватить его мозг и пронзить крестиком *t*, хвостиком *p* мягкое вещество под черепной коробкой. И все же, несмотря на страх, на стыд, на головную боль, есть и магия в медленном обучении Хамида. Первые фразы, которые ему удастся расшифровать, те, что произносятся медленно и каждый слог в них весом, а красота звука раздвигает губы, как физический предмет, слишком большой, чтобы выскочить изо рта целиком, – эти фразы он запомнит на всю жизнь.

Тата тонет в тине.

Папа пишет письмо.

Зеркальное отражение: сорок с лишним лет спустя Наима поставит тот же опыт с учебником арабского и, задушив свою гордость, которая вопит, что ей все-таки уже двадцать пять, будет медленно повторять:

Ямши аль ражуль. Человек идет.

Ятир аль усфур. Птица летит.

Жак кар аль китаб. Жак читает книгу.

Взрослая женщина с трудом произносит нараспев слова языка, которому ее не научил отец.

В классе Хамид сидит на задней парте вместе с еще двумя мальчишками из Пон-Ферона: туда учитель может подойти поговорить, не мешая другим. Он видит затылки своих товарищей, ровную линию подстриженных волос, параллельную воротничку рубашки. В солнечные дни отмечает, что ушные хрящи просвечивают. Насчет Хамида у педагогов в школе вышел спор: в какой класс его поместить – по его уровню знаний или по возрасту? Дискуссия могла получиться жаркой, выйти на обсуждение проблем образования в широком и благородном смысле, затронуть тему политики, возможно, столкнуть лбами директора и учителя, но этого не случилось. Хамид просто не уместился за крошечной партой начальной школы, поэтому его допустили ко второму году обучения среднего курса.

Ни он, ни два других мальчика из «зоны» не могут читать учебник, так что учитель пробирается к ним, сперва дав задание остальным, и терпеливо объясняет материал. Часто к ним с первых рядов со смехом оборачиваются, и для троицы отстающих эта помощь, в которой они нуждаются, оборачивается унижением. Поэтому вечерами, когда для всех уроки окончены, и даже забыты до завтра, Хамид не расстаётся с детской книгой, силясь раскрыть тайны алфавита. Иногда, в мечтах, он уже умеет читать и писать. Ему снится, как он удивляет одноклассников, прочитав без запинки стихотворение Жака Превера или рассказав биографию какой-то там Жанны д'Арк. Назавтра, убедившись, что чуда не произошло и каждое слово по-прежнему подставляет ему подножку, он особенно остро ощущает бушующий внутри гнев.

Хамид еще не знает, что ему повезло, он поймет это позже. Он из числа последних семей, приехавших в Пон-Ферон, а школа рядом с «зоной» была уже полна детей репатриантов, прибывших с первыми автобусами. Там, как и в Жуке, учителя махнули рукой на маленьких неучей, которых даже не могли понять. Но здесь, в этой школе в центре города, слишком много «настоящих» французов – а значит, столько же ожидающих и даже требовательных родителей, – чтобы учитель отказался от своей прямой задачи. А раз детей из Пон-Ферона

всего трое, они его не пугают. Он даже считает, что они молодцы: все трое очень стараются. Когда звенит звонок, он смотрит, как они, сунув подмышки учебники, уходят к блочным домам, которых ему не видно, и часто думает, что на их месте завтра бы в школу не вернулся.

В конце апреля, к празднику 1 Мая, учитель попросил учеников сходить с одним из родителей на работу в следующий четверг [\[51\]](#) и написать сочинение о труде. На перемене все только и говорят об этом необычном задании. Вопросы взлетают на школьном дворе, как мяч, который перебрасывают из рук в руки: а твой отец где работает? А твой? (Матери работают редко, а если и так, никому не кажется интересным, чем они занимаются.)

– А твой?

– Он работает на заводе, – говорит Хамид.

– На каком?

– В Мессе.

– Да, но что он делает? Что производит?

– Ничего он не производит. Он работает на заводе.

Хамид не понимает, чего от него хотят. Его отец работает на заводе, как и почти все соседи, и завод в их разговорах существует, кажется, только один. Это Завод. Тот, благодаря которому их привезли сюда. Хамид никогда не думал, что он вообще что-то производит – ведь отец никогда ничего не приносил домой. В его сознании Завод производит только дым, травмы, судороги и неприятный запах, и сколько бы отец ни мылся – им пропахла из-за него вся квартира.

В официальных документах у него есть имя, «Люшер», дата рождения, 1936-й, и он описан как «предприятие компании Люшер по обработке металлов, специализирующееся на производстве листового металла для автомобильной промышленности, метрополитена, авиации и атомной промышленности». Там совершаются «операции по сборке, монтажу и обработке поверхностей». На самом деле это огромное здание, поглощающее тысячи тонн железа в год и переваривающее их благодаря гигантским прессам, печам с пламенеющими жерлами и сотням сварщиков в масках космических пришельцев. На заводе работает около двух тысяч рабочих, большая их часть – неквалифицированная масса – из Пон-Ферона и окрестных подобных же поселков.

– Так я могу пойти с тобой в четверг?

– Нет, – отвечает Али.

Он не хочет, чтобы сын видел его на работе, в самом низу социальной лестницы, жалким ничтожеством. Иногда он даже жалеет о жгучих нитях гусениц-шелкопрядов на соснах. По крайней мере, он был на свежем воздухе и мог гордиться своей силой...

– Это для *школы, баба́*.

Хамид подчеркивает слово, которое в семье – он это знает – стало чем-то вроде «сезам, откройся». Школа принесет им всем, через годы, кажущиеся малышам бесконечными, лучшую жизнь, завидный социальный статус и квартиру в городе. Школа заменила оливковые деревья, когда-то все им обещавшие. Школа – статическое продолжение их путешествия, она поднимет их над нищетой. Как мальчик и ожидал, под действием этого волшебного слова Али уступает.

Проснувшись чуть свет, Хамид садится в автобус, который отвезет их в Мессе, в руке у него блокнот, а за ухом – тщательно заточенный карандаш. Свою роль репортера он принимает очень всерьез. В пещере металлов он узнает многих соседей, в частности толстяка Ахмеда. Это любимец ребятни с замашками вышедшей в тираж кинозвезды. Его мускулистые, увядшие руки старого актера на роли телохранителей торчат из закатанных до плеч рукавов темно-зеленого комбинезона... Лицо у Ахмеда такое, что его не забудешь. Будь он известен, его узнавали бы повсюду. Говорили бы: ну как же... этот нос, эта челюсть, эти брови, да это же парень из... Лихорадочно вспоминали бы название фильма, где он играет неграмотного буку-телохранителя, проникшегося дружбой к блестящему политику, которого его наняли охранять, или старого ковбоя, чья жена умерла много лет назад, но он все еще хранит в своем деревянном домишке ее фотографию и просит гостей воздерживаться от замечаний. Между собой мальчишки из Пон-Ферона зовут его Джон Вино – этот алкоголик еще и безвестный двойник знаменитого американского актера.

– Ну, так что же вы делаете? – спрашивает Хамид, встав за его спиной.

Ахмед отвечает с обезоруживающей улыбкой:

– Я жгусь. Он режется. А тот, вон там, ломает спину.

Хамид делает вид, будто записывает. Он пишет «я», «он», а другие слова, слишком сложные, заменяет рядами палочек и абстрактных символов.

Он впечатлен: как кропотлив этот совместный танец людей и машин, как точны движения рабочих, всегда направляющих детали именно туда, где машины уже их ждут. Экономия жестов (раз-два-три! раз-два-три!) кажется ему наукой, которой они могут гордиться. Но время идет, и ему становится скучно. Строгое распределение обязанностей кажется ему бесполезным и тяготит. Он не понимает, почему рабочие не имеют права перемещаться по цеху, заняться другим делом, если хочется, своими руками провести деталь по разным операциям, которых она требует. После нескольких часов в цеху от шума и жары голова его как будто набита ватой. Трудно думать, хлопанье прессов и гудение станков ввинчиваются в череп, разбивая или разбрызгивая не успевшие сказаться фразы.

В обеденный перерыв он клюет из миски отца и обнаруживает, что тот выказывает коллегам и начальству почтение, дома ему совсем не свойственное. Он обращается «брат» и «дядя» к арабам, а к французам «месье». Хамиду не по себе перед этой облегченной версией Али. Так и хочется сказать ему: это не твои братья и не твои дядья, а те – они такие же «месье», как и ты. Позже, когда вырастет, он усложнит этот первый месседж, который – как бы то ни было – так никогда и не решился высказать отцу: зачем ты унижаешься? На вежливость отвечают вежливостью. На дружбу – дружбой. Не улыбаются и не кланяются тем, кто даже не говорит «здравствуйте».

Хамид уходит с завода с глухой и тошнотворной головной болью, которая мешает ему говорить. В конце автобуса, уместившись на сиденье с четырьмя рабочими, он пытается уснуть, прижавшись лбом к стеклу. Закрывает глаза, но сон не приходит: шумы завода снова и снова крутятся в голове, отгоняя сновидения. Толстяк Ахмед улыбается ему:

– Видишь ли, сынок, беда с этой работенкой в том, что, когда выйдешь, разве что дотащишься до бистро на углу, больше ни на что нету сил.

– Цыц, – перебивает его сосед.

– Тебе не стыдно? – спрашивает Али. – Он же еще мальчишка.

Ахмед бурчит сквозь зубы, что сам это знает. Можно подумать, он предложил мальцу стакан. Он просто хотел ему объяснить, почему люди вроде него пьют – их вины в этом нет, это работа, слишком тяжелая и слишком тупая, делает их ослами и свиньями.

– Ты не можешь найти другую работу? – регулярно спрашивает Хамид отца после того как побывал на заводе.

– Ты размечтался или хочешь, чтобы я размечтался? – отвечает Али.

У него это ритуальный вопрос, и он отнюдь не ласков. «Ты размечтался?» – уже замечание. Но: «Ты хочешь, чтобы я размечтался?» – еще хуже. Как если бы он спросил: «Ты хочешь, чтобы я сам себя высек?», «Ты хочешь, чтобы я сделал себе больно?» Детям ничего не остается, как извиниться.

– Я, наверно, не захочу работать, когда вырасту, – делится Хамид с матерью за обедом.

– Тогда тебе надо было родиться в другой семье. Здесь у нас выбора нет.



Когда приходят письма, их теперь читает и переводит родителям Хамид. Он еще спотыкается на слишком длинных словах, но дело идет все легче. Он горд: «Внемлите, внемлите: глашатай благовую вам вестъ сообщит».

В середине мая он находит в конверте, адресованном отцу, приглашение на школьный праздник окончания учебного года. Все родители приглашены, и в письме добавляется с умеренным энтузиазмом, что вечером будет спектакль и продажа пирожных. Хамид представил себе, как потерянно будут выглядеть Али и Йема среди родителей Этьена, Максима, Ги, Филиппа, лакомящихся миндальным печеньем из картонных тарелочек и обсуждающих неизбежное переизбрание де Голля... (В тот единственный раз, когда Хамид пойдет в театр, его разберет смех при виде аристократов в льняных белых костюмах в «Вишневом саде» – он сразу поймет: видение Чехова – или режиссера – вызывает у него до странности такое же кошмарное чувство, что и провинциальная буржуазия его детства.) Ему не хочется, чтобы они приходили на школьный праздник, они не умеют себя держать, будут громко говорить или вообще молчать. Им не понравится, они не поймут. Да они и сами не захотят прийти, думает он, заробуют. Но чтобы уж не сомневаться, что они не придут, он отвечает, когда Али спрашивает его, что в письме:

– Это из школы сообщают, что покупают новую доску.

Его сердце так быстро и сильно колотится в груди, как будто в ней пусто, и мышца отскакивает от ребер размашистыми и беспорядочными движениями.

– Хорошо, хорошо, – говорит Али, не слыша грохота сердца сына.

Он выходит из комнаты мальчика – пусть тот спокойно занимается, сутулясь на кровати. Хамид смотрит вслед отцу, он растерян, ему стыдно. Слишком легко оказалось ему солгать. Две фразы, вылетевшие одновременно, накладываются друг на друга в его голове:

«Его кто угодно может провести».

«Он ничего не знает».

Ему даже хочется побежать за отцом и признаться, что солгал. Но что это изменит? Али все равно не сможет сам прочесть письмо. Он – и Хамид спрашивает себя, знает ли он это, сознает ли? – зависит от своего сына. Жалость в душе Хамида борется с брезгливостью, с презрением, и он понимает острее, чем будет понимать потом, в будущем, что слишком быстро растет. Он рвет письмо на мелкие кусочки, по ним уже нельзя ничего прочесть.

Али садится на диван, не подозревая о буре, бушующей в груди сына, и слушает по радио новости и песни на языке, который плохо понимает. Иной раз, когда никого нет в комнате, он, посмеиваясь, передразнивает интонации диктора, они кажутся ему слишком женственными и фальшивыми.

Не сказать, чтобы он был счастлив, но, по крайней мере, он чувствует здесь нечто, забытое с лета 1962-го: ощущение стабильности, возможность думать о завтрашнем дне. Восстановлен порядок, и, надо полагать, надолго, а что он оказался в самом низу социальной лестницы – так тут ничего не поделаешь: зато у его детей может быть будущее. Чтобы не нарушать обновленное устройство жизни, он забывает о себе. Это непросто и мучительно, иногда гордость и гнев вновь дают о себе знать. Но он все чаще просто делает одно и то же, что положено, и все меньше разговаривает. Он умещается в крошечном пространстве, которое теперь ему отведено.

В июне 65-го во французских голосах на радио, тех, что кажутся Али пародирующими самих себя, начинают звучать знакомые ему нотки. Из новостей, частично переведенных Хамидом, он узнает о перевороте Хуари Бумедьена [\[52\]](#) в Алжире. На разных этажах дома распахиваются двери, и мужчины окликают друг друга: «Эй, ты тоже слышал?» Те, у кого нет радио, выходят на лестничную клетку и кричат: что происходит, расскажите нам! В гостиной Али – импровизированная *джемаа*, как когда-то в деревне или в Ассоциации, собрание мужчин, которые, прильнув ухом к приемнику и едва понимая, что там говорится, обсуждают новости и ожесточенно спорят о политике. Больше нет иерархии деревни, чтобы установить, в какой очередности держать речи, и голоса сталкиваются и насакакивают друг на друга. Когда кому-то нечего сказать, он чешет пробивающуюся

щетину коротко остриженными квадратными ногтями, и Хамид, сунув нос в гостиную, недоумекает, почему кожа этих мужчин производит такой неприятный звук.

При всем хаосе Али и его соседи согласны в одном: выдержать такую войну и не прийти ни к стабильности, ни к демократии – чудовищная глупость. В следующие дни они встречаются за домами или друг у друга и снова сходятся во мнении, громко сетуя на эту глупость. Однако и радуются невольно: случай сказать, что во Франции им лучше, выпадает редко. Эта фраза звучит сейчас то и дело – «Здесь нам все-таки лучше», – но подспудно страна, которую они утратили, неотступно живет в них, и даже думая, что забывают ее, они снова и снова вспоминают о ней с затаенной печалью.

Радио сообщает им далеко не все, что происходит в Алжире во время переворота. Оно не говорит, например, что Франция воспользовалась сменой руководства, чтобы заключить с новым правительством соглашение об освобождении пленных военнослужащих местных формирований. По данным Красного Креста, их около тринадцати с половиной тысяч – Наима читала тогдашний отчет, но гуманитарной делегации, не получившей возможности посетить большинство мест заключения, пришлось назвать число навскидку. Когда тюрьмы откроют, эти люди покинут территорию Алжира и тоже будут репатрированы в страну, которой не знают. Соглашение, все так же секретно, запрещает возвращение в Алжир бывших военнослужащих местных формирований. Радио ничего об этом не говорит, молчит оно и о репрессиях, которым сторонники Бумедьена подвергли сторонников Бен Беллы.

Этим летом Али впервые принимает телефонные звонки с той стороны моря, узнает первые новости с гор, которые все еще там, хотя он с семьей уже здесь. Да ведь этого он и хотел – чтобы оставшаяся позади страна исчезла; и Наиме его чувство станет понятным через сорок лет, когда, встретив того, с кем прожила вместе так недолго, она осознает, что и сама хотела бы, чтобы он, покинув ее объятия, растаял дымом, а не жил совсем недалеко от нее параллельной жизнью, о которой она знать не знает. Ни Али, ни она ничего тут не могут поделать.

В 2009 году молодой человек, некогда любимый Наимой и переживший их общее прошлое, спускается в метро и едет куда-то в новую квартиру.

В 1965-м опустошения, упомянутые братом, доказывают Али, что Алжир живет, пусть израненный, в чужих руках.

Сквозь треск помех на линии Али обменивается сбивчивыми словами с Хамзой. Он отвык с ним разговаривать и часто откашливается. Хамза же вздыхает и присвистывает: Джамель по-прежнему числится пропавшим без вести, никто о нем ничего не слышал. Но на прошлой неделе освободили заключенных, так что все может быть. Иншалла, вот именно. Иншалла. В остальном все хорошо. Все живы, хвала Аллаху. Обеднели, но живы.

– Они много у нас забрали, – говорит Хамза брату.

Но не вдается в подробности, это-де еще можно потом обсудить. Йема убеждена, что он боится, как бы Али не потребовал вернуть ему то, что осталось и по праву принадлежит старшему. Она ворчит сквозь зубы, что Хамза лжец и комедиант. То и дело перебивает братьев, спрашивая, как там в деревне поживают женщины, чьи имена уже ничего не говорят Али. Хамид тоже кружит вокруг отца, не решаясь спросить о кузене Омаре, но главное – о Юсефе. Али отмахивается от жены и сына. Хамиду приходится выслушивать вопросы, ответы на которые ему безразличны: сколько оливковых деревьев осталось там, в горах? Едят ли их в этом году мухи? Додумался ли Хамза осмотреть нижние ветви, не появились ли на листьях «павлиньи глазки»? Если прошли дожди, надо очень остерегаться этого пакостного грибка. И если на листе хоть что-то есть, хоть чуть-чуть, – необходимо обработать дерево медью. Как урожай? Как последнее масло? Сделала ли Рашида заготовки на зиму? (Лучше ей это не доверять, а то всегда льет слишком много уксуса.)

Али не успевает узнать все, что хотел: Хамза быстро вешает трубку, подчеркнув, что разговор стоит дорого, и попросив брата, чтобы в следующий раз звонил сам. В деревне теперь есть телефон на командном пункте ФНО.

Слушая долгий гудок в телефонной трубке, Али, кажется, чувствует, как пахнет мякоть оливок, истекающих последними каплями масла в округлое брюхо сита, сплетенного из алжирского ковыля.



В конце учебного года Хамида переводят в шестой класс. Учитель написал внизу табеля, который ни Али, ни Йема не смогут прочесть: «Хамид замечательно поработал в этом году». И дважды подчеркнул слово «замечательно». Когда прозвенел последний звонок, он задержал мальчика и дал ему несколько книг, взятых наобум с полок в классе – учитель не планировал этого заранее, не ожидал, что от волнения у него перехватит горло. Он вложил в протянутые руки мальчика словарь, атлас и две книжки о приключениях «Клуба пятерых».

На первой странице словаря красуются флаги мира – в желтом, синем, зеленом, белом и красном, под каждым там и сям несколько черных строк. Книга 1950-х годов, и после Албании тут нет эмблемы Алжира. Хамид начинает каникулы в мечтах о странах, что кроются за орлами, пальмами и звездами. Еще он методично заставляет себя учить каждый день по пять новых слов, пусть даже у него нет случая их употребить, строго по порядку, начиная с буквы «а»: адреналин (*сущ., м.*), азимут (*сущ., м.*), азот (*сущ., м.*), айсберг (*сущ., м.*) алый (*прил.*). Он переписывает их на оставшиеся страницы школьной тетради и одним взглядом может охватить бледно-голубые строчки – свой неуклонно растущий словарный запас.

В августе Али удалось одолжить машину для двухнедельного отпуска. Они набились внутрь: родители и уже пятеро детей, причем старшие дерутся за право сесть у окна. И, едва видные под грудой чемоданов и за пластиковыми пакетами, которые Йема набила едой, они отправляются на юг. На заднем сиденье, притиснутый к окну Далилой – она катит бочку на Кадера, а тот кричит, что это все Клод, – Хамид читает «Клуб пятерых в опасности». Мальчик поднимает голову, только когда отец велит ему прочесть указатели. Он с той же серьезностью открывает для себя приключения Клода, Франсуа и Дагобера, с какой бился со страницами школьного учебника. Именно это позже поразит Наиму: его сосредоточенность, уважение Хамида к любому тексту, который он читает, даже если это просто заметка в местной газете или рекламный очерк.

Тысячу километров преодолели одним махом (они не могут позволить себе отель), Али за рулем день и ночь под крики, смех и плач детей. Пол машины усыпан крошками и липкий от гренадина. Хамид откладывает «Клуб пятерых в опасности», только если останавливаются поесть или сходить в туалет. Все остальное время он читает, не видя пробегающих за окном пейзажей.

– Про что там? – спрашивает Далила.

– Мика похитили.

Задумавшись на минуту, девочка произносит назидательно:

– Это наверняка ФНО.

Когда они приехали к Мессауду, брату Йемы, Хамид дочитал книгу и начал по второму разу (не хотелось сразу приступить ко второй). История, однако, его немного разочаровала. Здесь нет настоящих битв, как в комиксах, злодеи не страшные, а герои такие примерные, что почти скучно, – особенно Франсуа, вот кого он терпеть не может, Франсуа. Тем не менее, едва положив сумку в гостиной дяди, он достает «Клуб пятерых играет и выигрывает» и погружается в чтение. Он надеется найти там скрытое знание, которым еще не обладает, и это отделяет его от остальных. На самом деле этим летом он старается вычитать в «Клубе пятерых» руководство для белокурых детишек.

В прошлом году Мессауд решил не ехать с ними в Нижнюю Нормандию; Йема плакала. Она не могла смириться с тем, что семья снова будет разбита, кусок здесь, кусок там, а вся Франция посередке, ведь семья и без того была маленькой, ущербной, осколком; но Мессауд стоял на своем. Он хотел строить свою жизнь, убежденный, что тепло, которое он потеряет, отдалившись от стаи, компенсируется пространством и временем, сопутствующими одиночеству. Вскоре после отъезда сестры он нашел работу в Маноске, покинул «Дом Анны» и поселился в оранжевом домике в южной части города. Встреча была радостной и шумной, как будто – и на сей раз тоже – она оказалась плодом необычайного случая, шанса, выпадавшего немногим.

Две недели каникул дети купаются в Дюрансе (Наима нашла фотографию, где все четверо в плавках, даже Клод, которому всего два года), играют с одноглазым котом, бегают взапуски от дядиного

крыльца до дорожного знака. Их кожа в считанные дни покрывается загаром и вновь приобретает цвет матовой глины. Взрослые все больше сидят под зонтиком, в лужице тени. Йема регулярно исчезает, чтобы покормить Хасена, который еще не сходит с ее рук, и вокруг их почти сросшихся тел витает кислый запах материнского молока. Мужчины вполуха слушают музыку по радио. «Даже если ты вернешься, наша любовь умерла». Под вечер они открывают бутылку прозрачного розового вина. (Али теперь случается пить на людях. Он оправдывается, мол, они живут во Франции, это нормально, – а Йема мирится, молясь, чтобы Аллах и ее муж знали границы. Она не возражает, только строго поглядывает на уровень вина в бутылке.) Чтобы доставить удовольствие сестре, Мессауд ставит на проигрыватель пластинку с песнями Умм Кульсум ^[53]. «Я забыла сон и грезы, я забыла ночь и день». Дети, когда возвращаются, умоляют поставить что-нибудь другое, но Йема непреклонна. Напевая, она готовит ужин на всех. Радуетя круглым и сочным плодам оливковых деревьев, растущих здесь так же легко, как в Алжире. В Пон-Фероне их можно раздобыть только в крошечных баночках, фаршированных анчоусами или сладким перцем, непригодных для готовки, да и цены на них такие, что это роскошь, доступная только семьям из городского центра. У брата она горстями зачерпывает оливки прямо из ведра и отваривает, пока от горечи не останется лишь далекое воспоминание. Она добавляет их к курице, жаренной в масле с луком и приправленной шафраном. Кухня наполняется аппетитными дымками и потрескиванием. Зелено-золотистый *тажин зитун* ^[54] прекрасен, и Мессауд не скупится на комплименты.

– Как ты обходишься без меня? – тревожится Йема. – Умираешь с голоду?

– Справляюсь, – отвечает брат.

– Но все-таки, когда ты женишься?

Он смеется и не отвечает. Ему хорошо здесь одному. В его словах, в том, как он смотрит на домик посреди засыпанного гравием двора, чувствуется гордость: ему удалось покинуть лагерь. Но при этом почти все бывающие у него гости – жители «Дома Анны». Как будто он и не уходил отсюда.

– Почему они торчат здесь целый день? – спрашивает Йема. – Им что, больше делать нечего?

– Им на пользу немного проветриться, – объясняет Мессауд. – А то дома они только и здороваются, от двери до двери два метра.

Йема пожимает плечами. Ей не нравится, что они все время здесь, путаются под ногами у брата, и главное, она терпеть не может, когда они заговаривают с детьми. Не далее как вчера старик с безумными глазами в подробностях рассказывал Хамиду, Далиле и Кадеру про резню на плантации миндальных деревьев. Она вошла в гостиную, чтобы уложить маленького Хасена на подушки, и застала троих старших, замороженно слушающих монотонный и жуткий рассказ о двадцати двух перерезанных горлах.

– Закрой свой старый рот, – крикнула ему Йема, – у них в крови нет войны! Зачем ты хочешь влить войну им в кровь?

Но она говорит неправду, и сама это знает. Хамид в свои двенадцать лет еще мучается кошмарами и даже иногда писается в постель. Он уже научился сам менять простыни и не будит ее, чтобы попросить помощи. Но она по-прежнему слышит его крики – не надо, не надо, пожалуйста; и среди ночи у него голос не маленького мужчины, а перепуганного ребенка.

Пусть Йема и хочет прогнать войну подальше от детей, хотя бы на время летних каникул, – та по-прежнему преследует их, она не кончилась и не кончается. Война идет за ними по пятам, она нашла их в квартире в Пон-Фероне 23 сентября 1965 года. В этот день Рашида, жена Хамзы, позвонила, чтобы сообщить о смерти Джамеля.

– Сначала мы были счастливы, – говорит Рашида золовке, – потому что он вернулся, когда его уже и не ждали. Как мы радовались! Но он был в ужасном состоянии. Они проломили ему голову, бедняге! И еще побои по всему телу. Клянусь тебе, все тело было как одна сплошная рана. А исхудал как. И глаза были уже нездешние, он говорил, двигался, но был не с нами. Неделью продержался и умер прямо на стуле.

– Он хотел умереть дома, – говорит Йема.

– Вот именно, – повторяет Рашида, – он хотел умереть дома.

– Я скажу Али, он будет горевать.

– Скажи ему, чтобы прислал денег, – говорит Рашида. – Похороны дорого нам обошлись.

Йема вешает трубку, вежливо простившись, но внутренне кипит. Все утро она мечется по квартире как загнанный зверь. Из головы не идет Рашида, полновластная хозяйка трех домов в деревне, Рашида, которая наверняка носит оставленные ею украшения и платья, а ведь они ей, конечно же, не к лицу. Рашида ходит под оливами, когда хочет... Йема знать не желает рассказов о грабежах и пожарах, которые доходили до нее с самого их отъезда: в ее сознании пейзаж гор застывший, незыблемый, он не изменился ни на йоту. Она смотрит на детскую площадку под окном, где турник снова покосился. Что она себе думает, Рашида? Что раз они живут во Франции – значит, уже и богаты?

В этот день она идет к мадам Яхи, соседке снизу. Йема уже говорит «месье» и «мадам», как французы, но главное – как ее дети, пусть даже в обращении не содержится никакой особой вежливости, это все равно что просто имя. Мадам Яхи женит сына, и Йема помогает ей приготовить баклаву к свадьбе. Это легко, потому что их кухни совершенно одинаковые, и гостье не приходится задумываться – где у хозяйки необходимый ингредиент. Шкафчики и ящики они открывают не глядя. Иногда даже забывают, на каком сейчас этаже и кому из них пора домой. Вытирая липкие от меда пальцы о кухонное полотенце, Йема признается соседке:

– Я, наверно, в обиде на тех, кто остался в деревне.

– Я тоже, – отвечает мадам Яхи, как будто так и должно быть.

Она немного постарше и далеко не такая робкая, как Йема, поэтому добавляет, поправив косынку:

– Я и на мужа в обиде, потому что, если бы мне решать, я бы осталась там. Это он хотел бежать. Нас-то никогда не спрашивают. Возят с собой, как вещи. Они делают свои мужские глупости, а мы расплачиваемся.

– Бедные мы...

Они толкут миндаль и вздыхают о стране, потерянной по вине мужчин.



Лето здесь не кончается разом, оно растворяется в осени. Еще до того как упадет температура, следуют чередой – или, наоборот, сливаются в один без начала и конца – дождливые дни, неотвратимо приближающие холодный сезон. Дожди не барабанят, не стучат, не хлещут, как это бывало в Ривезальте и Жуке, нет, здесь они льют, не сильно, но с уверенностью, что не прекратятся до марта. Хамид смотрит, как растекаются лужи между блочными домами. Вода прячется в малейших уголках земли, превращая их в грязь, она ищет их под домами, на насыпях вокруг паркингов и, взбухая из-под асфальта бурыми приливами, которых избегают даже дети, возвращает исконный вид очевидной иллюзии, будто многоквартирные дома суперсовременны. Они мало-помалу становятся похожи на поселение глинобитных домишек, кое-как возведенных на зыбкой почве. Переход из лета в осень тем коварней, что ритм жизни никак не меняется. Али уходит на работу в то же время, и так же возвращается. Малыши ходят в школу, Хамид в коллеж, и в один и тот же час, независимо от времени года, звенит звонок. Йема ходит за покупками и видит на магазинных полках всегда один и тот же ассортимент, какая бы ни была погода на улице. Ритм их жизни больше никак не связан с жизнью земли, деревьев или неба. Это, конечно, удобнее, но уж очень монотонно. Прильнув лицом к кухонному окну, Хамид спрашивает себя, как ему продержаться до марта, выносить ноябрьский дождь уже нет сил. В кухне Йема шмыгает носом и раскладывает по полкам запасы – коробки с бумажными платками, которые пустеют на диво быстро. Стоит ей отвернуться, как Далила мастерит из них свадебные платья своей кукле, а Кадер – бинты, которыми тщательно перевязывает раны, полученные в воображаемых боях.

Вскоре после поступления Хамида в коллеж Али вызывает руководитель шестого класса. Он хочет поговорить с ним про подписи на табелях, потому что, видите ли, кхе-кхе, видите ли, видите ли, ему-де неловко, но он думает, что Хамид подписывает их сам.

– Да, – гордо кивает Али. – Он подписывает их сам.

– Но ему нельзя! – восклицает учитель. – Подписывать должны вы.

Али твердо качает головой: ни в коем случае. Он не умеет писать. Он не станет ставить крест на чистых разлинованных тетрадях своего сына. Тот куда лучше умеет выводить буквы, красивые, иностранные, французские.

– Пусть делает он. Это хорошо.

Учитель меняет тему:

– Хамид хороший мальчик, он усердно работает.

И снова гордость распирает грудь Али. Он видит, какой у него умный сын. Это чувствуется по глазам мальчугана, по его улыбке, по тому, как он играет с младшими братьями и сестрой.

– Вы думали о его будущем?

Ему приходится повторить вопрос еще раз, помедленнее. Поняв, Али только кивает и молча поджимает губы. Что себе возомнил этот учитель? Конечно, он думал. Он думает об этом каждый день, у заводского пресса, в рабочей раздевалке, за столом, в автобусе, перед сном, все время. Но он никак не может повлиять на будущее своего сына, своих детей, и это ему как острый нож. Он знает, что их будущее от него не зависит, несмотря на все его усилия, что, не в силах понять настоящее, он неспособен и строить будущее. Их будущее написано на иностранном языке.

– Где, например, вы хотите, чтобы он учился? Вы об этом задумывались? Очень хорошее образование дают в техническом лицее. Так он наверняка получит профессию. Но я вам скажу, если он удержится в коллеже на этом уровне, то сможет в дальнейшем продолжить учебу и, может быть, даже поступить на государственную службу.

Учитель произносит эту фразу с видимым энтузиазмом. Он назвал вершину социальной пирамиды или, вернее, подобия социальной пирамиды для тех, кто из «зоны», – ее верхушка обрезана или теряется в туманных высях.

– Социальный работник. Это хорошо. Я знал много молодых людей, которые этим занимались. Потому что это позволяет им сохранять контакт со своей...

Он помедлил. Не хотел никого обидеть.

– Со своей родной средой, в общем.

– Какая лучшая школа во Франции? – ни с того ни с сего спрашивает Али.

Учитель удивлен.

– Не знаю... Политехническая, наверно? Или Высшая нормальная школа?

– Мой сын закончит их обе, – заявляет Али.

Он, может быть, и не в силах повлиять на настоящее и посадить семена будущей безмятежной жизни, о которой мечтает для своих детей, но всегда остается волшебная надежда. Она нетерпелива, она отчаянна, она продвигается вперед яростными скачками меж двух точек, не связанных никакой логикой.

Встретив Хамида в коридоре, где мальчик с тревогой ждет окончания разговора, он говорит ему:

– Тебе надо работать усерднее всех. Французы не сделают тебе подарков. Ты должен быть лучшим, во всем, слышишь? Лучшим.

– Хорошо, – кивает Хамид.

– И с сегодняшнего дня будешь показывать мне отметки. Хочу сам проверять. Я попрошу месье Джебара читать их мне.

Серьезность, которой Али требует от мальчика, плохо вяжется с расхлябанностью, которую он сам проявляет в работе. На заводе Али не раз слышал от мастеров выражение: «Араб сработал», – просто так, машинально, без камня за пазухой. Говорят, доля истины в этой фразе есть, но те, кто ее употребляет, ничего не поняли. Рабочие на конвейере действительно халтурят, но это не результат магрибинского атавизма. Это отчаяние тех, у кого завод высасывает кровь, давая взамен лишь средства для выживания, но не для жизни. Ни алжирца, ни турка никто никогда не увидит в конторе, они отлично это знают. Им некуда развиваться. И в знак протеста им остается только делать работу кое-как, привинчивая наполовину, складывая на скорую руку, вырезая сикось-накось. Они даже не понижают доход предприятия: сами того не зная, они вписываются в предсказуемые убытки, таково их уныние и полнейшее разочарование.

Али пытался поначалу трудиться с маломальским энтузиазмом. Не то чтобы любить свою работу, но, по крайней мере, любить деньги и хотеть больше. Без толку. Хозяева не дают ему дополнительных

часов. Предпочитают давать их другим алжирцам, те приехали после него, но они не харки, они не французы.

– Тебе-то не надо посылать переводы домой, – говорят ему иногда в свое оправдание.

Но Али знает, что ему предпочитают рабочих-иммигрантов потому, что те здесь только из-за работы и готовы выкладываться больше других. Они здесь, чтобы заработать деньги для своих семей, для деревни. Поэтому они надрываются на работе одиннадцать месяцев с тем, чтобы потом уехать. Хозяину так спокойнее. Они не будут пытаться «сделать карьеру», не будут объединяться в профсоюз – по крайней мере, пока питают иллюзию, что скоро вернуться домой. Али возвращаться некуда. Его жизнь здесь.



– Все хорошо, Хамид?

Социальная работница в коллеже интересуется судьбой мальчика с первых дней сентября. Досье детей из Пон-Ферона ложатся к ней на стол в первую очередь. Она просматривает их внимательнее других, как если бы смуглые тельца были минными полями и учебное заведение ожидало, затаив дыхание, когда они взорвутся. Но Хамид интересуется ее особенно. Она звонила директору начальной школы, чтобы навести о нем справки. От него она узнала, что за один учебный год мальчик наверстал отставание – изрядное, – чего никто не ожидал (детские травмы, думали все без малейшей враждебности, тормозят умственное развитие). В плане учебы с ним все в порядке, но в плане социальной адаптации, на взгляд социальной работницы, дела обстоят более тревожно. Ей кажется, что Хамид слишком серьезен. В разговоре он употребляет допотопную и чрезмерно правильную грамматику, которая в устах мальчишки выглядит абсурдно, – восемнадцатый век, ошеломленно думает она. И потом, лицо его как будто стянуто книзу широкими темными кругами под глазами, у него постоянно измученный вид. Левое веко подрагивает, как заевшая механическая игрушка. Будь это 1980-е годы, она, наверно, испугалась бы белого порошка, который заразил «зону» и наводнил улицы взъерошенными, дергающимися от зуда фигурами. Но двадцатью годами раньше ей не приходят в голову мысли о наркотиках, о таком ничего не говорится даже в ее учебниках и брошюрах. Остается дурное обращение. С тех пор как мальчик на ее глазах так нерешительно раздевался перед медицинским осмотром, она боится, что родители его бьют. Она сама выдумывает ему проблемы, которые позволили бы ей действовать, спасти его, делать то, ради чего она, собственно, и выбрала эту работу.

– Откуда эти синяки на тебе, Хамид?

Мальчик смотрит на отметины, не понимая. Потом поднимает голову на социальную работницу и читает в ее глазах подозрение, нет – целую историю, которую она уже сочинила: про изверга-отца, про побои (палкой или ремнем?), про молчание. Он смеется:

– Вы когда-нибудь видели, чтобы пятеро детей играли в квартире в сорок квадратных метров, не стучаясь о мебель и двери? Я – нет.

Он не знает, верит ли она – может, и нет. Между тем это правда. В квартире слишком много мебели и слишком много детей. Впору задохнуться. Каждое движение локтя, каждая траектория коленки может привести к столкновению, напоминая, что здесь слишком тесно, что их тут чересчур. Хамид знает, что у жителей квартала с муниципалитетом и его Службой многоквартирных домов – диалог глухих, письма чаще всего пишет он. Требования семей: квартира не отвечает нашим нуждам. Ответ властей, прозрачный сквозь витиеватые формулировки: нечего рожать столько детей. И есть что-то странное в этом ответе для всех приехавших сюда семей, потому что он как будто означает, что квартира незыблема, это люди должны приспособливаться к священной данности, каковой является ее площадь. На родине, когда семья разрасталась, пристраивали этаж, флигель или даже новый дом. Жилище пребывало в движении, в развитии, как жизнь, как семья, а теперь это коробка, размер которой железно определяет ее содержимое.

– Ты хорошо спишь, Хамид? – продолжает социальная работница.

Он качает головой. Нет, спит он плохо.

– Потому что слишком много занимаешься?

Снова подергивание головы, чуть презрительное. Ничто не слишком, когда надо быть лучшим во всем.

– Тебе есть где спать?

– Есть ли кровать? Вы об этом?

– Да.

– У всех есть кровать.

Свою кровать он делит с маленьким Хасеном. В соседней спят вместе Кадер и Клод. Это спальня мальчиков. Когда ему снятся кошмары, он будит всех троих. Ему стыдно. И, что правда, то правда, потом даже не пытается уснуть.

– Почему такой интерес к моей кровати?

Под шлемом тщательно укрощенных волос, естественной защитной униформой, социальная работница краснеет. Мальчик смущает ее, эта смесь мужчины и ребенка еще не схватилась, и две фазы проявляются поочередно. Иной раз в жестах, в мимике он так похож на взрослого, что она не может назвать его невинным. Ей

кажется, что он смеется, издевается над ней. Она чувствует себя в опасности, как бывает всякий раз, стоит ей столкнуться с мужчиной (социальной работнице не с кем поделиться собственными страхами, для социальной работницы нет еще одной социальной работницы, которая приняла бы ее в кабинете с успокаивающими картинками на стенах и спросила бы, хорошо ли она спит). И потом, он красив, а красота всегда волновала ее, трогала до слез или заставляла нервно хихикать. Эта женщина, наверно, первая признает, что в ровных и правильных чертах лица Хамида есть красота, хоть на него и падают иногда завитки кудрявых черных волос, а левое веко подергивается. В этом городе никто не воскликнет, увидев его, как восклицают, увидев белых детей, – с нежностью, с восхищением: «Какой красавчик...» Нет, об этом всегда скажут с опаской, как будто это способность к адаптации, которую он развил, чтобы выжить во Франции, обворовать местных жителей, чтобы те забыли его порочное происхождение. И еще, пожалуй, с безотчетным страхом, и с легким возбуждением, боясь подойти слишком близко и в то же время желая этого. Будут говорить ему в укор.

– Это моя работа, – отвечает она сухо, будто отшивает назойливого кавалера в баре.

Потом, опомнившись и обращаясь на сей раз к ребенку, а не к взрослому, зреющему в его теле, протягивает ему банку с мятными конфетами, занимающую почетное место на письменном столе. Хамид улыбается, закатив глаза, и по привычке еще со времен Ривезальта берет три: себе, Далиле и Кадеру.

Выйдя из кабинета, чтобы встретиться с Жилем и Франсуа, он думает, что правильно промолчал. Тем, кому снятся кошмары, дают таблетки, делают уколы. Субстанцию снов заменяют в них химическими веществами. Он этого насмотрелся и в Ривезальте, и в Жуке.

Социальная работница, может быть, и хорошая, она к нему с добром, но было бы слишком рискованно рассказать ей обо всем, что происходит с ним ночью, признаться, что, стоит закрыть глаза, и на экранах его век горят оливы. Человек-огонь с горячей шиной на шее приходит каждый вечер, а следом за ним и человек-железо, опутанный колючей проволокой. Хамид и сам толком не знает, откуда

берутся эти кошмары. Он не помнит, чтобы был свидетелем этих сцен, или, вернее, думает, что не помнит, потому что эти картины не попали в ту часть памяти, которая ему доступна. Однако зря он думает, что их не было или что они не запечатлелись в нем. Они здесь, в подкорке, въелись в него. Ночами, когда барьеры языка сдают под напором сновидений, они всплывают на поверхность, капая ядом прямо в его мозг.

– Чего она от тебя хотела?

– Как всегда.

– Может, она в тебя влюбилась.

– Чушь.

Хамид тычком посылает подалее смеющихся приятелей. Их дружба нова и важна для него, потому что это не ребята из Пон-Ферона. Жиль – сын крестьянина, он живет на ферме с коровами и яблонями, которая кажется Хамиду мирным и тучным подобием горной деревни с ее козами и оливами. Франсуа – сын аптекаря и живет в частном доме в центре города, большом, как весь или почти весь квартал Хамида. Другьями они стали случайно: сидели за одной партой, и учитель дал им задание: сделать общий доклад об изобретении книгопечатания. Когда они его готовили, Хамид не удержался и заметил Франсуа, что его зовут как одного из героев «Клуба пятерых».

– Знаю, – ответил тот, – самого большого мудилу из всех.

Они посмеялись все втроем, особенно Хамид, который стесняется произносить грубые слова.

– А твое имя, – спросил Жиль, – что-то значит?

– Не, – ответил Хамид, – просто имя.

С ними он говорил о великах (значит, они мечтают и о мопедах), о комиксах (они любят приключения: «Фантастическая четверка», «Люди Икс» и «Мстители»), о кино («Бэтмен», «Джесси Джеймс против Франкенштейна», уйма вестернов – насмотревшись их, они ходят, засунув большие пальцы за ремень и приволакивая ноги), о девочках (они им неинтересны, потому что ни одна не похожа на Анжанетт Комер, черноволосую актрису из «Человека из Сьерры» [\[55\]](#)). Они очень серьезно обсуждают музыку, и Хамид с Жилем, понимая, что больше смотрят конверты, чем слушают пластинки, так как у обоих нет денег, чтобы их покупать, пускаются в

изоощренные рассуждения, порой и ни с того ни с сего добавляя агрессивности, чтобы Франсуа признавал их мнение – ведь на старте-то фора у него.

С ними Хамид иногда упоминает о своих кошмарах – тех, о которых никогда не расскажет социальной работнице. Он признается им, что ненавидит ночь и боится засыпать:

– Мой отец говорит, что сон – это чудесно. Я слышу с малолетства: ночь, мол, нужна для того, чтобы ты мог представить свою жизнь без проблем. Только у меня, кажется, все наоборот. Когда я просыпаюсь, то вижу, что могу сделать, чтобы моя жизнь стала лучше, но когда сплю, все наваливается разом, и сделать я ничего не могу, я ведь сплю.

– А ты вообще не спи, – посоветовал ему Франсуа, – тогда сможешь завоевать мир, пока все спят! Ладно, кто на воротах?

Так, пристроенные между спорами о «Битлз» и футбольным матчем, кошмары пугают меньше.

С тех пор как мальчуган подружился с Франсуа и Жилем, его почти не бывает в квартире. Он уделяет меньше внимания братьям и сестрам, и помочь его теперь не допросишься. Ему хочется быть все время вне дома, разговаривать, играть.

– Можно, я пойду к друзьям? – спрашивает Хамид Йему, едва закончив делать уроки.

Она оборачивается, вытирая руки о передник.

– И о чем вы только разговариваете с друзьями, если ты все время рвешься к ним? Вы еще не все друг другу сказали? Какой интерес молоть языком?

Поворчав, она чаще всего отпускает его, и он, счастливый, сбегает по лестнице и мчится к мальчикам на другой конец города, на муниципальное футбольное поле или в гараж Франсуа. Он всегда с радостью уходит из квартиры и от угрюмого настроения родителей, отчаянно дисгармонирующего с жизнью, которая в нем кипит.

Йема сидит в кухне, глядя на письма, которые она достала из почтового ящика, – ни она, ни ее муж не станут вскрывать их, пока нет Хамида. Она ждет его возвращения и думает, что, наверно, нужно перестать кричать и сердиться, она ведь просто хочет сказать, что

любит его, но не знает как. Ее первый мальчик. Зеница ее ока. Ее маленький француз...

Конечно, она хочет, чтобы он играл, как все мальчишки. Но при всем ее желании вернуть ему кусочки детства, украденные войной, она не может не понимать, что ей нужно, чтобы он был рядом: он ее проводник во внешний мир, который продолжает пугать ее до жути. Без своего посланца, своего легконогого гида она пропала.

Когда, например, звонит телефон, это всегда мука мученическая. Али и Йема не решаются подойти: вдруг в трубке прозвучит французская речь. Йема по-прежнему не знает ни слова на этом языке. Ее муж мало-мальски освоился, но ему нужно лицо, мимика, чтобы заполнить пустоты на месте всех слов, которых он не понимает. От телефонного звонка его бросает в холодный пот. Иногда он вешает трубку, едва услышав «здравствуйте» по-французски, – так боится показаться смешным, если начнет разговор.

Поэтому за пронзительным звонком чаще всего следует секунда тишины – как будто по звуку они могут догадаться, на каком языке будет говорить собеседник, – а потом крик:

– Хамид!

Он – домашний секретарь на телефоне. Раньше он этим гордился. Теперь, в переходном возрасте, ему хочется, чтобы его оставили в покое, – пусть бы никто не вторгался в пространство его мечты. Но он продолжает исполнять свои обязанности, потому что в нем нуждаются. Никто не просит Далилу сменить его, ведь Далила всегда, всегда сердита. В ее хрупком теле – чудовищные запасы ярости. Надо видеть ее утром, когда она встает и собирается в школу, а как она пьет кофе с молоком – эта девчонка ухитряется воевать со столом, воевать с чашкой, с сахаром, с ложечкой. Когда звонит телефон, она поднимает свои черные глаза лишь для того, чтобы испепелить его взглядом, после чего убегает и закрывается в комнате девочек. Хамид подходит, передает трубку, если слышит арабский или кабилский, записывает, что передать, если говорят по-французски. Никто никогда не учил его телефонному этикету – поэтому, снимая трубку, он говорит не «алло», а «кто это?».

Большинство дядюшек и тетушек Наимы сохранили эту привычку даже тридцать-сорок лет спустя, и каждый раз, когда она им звонит, ее

раздражает этот первый вопрос: она как будто виновата, что позвонила.



Серым и тусклым утром 1967 года, в один из дней нормандской зимы, которая тянется с октября по апрель, когда дети делают уроки за столом в гостиной, Али встает с дивана и идет к большому шкафу, занимающему всю стену, – к этому чудовищу ни Хамид, ни Наима так и не смогут привыкнуть: дьявольский гибрид буфета и нормандского шкафа, к которому производитель счел нужным добавить колоннады и маленькую витрину для самых красивых чашек. В нижней части слева, в выдвижном ящике лежат медали Али, «семь кило железа», которые он привез с собой из Алжира.

В этот день, ни слова не говоря, он встает с дивана, на котором смотрел телевизор, подходит, выдвигает ящик и скрывается в кухне. Хамид, Кадер, Далила и Клод слышат, как он вытаскивает из-под раковины большое мусорное ведро, потом до них доносится звон медалей, которые, вывалившись из ящика, падают на кучу очисток с приглушенным липким «плюх».

Али возвращается в гостиную, задвигает пустой ящик на место и снова садится на диван. Он так и не сказал ни слова. Дети продолжают делать уроки, ни о чем не решаясь спросить.

– Это, наверно, был крик о помощи, – скажет позже Хамид.

– Это был бунт, – скажет Далила.

– Жалко, – скажет Кадер.

– Я совсем не помню эту сцену, – скажет Клод. – Ты уверена, что так вообще было?

Но пока они все молчат.

Они вообще все реже говорят с родителями. Язык постепенно отдаляет их друг от друга. Арабский остался языком детства, не покрывающим реалии взрослого мира. То, чем они живут сегодня, называется по-французски, во французском обретает форму, и перевод невозможен. Поэтому, обращаясь к родителям, они знают, что отсекают от себя всю эту новую зрелость и вновь становятся кабийской малышкой. Между арабским, ставшим для них уходящей

натурой, и французским, не дающимся их родителям, в разговорах нет места для тех взрослых, которыми они становятся.

Али и Йема смотрят, как арабский становится иностранным языком для их детей, слышат, как все больше забываются слова, множатся ошибки и в речи все чаще проскакивает французский. Они видят, как ширится пропасть, и ничего не говорят, разве что – может быть – время от времени, потому что надо что-то сказать:

– Это хорошо, сынок.

В квартире, так и не ставшей для них по-настоящему своей, они ужимаются, как могут, чтобы поколение, выросшее здесь, вволю жило в этих слишком маленьких комнатах, заставленных излишками мебели, купленной ими лишь потому, что они увидели картинку – и сами уже не помнят, в каком каталоге.

Круглый стол посреди гостиной все чаще служит письменным столом Хамиду и Кадеру. Мальчики уже не только бегло читают и пишут, но и владеют официальным языком, почерпнутым из почты, и могут разобраться в цифрах из платежных квитанций. Они вызвались быть адвокатами, бухгалтерами, писцами и социальными помощниками для большей части соседей – и те приходят к ним, нагруженные бумагами всех сортов. Тщательность, с которой неграмотные рабочие хранят и классифицируют документы, неизменно удивляет мальчиков. Они принимают соседей с маской серьезности на лицах, плохо скрывающей ликование, и, покивав, принимают за анализ принесенных бланков, как прорицатели былых времен вскрывали бы брюхо животного, чтобы прочесть по внутренностям тайные послания высших сил.

– Сколько у них бумаг, у всех этих французов, – замечает Йема в кухне, качая головой. – Впору поинтересоваться, что же тут можно сделать без бумаг. Умереть? Я уверена, что даже для этого они потребуют документы, а если их у тебя нет – живи, пока не раздобудешь...

Вокруг нее, на тесном пятчке между раковиной, плитой и пузатым холодильником, женщины ждут своих мужей после «консультации» двух мальчиков в соседней комнате. Далила недовольна, что ее тоже отправляют в кухню или в комнату девочек, хотя она старше и способнее Кадера. Но, несмотря на ее правильные

до совершенства табели, она наталкивается на невидимые преграды мира женщин, и бюро рекламаций поручено только ее братьям. Те не спрашивают никакой платы – «трудимся только за славу», говорит иногда Кадер, унаследовавший комиксы старшего брата про рыцарей, – но работают тщательно. Больше всего времени пожирает переписка с органами социального страхования. Несчастные случаи на производстве нередки в их рабочем квартале, и двое соседей уже много месяцев добиваются пенсии по инвалидности. Составляя такие письма, Хамид и Кадер отточили технику, и консультации проходят теперь по четкому ритуалу. Соседи показывают, где у них болит, и мальчики с величайшей серьезностью задают им вопросы, что твой доктора, спрашивают, как болит и насколько сильно. Потом Хамид открывает словарь, подаренный два года назад учителем, – его обложка отрывается от корешка, несмотря на все предосторожности. Они с Кадером ищут на цветном развороте по анатомии больной орган, мышцу или кость и обсуждают случай, иногда поправляя несуществующие очки.

«Я позволю себе, – пишут они, договорившись, – требовать дополнительной экспертизы, так как ввиду тянущей/колющей/стреляющей боли (они, возможно, злоупотребляют прилагательными, но характеристики боли им очень нравятся), которую я ощущаю ежедневно в селезенке/ в пояснице/в коленной чашечке/в шейных позвонках, мне представляется вероятным, что доктор X что-то упустил в ходе последнего осмотра».

Много лет спустя Кадер станет медбратом. И будет часто повторять, что именно тогда, рассматривая схемы человеческого тела в старом словаре, открыл в себе это призвание. Еще и сегодня он признается в особой нежности к пациентам с переломом таранной кости, потому что в детстве это была его любимая кость в анатомической таблице.

В маленькой квартирке, полной соседней и соседок, боль всегда принимается благосклонно. Это правило элементарной вежливости, которому Йема учит своих детей: когда человек говорит, что у него что-то болит, полагается верить и жалеть. Французам, по ее словам, незнакомо это искусство. Когда ты говоришь им, что тебе больно, они отвечают: «Ничего», «Пустяки» или «Пройдет». Здесь же, в

сверкающей чистотой гостиной, если кто-то скажет: «У меня болит спина», все хором с величайшей серьезностью ответят: «*Мескин*». Бедный. И сочувственно покивают.

Конечно, стоит страдальцу выйти, как Йема или одна из соседок скажут:

– Вечно он жалуется.

Но все равно чужая боль – это святое.

Наима в детстве любила эту территорию свободной боли, которую создавала вокруг нее бабушка. Ободрать коленки в «зоне» Флера было куда приятнее, чем среди французов. При виде малейшей царапины ее бросались целовать, а заплакав, она тотчас оказывалась прижатой к пышной груди Йемы: детка моя, моя милая, *мескина*, возьми печенье...

Подрастая, она притерпелась к тому, что ее бабушка всегда считала французской невежливостью, и привыкла не упоминать о боли, или разве для того, чтобы ей сказали: «Пустяки». Указание на мелкость ее мучений или уверения, что они скоро пройдут, стали для нее необходимой точкой опоры в любом разговоре, чтобы не рухнуть в страдание. Поведение Йемы теперь выбивает ее из колеи, и от каждого *мескина* ей кажется, будто она промахнула ступеньку на лестнице.



В лицее – теперь уж не вспомнить, во втором классе или в первом, – Хамид перестал соблюдать рамадан. С него довольно, он больше не может выносить, когда плывет голова, урчит в животе, а мысли валят из ушей беспорядочными клубами. Рамадан – это клещи, терзающие кишки, и подкатывающая к горлу тошнота (его всегда удивляло, что от голода хочется вытошнить все, что есть в желудке). Ему с детства твердят, что пост делает правоверного лучше, потому что позволяет разделить страдания бедных и голодающих, но он видит в этом лишь стойкий пережиток того быта разбогатевших крестьян, какой был у его родителей в горах десятков лет назад. Здесь-то бедные – они, и Хамид знает, сколько из-за этого страданий все двенадцать месяцев в году. Ему не нужно вдобавок обременять себя усиленной версией лишений. И потом, ему надоело пропускать уроки физкультуры, быть не в силах догнать автобус, сидеть на краю футбольного поля, когда играют Жиль и Франсуа, надоело выделяться своей слабостью весь пост. Рамадан не столько приближает его к бедным, сколько отдаляет от других лицеистов.

Он не хочет сообщать о своем решении Йеме, потому что уверен, что огорчит ее. Ее отношение к религии глубоко личное, чувственное, ей в голову не придет размышлять об исламе: она мусульманка так же, как в ней метр пятьдесят два роста, это было заложено в ней с рождения и развивалось на протяжении всей жизни.

Хамид не знает, надо ли говорить отцу. Он в сомнениях: получится, что мир перевернулся, если сын сам станет решать, вместо того чтобы повиноваться, – так его всегда учили. Однако, с тех пор как они во Франции, отец перекладывает на него все больше своих полномочий. Радоваться этому или нет, он тоже не знает. Теперь, когда он достиг отрочества, почти не стало того отца, против которого он мог бы взбунтоваться: Али скукожился, стусевался. Размяк там, где раньше был скалой. Но когда Хамид принимает как данность, что его отец больше не сила, с которой нужно бороться, когда он пытается выстроить с ним отношения, не столь непреклонно вертикальные, – в Али мгновенно вспыхивает гнев, чистый, как горный воздух, гнев,

который никуда не делся, когда ушла власть, и мальчик, будто ему снова четыре года, боится взбучки. Хамиду трудно взростеть с таким отцом. Он не может ему противостоять. И склонить его на свою сторону ему тоже не удается.

Поэтому конец рамадана он организует тайком. В месяц поста он не переступает порог столовой, но за складом мячей и матов при физкультурном зале, где совершаются все тайные сделки в лицее, товарищи передают ему куски хлеба, шоколадки, банан, все, что смогли утаить от своего обеда. Большую часть он съедает сразу, но часто оставляет кусок на вечер, на случай, если *ифтар* [\[56\]](#) запоздает. Продержаться последние часы труднее всего: Йема уже поставила на стол блюдо с финиками, из которого каждый возьмет по одному, чтобы обозначить конец поста, а в кухне кастрюли исходят запахами томата, перца и специй от кушаний в соусе, греющихся на медленном огне. Пища повсюду, но она под запретом, и желудок Хамида не может выносить этих обещаний, исполнение которых все откладывается. Только скудные дневные запасы не дают ему заплакать от голода и разочарования. Так возникает новая форма бунта, близкая первой, но, прямо сказать, неожиданная. Хамид не рассчитывает больше на то, что родители будут его кормить, а ведь их власть над ним всегда строилась на их статусе кормильцев: мать вспоила его молоком с первых дней и всю жизнь трудилась в кухне, отец когда-то сажал деревья, а теперь приносит домой заработанные деньги. Теперь, когда Хамид ест то, что дают ему Жиль и Франсуа, он естественным образом порывает, сам того не сознавая, со столь же естественным послушанием, о котором никогда не задумывался.

Али застал его однажды жующим горбушку хлеба в темном закуте, где стоит стиральная машина. Хамид рывком обернулся и перед высокой фигурой отца, занимающей весь дверной проем, инстинктивно поднял руки, защищаясь. Но Али как будто даже не сердит, только удивлен.

– Если Бог есть, – растерявшись, выпалил Хамид, – держу пари, что он существует не для того, чтобы повсюду доставать нас.

Он только что проходил в лицее Паскаля; вот и его личное толкование. Али покачал головой и притворил дверь, прошептал:

– Смотри, чтобы мать не нашла крошки.

То, что он прекратил соблюдать рамадан, стало лишь первым шагом для юноши, которому исламские традиции кажутся такими же допотопными, как вещи, привезенные из Алжира и пылящиеся в шкафах. Отжившей, по его мнению, религии родителей он предпочитает политику – он открыл ее для себя благодаря старшему брату Франсуа. Стефан учится на факультете социологии в Париже и, когда возвращается домой, не упускает случая рассказать о кипении идей в университете. Его слушают молча, только кивают. С непомерно длинными руками и треугольным лицом, сужающимся книзу в виде маленького острого подбородка, он похож на богомола. Его странная внешность отнюдь не противна, наоборот, она притягивает взгляды, а говорит Стефан спокойно и размеренно, явно зная, что ему не надо прикладывать усилий, чтобы завладеть вниманием собеседников. Даже его родители, несогласные с ним по многим вопросам, неспособны противостоят тому небрежному обаянию, какое их сын проявляет в разговорах. Ну, а Франсуа, Хамид и Жиль буквально впитывают его слова почти в экстазе. Когда он рассказывает о студенческих волнениях прошлого года, подростки готовы поверить, что Стефан и его друзья лично сместили старого генерала де Голля, который спал, а не руководил страной. «Запрещается запрещать. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой». Этими лозунгами пересыпаны рассказы Стефана, мальчики их обожают и просят еще.

– Но лозунги, – ворчливо одергивает их Стефан, – без сути не более чем конфетки.

Сопровождая свои фразы легкими жестами, он говорит, что нужно создать сопротивление в настоящем времени, а не оставлять его в учебниках истории. Он утверждает, что необходимо постоянно измышлять возможности новой жизни, чтобы разоблачить речи власти – она-то хочет уверить нас, что возможность лишь одна и только она, власть, может нам ее гарантировать. Он спрашивает:

– Вы читали Маркса?

Мальчики качают головами в некотором замешательстве.

– Что вы проходили по философии?

– Платона, – робко говорит Франсуа.

– Паскаля, – добавляет Хамид.

– Один строит свою политическую систему на рабстве, а другой на величии Бога. Отлично, ребята, вы далеко пойдете.

Стефан дает им почитать свои книги, старые, с изломанными корешками, с загнутыми уголками страниц, и Хамид обращается с ними так же уважительно, как Йема с экземпляром Корана, который не может прочесть, но иногда листает, бормоча суры, выученные наизусть давным-давно. Стефан приносит им и пластинки, ставит Мадди Уотерса, «Клэнси Бразерс», Боба Дилана – потому что, ребята, *the times they are a-changin'* [\[57\]](#). Музыка и слова мешаются в мыслях Хамида, политика пишется, как блюз, кто-то выщипывает на струнах гитары мелодию фолка, и та крутится у него в голове. Запрещается запрещать... нет рефрена прекрасней. Для него этот запрет начинается внутри, он начинается с запрета запрещать себе что бы то ни было. Хамид роется в памяти, вопрошает свои рефлексy, призывает привычки в поисках запретов. Они проросли повсюду, это джунгли, полные ветвей и лиан, сквозь которые не пройти. Столько ему вдолбили в голову этих «Ты должен», «Ты не должен» и «Только так и не иначе», что ему трудно двигаться вперед. Ночью, вместо того чтобы спать, он делает в себе уборку. Там, где заросло, рубит. Там, где завалено, роет. Из внутренних запретов, которые Хамид смог выявить, он сохранил лишь один, этот запрет; по его мнению, полезен ему, это не лиана, а опора: запрет не быть лучшим.

И закончив, он чувствует, что пространство внутри него расчищено, вакантно, свободно – он может делать с ним что хочет, заполнять его на свое усмотрение. На этом пустыре он и строит свой бунт, принадлежащий лишь ему: у его бунта слова Маркса, голос Дилана, лицо Че Гевары, он обладает – сознает ли это сам Хамид? – юношеской грацией Юсефа Таджера, и каждый раз, когда молодой человек встречает его эманацию, она вызывает в нем то же ликование, то же восхищение, близкое к экстазу, ту же безусловную любовь, что будили в нем когда-то появления Мэдрейка в комиксах его детства.

Хотя Хамид продолжает усердно трудиться в лицее, он начинает задаваться вопросами о резонах того, что им задают, о произволе передаваемого знания – повторение, сказал Стефан, это смерть мысли. Произношение у него такое четкое, что Хамиду видится, как его голос рисует в воздухе ударения, венчающие каждое слово. Иногда он пытается говорить так же, подражая ему перед треснувшим зеркалом аптечного шкафчика.

Они с Жилем и Франсуа играют с возможностью противостояния, зная при этом, что не посмеют его спровоцировать. Они радуются рассказам о том, что могло бы произойти, упиваются, представляя себя потенциальными героями. Не произнеся ни единого слова против, они воображают, что учителя смотрят на них косо, что надзиратели их побаиваются, что их бунт читается как чистая и великолепная аура, исходящая от их созревающих тел.

Однажды на уроке английского, когда ученики должны по очереди спрягать неправильные глаголы и один из подростков то и дело запинается, учитель говорит:

– Послушай, Пьер, если Хамид это может, ты всяко должен суметь!

– Что это значит? – спрашивает Хамид.

Вопрос вырвался у него больше от неожиданности, чем от гнева. Он не хотел задавать его вслух, но по наступившей тишине и вытаращенным глазам товарищей понял, что слишком это большой вопрос, чтобы замять его. Учитель смутился, что-то мямлит, и в пространстве, освобожденном его пошатнувшимся авторитетом, Хамид продолжает:

– Что может араб, то, ясное дело, по силам французу? Если я это могу с моим недоразвитым мозгом африканца, то белый человек наверняка может лучше меня? Это вы хотели сказать?

Перед таким неуважением учитель, забыв о своей неловкости, восклицает:

– Ладно, хорошо, довольно! Теперь ты замолчишь!

– Вы расист, – говорит Хамид как может спокойнее, но голос его дрожит от гнева и страха.

Жиль и Франсуа в восторге подхватывают его возмущение. Они говорят куда громче, чем Хамид, видимо, наверстывая опоздание:

– Он прав, м'сье. Так нельзя!

– Это гнусно!

Еще несколько учеников поддерживают их и требуют от учителя извинений. Голоса нарастают, в них слышны нотки удивленной радости. Это скорее буза, чем революция, но учитель зол, растерян, паникует. Он повторяет «довольно» и «замолчите», но не может обуздать класс.

– Он подписан на «Минют» [\[58\]](#)! – вдруг со смехом кричит Франсуа.

– Вон из класса! – рявкает учитель. – Хамид, Жиль, Франсуа, вон!

Они покидают класс, смеясь, следом стайка их товарищей. Все вместе идут в ближайшее кафе и усаживаются, развалившись, за столиками, отбросив подальше ранцы, как будто сбрасывают с себя весь груз консервативного образования. Они убеждены, что «рвануло», счастливы, что в этом участвовали, у пива и «дьябло» [\[59\]](#) вкус шампанского. Девочки смотрят на мятежную троицу с новой нежностью, которая распускается в их глазах, как первые весенние почки.

– Мой старик устроит бемс, – морщится Жиль, откинувшись на стуле, – не думаю, что мои революционные подвиги ему понравятся.

Он рассуждает с понимающим видом человека, которого ни скандал, ни даже взбучка не смогут поколебать в его убеждениях. Он говорит это для девочек и их весенних взглядов. По той же причине (грудки, улыбки) Франсуа спокойно утверждает, что ничего не боится. В его семье Стефан первым натворил и не такого. Его родителей уже ничем не удивишь, роняет он с продуманной небрежностью. Для тех же девочек Хамид храбрится и старается сохранить безмятежное лицо. Он развалился на банкетке и зевает, показывая, что ему все нипочем. Его упавшая рука касается плеч, спины и талии Шанталь. Он делает вид, что это не нарочно, но неспособен воспользоваться ситуацией и тотчас убирает руку. Она смотрит на него с улыбкой, которая кажется ему насмешливой, он поспешно хватает стакан и пьет большими глотками. С девушками он всегда теряется. Одноклассницы и соседки из поселка слишком разных пород, чтобы одна могла дать ему урок – как действовать с другой.

Жиль ставит всем еще выпивку, желая продлить момент славы и присутствие девочек. Франсуа колеблется, смотрит на часы, но Хамид с энтузиазмом соглашается, бравирюя еще пуще: «Давайте, ребята, за здоровье наших бунтов!»

На самом деле он жалеет, что зашел так далеко, и сердит на друзей, что не остановили его, – они-то теряют меньше. Если его исключат из лица, он не знает, что сделает Али, – ему непонятны отцовские вспышки гнева, внезапные и нелогичные. Но и без этого он сам видит грозящие ему гибельные последствия: если он не сможет

сдать экзамены на степень бакалавра, вся его работа пойдет псу под хвост, держи курс на Завод. Лучше сдохнуть, думает Хамид, сжимая кулаки под столиком.

Дома он никому не говорит о том, что произошло в лицее. Он не знает, как отнесутся к его новоиспеченному бунту в лоне семьи, сможет ли она его разделить. Далиле пятнадцать лет, она влюблена, а ее кожа натянута и вздута прыщиками акне у висков, она зла на собственное тело, политика ее не интересует, или, по крайней мере, так думает Хамид, неспособный понять, что ярость сестры сама по себе уже бунт – бунт подростка, которому молчаливо запрещают всякое публичное проявление свободы, потому что подросток этот родился девочкой, а в тесноте домов, позволяющих соседям подсматривать друг за другом, «люди судачат», стоит девочке хоть в чем-то нарушить традиции. Кадеру тринадцать, электрическая энергия кипит в нем с такой силой, что мать вынуждена отправлять его побегать по кварталу почти каждый вечер, чтобы он мало-мальски угомонился. Сидеть тихо и слушать Хамида – это он выдерживает не больше двух-трех минут. Ему все время хочется играть, прыгать, лазить, гонять мяч. Остальные слишком малы: Клоду шесть, Хасену четыре, Кариме три, и есть еще новенькие, Мохамед отпраздновал свой первый день рождения, а Фатиха только что родилась. Хамид скорее отец этой малышне, чем товарищ по играм. Если он хочет дома поговорить о политике, остаются только родители, но Йема отмахивается – «Оставь меня в покое» – каждый раз, когда он задает вопрос о ее женской доле. Однажды она даже сказала ему:

– Это гадко. Сын не должен видеть свою мать как женщину, только как мать. Так что нечего об этом и говорить.

Хамид кружит вокруг Али, ему и хочется, и страшно. Но именно с ним его так и подмывает поговорить. Он никогда не спрашивал отца, что тот сделал, почему его семье пришлось бежать из Алжира. Он не задавался этим вопросом раньше, потому что выбор отца – это святое, и его слово закон для жены и потомства вне зависимости от причин его решения. Сын ни о чем его не спрашивал, потому что до сих пор внутренний запрет не давал ему усомниться в выборе отца, а стало быть, не позволял рассматривать иные варианты, задумываться, что было бы, займи отец другую позицию. Теперь же, когда Хамид

расчистил джунгли в себе, ему очень хочется знать, почему он приземлился в Пон-Фероне и что произошло в первой части истории, которую он забыл и уже не вспоминает даже в кошмарах. Однако он не решается задать теснящиеся в нем вопросы: боится открыть прошлое, которого не сможет простить. Хамид теперь за независимость, за любую независимость – особенно Вьетнама, южной частью которого позорно манипулируют Соединенные Штаты, чтобы была прибыль у их военно-промышленного комплекса, как объяснил им Стефан, – но он как-то вдруг стал и сторонником независимости Алжира. Право народов на самоопределение кажется ему столь очевидным, что он не понимает, как Али мог думать иначе, тем более находясь на стороне угнетенных. Кто, спрашивается, скажет, когда ему откроют двери тюрьмы: «Нет, спасибо, что-то не хочется, я, пожалуй, останусь здесь»? Что могло произойти в жизни его отца, чтобы он отвернулся от собственной независимости? Как можно *не вписаться* в такой важный поворот Истории?

Он дерзнул задать вопрос однажды вечером, как будто прыгнул ему на спину.

– Тебя принудили? – спрашивает он.

– Принудили к чему?

– Сотрудничать с французами? Они завербовали тебя силой?

Ему не хватает словарного запаса, чтобы беседовать о политике по-арабски, и он пересыпает свои вопросы французскими словами.

– Они тебе угрожали?

Али смотрит на сына, которому язык предков не дается, не по зубам, на своего сына, того, кто говорит на языке бывших угнетателей и при этом считает, что лучше понимает угнетенных. Это, наверно, вызвало бы у отца улыбку, если бы не задевало его лично. «Почему его гордыня еще столь же велика, как сам Алжир?» – спрашивает он себя, чувствуя, как лицо обагрилось краской гнева. Он молчит, только сжимает кулаки, пока они не становятся сгустками плоти и костей, в которых скопилось все его неприятие, а растерянный Али смотрит на них, как на что-то чужое, как на уже вынутое из ящика стола оружие, и боится того, что может произойти, потому что, если кулаки сжимаются невольно – как знать, на что они готовы; и, чтобы избежать худшего, чтобы заставить их повиноваться своей воле, а не глухой логике насилия, чтобы обмануть бдительность кулаков,

может быть, застигнуть их врасплох, он широким взмахом обеих рук сметает на пол книги сына, разбросанные по столу, бормоча сквозь стиснутые зубы: ты ничего не понимаешь, ты никогда не поймешь. На самом деле он тоже ничего не понял, и чувствует это, но не может согласиться: легче вспылить, надеясь, что однажды кто-нибудь угадает признание в его гневе. Нет, Али ничего не понимает: почему с него поначалу требовали доказать безусловную любовь к Франции, спрямив его биографию в угоду идеологии, и почему теперь его сын требует, наоборот, доказать, что он лишь подчинился вездесущему и всепроникающему насилию. Отчего никто не хочет оставить ему право сомневаться? Передумать? Взвесить все за и против? Неужели для других все так просто? Неужели только в его голове не находится единственного объяснения? До кучи он отшвыривает и клеенку, резко рванув ее на себя. Потом смотрит на оголившийся стол и на сына, словно говоря: вот что я из-за тебя наделал. Мальчик пятится, подбирает на ходу несколько книг и покидает гостиную со всем достоинством, на какое только способен.

– Черт, валите отсюда! – кричит Хамид младшим братьям, войдя в спальню.

Мальчишки играют в пиратов и берут на abordаж одну кровать за другой.

– Валите, вашу мать!

Клод и Хасен роняют вилки, служившие им саблями.

– Не смей так говорить с братьями! – рявкает Али из гостиной. – Они-то, по крайней мере, хорошие сыновья!

Йема из кухни откликается долгим жалобным речитативом. Кадер показывает старшему брату язык и убегает из спальни. Гневные вопли эхом разносятся по квартире. Дрожат гипсовые стены. Хамид бросается на кровать и думает, что отец – придурок. Он нарочно закинул ноги в ботинках на кричаще яркое покрывало с орнаментом тропического острова. Но проходит несколько секунд, и он их убирает, вспомнив, сколько Йеме приходится стирать изо дня в день.

Он зол и смущен тем, что сейчас, когда ему стал в общих чертах понятен политический расклад сил в мире, выбор его отца предстал не просто песчинкой, но каким-то смутным и нелогичным шариком, закатившимся меж страниц его книг. Ему хочется иметь таких родителей, как у Жиля и Франсуа, – с внятным образом жизни,

который можно отринуть целиком – крестьянская ли это ментальность или буржуазная. Ему же достался отец – не пойми что: он и хотел бы его защищать, да тот не желает, чтобы его защищали.

В голове у него как будто кто-то скребет ногтями по черной доске.

В эту ночь в душной спальне он слушает свистящее дыхание раскинувшихся вокруг маленьких тел (и ведь не подрочить, вспоминая Шанталь, нельзя вообще подрочить, это вечная проблема, причем все более тягостная, – одна из проблем бедняков; он не услышит о ней ни на каком политическом собрании, как будто никто не относится к этому всерьез, – а он наверняка же не единственный подросток, у которого желание, даже потребность в мастурбации, невозможной из-за тесноты комнат) и мысленно составляет пресс-релизы, где заявляет о полном и окончательном *идеологическом разрыве* с отцом, целиком и полностью *отмежевываясь* от его прошлого выбора. Товарищ Хамид вновь подтверждает свою поддержку и ангажированность в борьбе угнетенных против власть имущих на французской земле и во всем мире.

Когда вердикт по инциденту на уроке английского – который ученики называют «бунтом», а дирекция «скандальным поведением», – вынесен, Хамид уже привычным жестом забирает почту из ящика по дороге в лицей, подписывает за отца письмо с сообщением, что он наказан дополнительными заданиями до конца года, рвет конверт и выбрасывает его в мусорный контейнер. Он не испытывает ничего похожего на панику первого раза. Обманывать отца – тоже уже привычка.



Восьмого мая 1970 года, когда Хамид пытается читать «Капитал» по совету Стефана, а малыши помогают Йеме чистить картошку, по радио сообщают, что на магазин парижского ресторатора Фошона напал отряд маоистов. Хамид вскакивает и прибавляет громкость на максимум – только так можно перекрыть голоса братьев и сестер. Али нервничает и просит его перевести.

– Они ограбили дорогой магазин и раздавали еду на улице, – говорит Хамид, дрожа от возбуждения.

– Это бандиты, – отвечает отец, хмуря брови. – Им место в тюрьме.

Поднявшись с дивана, он выключает радио – жестом, не допускающим возражений. Йема и мелкие, кажется, ничего не видят кроме картошки. И снова Хамид чувствует, как отдалился от ретрограда-отца. Он утыкается в «Капитал», но текста не понимает, написано слишком сухо и строго, а ему так хочется полюбить эти рассуждения, что дистанция, сохраняющаяся между ним и Марксом, несмотря на все его усилия, просто невыносима. Он думает, что во всем виноваты теснота квартиры и большая семья, из-за них ему не дано сполна оценить «Капитал», они-то и раздавили своим весом все, что есть великого и прекрасного в этом мире. Никто не сможет проникнуться словами Маркса, если он окружен треском кипящего масла, смехом мелких, улыбчивым молчанием всегда пассивной матери и плохо скрытой агрессивностью отца.

Когда Йема спросила, как ему обед, Хамид буркнул в ответ, что не хватает соли, и, едва успев произнести это, сразу подумал, что нашел самую краткую и емкую на свете аллегорию. Весь остаток обеда он повторял про себя: «В моей жизни не хватает соли», мысленно чеканя каждое слово и никому не отвечая. Родители молча смотрели, как шевелятся его губы, и пожимали плечами. Наима в свои шестнадцать тоже будет восторгаться внутренними откровениями, не разделив их ни с кем, – они покажутся ей такими наполненными и плотными, что их будет достаточно, чтобы ее жизнь обрела смысл. А вот Хамид к тому времени забудет насыщенность чувств, свойственную отрочеству,

и, посчитав дочь трудным подростком, пожелает ей немножко повзрослеть.

В конце обеда пришли коллеги Али для «консультации» с его сыном. Мохтар, муж мадам Яхи (которого, как ни странно, никто не зовет месье Яхи), два брата Рамдана из корпуса С и толстяк Ахмед, который все меньше похож на американского актера и пришел просто за компанию. Пока Хамид пробегает глазами принесенные бумаги, Йема беспокоится, ели ли гости, и, не веря в их дружные кивки, бежит на кухню, которую только что покинула.

– Они не обедать пришли, мам, – бурчит Хамид, ему это не нравится, она и так устает.

Он добился от нее только «Как тебе не стыдно»: Йема никогда не отпустит на пустой желудок любого, кто зашел в ее дом во время трапезы – очень, кстати, растяжимое. И консультации Хамида сопровождаются звоном кастрюль и чавканьем. Пахнет кориандром, *рас-эль-ханут* [\[60\]](#) и толченым чесноком. Усы сладострастно подрагивают от запахов, доносящихся из кухни.

Мохтар хочет в следующем году просить пенсию, но понятия не имеет, сколько времени платил отчисления в пенсионный фонд. Он принес целую кипу платежек, которые Хамид изучает с озабоченной миной, обнаруживая бесчисленные пробелы в бумажной хронологии.

– Мы слишком долго работаем, – вздыхает один из братьев Рамдана: ему-то пенсия кажется далекой, как тихоокеанский пляж. – Все кишки они из нас вытянули работой.

Обступив склонившего голову Хамида, остальные устало и обиженно поддакивают. Мальчик поднимает глаза:

– А вы не думали о забастовке протеста?

Мохтар пожимает плечами: думать-то они думали. И не только о забастовке. Бывало, мечтали все на Заводе разломать, сбежать на электрокаре или, к примеру, запереть патрона. Мужчины за столом от души смеются. Все правда, все правда.

– Но забастовки и – как бишь это называется? – манифестации (это слово он говорит по-французски) больше для парижан, – заявляет Ахмед.

– Конечно нет, – отвечает Хамид. – Вы в числе самого эксплуатируемого населения страны. Вы имеете право протестовать!

Отец хмурится, но парень преодолевает страх и настаивает:

– Вы имеете право не соглашаться.

– С чем не соглашаться? – рассеянно спрашивает Ахмед.

Он переводит взгляд с Али, который молчит, стиснув зубы, на Хамида – тот сияет, плохо сдерживая восторг.

– Лично я не согласен с уймой вещей, – отвечает один из братьев Рамдана с энтузиазмом человека, у которого список обид всегда наготове в кармане пиджака.

– А у тебя и левая рука не согласна с правой, – подсказывает Мохтар.

Остальные издевательски хохочут, но Али все так же мрачен.

– И все-таки, – вступает младший из Рамдан, не давая сбить себя с толку, – было бы хорошо, если бы что-то изменилось. Я вот хотел бы пойти на повышение. Видеть больше не могу, как даже последний придурок из руми может дорасти до мастера, а мы – увы.

– А травмы на производстве, – подхватывает его брат, – надо бы им уделять больше внимания. Когда работаешь с металлом, такое случается то и дело.

Мохтар поднимает над столом растрескавшуюся худую руку, на которой не хватает пальца. Он шевелит култей, и Хамиду становится противно.

– Начальство, – говорит Мохтар своим усталым голосом, – выставляет нас дураками всякий раз, когда мы поранимся.

– Дураками? – ухмыляется один из братьев. – Какой ты добренький. Лентяями – да. Или лжецами!

– Сами бы работали на сварке, если это так легко! – добавляет второй. – Вот уж уступил бы им местечко...

Тут Ахмед вслух представляет, что сделает в панике патрон, случись ему поработать на станке. Он подражает его певучему, всегда корректному голосу, показывает, как галстук затягивает в шестерни, и тоненько вскрикивает от ужаса. Даже Али чуть расслабился и рискнул улыбнуться. Йема приносит на стол тарелки с дымящимся рагу и золотистый диск огромной лепешки, которую мужчины тут же начинают рвать на куски.

– Травмы бывают от усталости, – объясняет младший Рамдан Хамиду, все еще украдкой поглядывающему на четырехпалую руку

Мохтара. – Надо, чтобы нам сократили часы на станках. Если бы я объявил забастовку, то потребовал бы этого.

– А я, – говорит Ахмед с полным ртом, – потребовал бы настоящий обеденный перерыв. А то у нас не перерыв, а недоразумение! Вздохнуть не успеешь – изволь вкалывать дальше.

– Мы составим коммюнике, – решает Хамид и тут же берет лист бумаги и ручку. – В письменном виде вы сможете подать его дирекции.

Он уже мысленно рассказывает Стефану, как объединил пролетарские силы Нормандии своим огненным словом. Пусть он не понимает «Капитал» – в этом, оказывается, ничего страшного нет. Он вопрошает взглядом сидящих в гостиной мужчин, готовый записать любые их требования. Старший Рамдан, как у них водится, повторяет слова брата. Ахмед настаивает на важности полноценного перерыва, но уже колеблется, не сводя глаз с ручки. Али отворачивается, не говоря ни слова.

– Лично я, – вздыхает Мохтар, – буду доволен, если смогу получить пенсию. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

После ухода гостей Хамид помогает Йеме убрать со стола, потом опускается на стул напротив отца, который по-прежнему молчит. Список требований лежит между ними на столе. В левом углу маленькое бурое пятнышко соуса. Несколько секунд они сверлят друг друга взглядами, потом Али в лоб спрашивает сына:

– Почему тебе так нравится, когда мы возмущаемся? Ты хочешь, чтобы мы потеряли работу?

Юноша отвечает тем же сухим тоном:

– Вас не уволят только потому, что вы чего-то требуете. Это будет незаконно.

– Вот как...

Али это любопытно. Он вспоминает далекие времена в сказочном королевстве в горах, когда он сам был патроном. Он увольнял тех, кому случалось спать под оливами, тех, кто грубил женщинам, тех, кто крал, тех, чьи глаза казались ему вороватыми. Он тогда имел все права. В конце концов, это были его поля, его деревья. Почему же французские патроны готовы так ограничить себя в правах?

Назавтра Али отправляется на завод, как обычно, в машине Мохтара. Приехав, оба поднимаются в секретариат, стучатся в дверь,

и Али, робея, выпаливает единым духом:

– Здравствуйте, мы с требованиями.

Секретарша вздыхает, снимает крупные клипсы, обрамляющие ее лицо, массирует двумя пальцами мочку уха и спрашивает со вздохом:

– Да что на вас всех нашло?

У Али есть ответ: сыновья.



Глядя в землю или на руль, крестьяне обрабатывают соседние поля, и тарахтящие тракторы под их управлением штурмуют округлые бока холмов. Лежа на высокой копне соломы, подальше от чужих глаз, Хамид курит косяк с Жилем и двумя его кузенами. Эти парни – намного старше их – ему не очень нравятся, они смотрят на него как на диковинку, зовут за глаза «арабом» и постоянно расспрашивают о жизни в Пон-Фероне, как будто речь об очень далеком или тщательно огороженном месте, куда им путь заказан. Но Жиль, который с ними вырос, еще видит в них товарищей по детским играм и говорит, что они «славные ребята». И потом, травка-то сегодня есть у них. Хамид старается выносить их, не морщась (он знает, что, если начнет нервничать, косяк только усилит раздражение, и оно перерастет в паранойю). Закрыв глаза, повторяет про себя, что ему хорошо. Он чувствует кожей солнце и едва уловимое колыхание соломы, когда кто-то из них ворочается. Он в своей замке, в соломенной башне. Вокруг расстилается зеленая, тучная Нормандия, которую никогда не выжигает солнце, а по другую сторону дороги коровы, неспешные, как доисторические животные, медленно бредут вдоль ограды, жуя жвачку.

Мальчики только что сдали экзамены на степень бакалавра и ждут результатов в почти безмятежном оцепенении. Они помогают, когда могут, отцу Жилия на ферме, чтобы накопить денег на будущие каникулы, а в остальное время ищут местечко, где бы прилечь и хорошенько помечтать об этих каникулах. Франсуа с ними нет, родители держат его взаперти и заставляют повторять материал к устным экзаменам, которые ему наверняка придется сдавать, ведь его успехи в учебе слабы. Стефан на сей раз не вступился за младшего брата. По телефону он вздохнул:

– Не будь придурком, тебе только дай волю... оно тебе надо – лишний год в лицее? Старик делает как тебе лучше.

Июньское солнце припекает. Мальчики чувствуют, как стекают под мышками капли пота, и их впитывает солома. Эта щекотка украдкой обещает им лето. Все же у Хамида не совсем спокойно на

душе. Будь здесь Франсуа, у них была бы травка, а будь у них травка, не пришлось бы терпеть общество кузенов. Так что Франсуа им не хватает втрое – думает Хамид, – отсутствие друга помножено на два тягостных последствия. Жиль не так сентиментален, он считает, что временное заточение Франсуа – что-то вроде расплаты за его буржуазность, а за нее рано или поздно все равно предъявят счет.

Один из двух кузенов вдруг привстает на локте – на самом деле двигается он очень медленно, но это происходит ни с того ни с сего, что создает впечатление внезапности, – смотрит на Хамида и спрашивает:

– А твой отец взял вас с собой, когда приехал работать во Францию?

Вопросы о настоящем они исчерпали. И теперь хотят копнуть прошлое.

– Да, – говорит Хамид, у него не хватает духу в который раз объяснять, что его отец не рабочий-иммигрант, а француз.

– Хорошо, хорошо...

Хамид протягивает ему косяк, надеясь, что на этом он и остановится, но тот, глубоко затянувшись, продолжает, еле ворочая языком и старательно выговаривая слова:

– Так оно все-таки человечнее. Потому что... пусть говорят, что хотят, но как посмотришь, какая прорва арабов приезжает сюда вкалывать и оставляет в деревне жен и детей... не захочешь, а подумаешь, что у этих людей другое понятие о любви, чем у нас. Как будто они вообще не знают, что это такое. Ведь если бы они любили своих жен и детей, как мы, то не выдержали бы такой долгой разлуки с ними, а? У меня только что родился первый пацан, представить себе не могу, что не увижу, как он растет. Вот я и думаю, раз они могут это вынести, значит, сделаны из другого теста. У них нет чувств, ясное дело. Но твой отец хороший мужик. Он поступил как... цивилизованный человек. И потом, он показал, что доверяет Франции, понимаешь?

Жиль медленно поворачивается на своем соломенном ложе и бросает на Хамида сочувственный взгляд – красными от косяка глазами. Тот тоже садится и мерит взглядом двух кузенов, устроившихся на снопе повыше.

– Это довольно удивительно... – начинает Хамид (и когда он театрално выдерживает первую паузу, Жиль делает вид, что падает замертво от скуки). – Удивительно, как поступки людей из «зоны» – а они так поступают, потому что у них нет выбора, потому что они бедны, да, бедны как церковные мыши, – становятся в глазах антропологов-любителей вроде вас доказательством того, что они по природе своей другие. *Им* нужно не то же, что нам. У *них* особое понятие о комфорте. *Они* любят жить в своем кругу. Ты думаешь, нам нравится набиваться в тачку ввосьмером? Думаешь, нам приятно знать, что наши матери никогда не переходят через насыпь, отделяющую нас от центра города, потому что они боятся того, что за ней, даже после того как прожили здесь десять лет? Думаешь, нам нравится носить одежду из синтетического дерьма, которая рвется на ходу? Думаешь, нам нравится, что Йема покупает нижнее белье партиями по пятьдесят штук, и мы все, и младшие, и старшие, и мальчики, и девочки, носим одни и те же трусы?

Один из кузенов хихикает, эта картина его очень забавляет. Она напоминает ему совещание братьев Далтонов [\[61\]](#).

– Ну конечно, – продолжает Хамид, – я понимаю, вам легче думать, что таковы алжирские обычаи, чем согласиться, что эта страна считает жителей «зоны» неполноценными гражданами.

– Недогражданами, – задумчиво бормочет Жиль.

С тех пор как Хамид познакомился со Стефаном, с тех пор как открыл для себя политическое слово или, может быть – это уж и вообще анекдот, – с тех пор как выступил против учителя английского, его отношение к французскому языку изменилось. Теперь владение французским для него – это уже не польза, не уважение и даже не камуфляж, но удовольствие и сила. Он говорит, будто каждый раз начинает читать поэму, будто видит, как пишутся или печатаются стихи на странице сборника его лучших мыслей. Когда он говорит, это одновременно он сам и его ликующее потомство. Он упивается этим мостом, который перебрасывается над временем, когда открывается его рот. Жиль прозвал его Тысячегорлым.

Его тирада не производит впечатления на ненавистных кузенов. Она теряется в дыму от косяка и облаках над головой, проплывающих мимо в форме животных. Но для Хамида она написана где-то лучезарными буквами – *мектуб* отца он понимает ровно наоборот: не

расшифровывает шаг за шагом судьбу, уже написанную в небесах, но пишет настоящее как историю, которую прочтут века грядущие. В этом периоде жизни у него немного материала для сочинения блестящих эпопей – он это сознает, – но скоро диплом бакалавра будет у него в кармане, и он свалит отсюда. Зачем – сам еще не знает, но он будет далеко. Только это и важно. И глава, которую он откроет, уехав, начнется большой и затейливой миниатюрой – вроде тех, что венчают новую букву в старом словаре, подаренном ему учителем начальной школы.



Ночь, глухая и непроглядная ночь, когда не различишь, что там, наверху, совсем близко в черном просторе, небо или невидимая крона деревьев. Ночь тиха и глубока, и маленькая машина Жилия едет по дорогам, которые разматываются по два метра в свете фар.

Вдруг яркий свет прорезает плотную черноту: желтый, оранжевый, красный – они разрывают ночь языками пламени и снопами искр.

– Там! Огонь! Огонь! Бери налево!

Кричит Кадер – довольный донельзя, что первым увидел. Жиль повинуется, и огонь приближается, огромный, урчащий. Высокий костер, зажженный в Ночь святого Иоанна, вскоре заставляет их забыть, как они битый час плутали и неловко разворачивались в поисках танцплощадки на Красивой ферме: им сказали, что эти танцы – лучшие в здешних местах. Когда их глаза привыкли к мучительному сиянию пламени (костер называется «шарибода», этому слову научил их отец Франсуа, когда соглашался отпустить сына, и они с напускной важностью повторяют его), они различают светящиеся гирлянды на вершине барной стойки и прожектора, освещающие танцпол.

Они выходят из машины, наспех припарковав ее на обочине. Взяв Кадера за плечо, Хамид отводит его в сторонку и повторяет:

– Не позорь меня, ладно?

– Ты мне это уже десять раз говорил, – стонет Кадер.

Сотня человек собралась вокруг костра, у бара и у оград. Здесь тела всех форм и всех возрастов. Однако Жиль, Франсуа, Хамид и Кадер видят только девушек. Некоторых уже позолотило первое июньское солнце, другие выставляют напоказ еще белые после зимы ноги, снежно-белые тросточки. Свет играет золотым каскадом в их растрепанных шевелюрах, и, когда они кружатся под музыку, волосы всегда чуть отстают, хлещут по губам и глазам шальными прядями и прилипают к потному лбу. Музыка сменяется экспромтом, то Клод Франсуа, то Тьефен или Дилан. Иногда слышен треск неплотно прилегающих проводов и громкое урчание генераторов. Танцы

довольно жалкие, и все же, возникший из ниоткуда и так долго чаемый, четверем мальчикам открывается рай. Кадер ослеплен.

– Сегодня вечером, мой маленький мусульманин, – твердит развеселившийся Жиль, – ты впервые напьешься.

– Прекрати, не доставай его.

Поначалу Хамид пытается запретить Кадеру подходить к стойке. Он перехватывает стаканы, которые Жиль или Франсуа хотят ему передать. Но сам столько пьет за младшего братишку, что воля его слабеет. Очень скоро все четверо пьяны и счастливы.

В ту пору своей жизни – это Наима знает благодаря единственной фотографии, где он стоит у подъезда многоквартирного дома, – Хамид ходит с роскошной африканской стрижкой. Худой, стройный и увенчанный этой угольно-черной сферой, он носит красные брюки-клеш, оранжевую безрукавку и белую рубашку с большим воротником. Снимок сделан издалека, и он похож на маленькую куколку – эмблему диско. Бог диско. Даже не различая его лица, Наима знает: он очень красив.

– Когда я впервые его увидела, – сказала Кларисса, мать Наимы, – я подумала, что он похож на Диониса.

– А на кого похож Дионис?

– О... – смутилась удивленная Кларисса. – На твоего отца.

Хамид-Дионис, впервые-напивающийся-Кадер, наконец-свободный-Франсуа и Жиль энергично танцуют под песню «Лед Зеппелин». Ревет усиленная батареей электрогитара, а голос Роберта Планта как болид с эпилептиком за рулем. Музыка возбуждает их, играет на нервах. На краю танцплощадки группка их ровесников, скривив губы, смотрит, как они танцуют. Когда кончается транс и снова звучит Мишель Дельпеш, танцоры, смеясь, направляются к барной стойке. Резко встряхивая головами, они рассыпают вокруг капли пота, осевшие на длинных волосах. Следом за ними снимается с места и группка наблюдателей. Их пятеро, они идут, расставив ноги, как ковбои из вестерна – или будто еще не привыкли ходить, сойдя с мопедов. Один из парней встает вплотную к Хамиду у буфетной стойки, заказывает кружку пива, весело выкрикнув имя бармена, потом, даже не поворачивая головы к соседу, роняет:

– Эй, Мохамед, а ты знаешь, что это католический праздник?

Хамид вздрагивает, озирается. Только теперь он понимает, что они с Кадером – единственные арабы на танцах в Ночь святого Иоанна. Странно: обычно он осматривается раньше. Он выработал в себе что-то вроде автоматического радара, который включается, стоит ему куда-то войти, и дает полную картину смешанной публики. Сегодня он почему-то забыл. Слишком радовался, что они наконец приехали. Инстинктивно он отступает на два шага и вытягивает перед собой руки, давая понять, что не хочет драться. Иногда этого хватает. Но сегодня парни явно не намерены оставить их маленькую компанию в покое. Они не агрессивны, не трогают их, не толкают, но уж очень им хочется высказать все начистоту. И не важно, что Хамид и трое его спутников ушли с танцплощадки к стойке, а от стойки за пластиковый стол: парни следуют за ними, как пришитые.

– Вы – перекаати-поле, вас всем жаль. А нас захватили, и никому нет дела. По-твоему, это нормально?

Они употребляют слова, которые ранят и хлещут, чтобы создать иллюзию гнева, но на самом деле им здесь смертельно скучно. Танцевать с девушками неохота, они их всех знают и уже получили от них больше, чем достаточно, – и приязни, и презрения. Музыка они не любят. Пиво – моча, да и только. Они умирают от скуки, и им на пользу разозлиться или хотя бы сделать вид – в трепетной надежде, что, может быть, что-нибудь произойдет.

– Эй, буньюль, я с тобой разговариваю! Тебя не учили уважать белых? Кто тебя кормит, твою мать?

Первым ударил Хамид. Он и хотел бы утверждать обратное, но взлетел его кулак. Парни бьют, возможно, сильнее и метче, но хронология ударов неумолима. Это он первым сделал им подарок, дав волю рукам. Жиль тотчас следует за ним со злобной радостью человека, уверенного в своей силе. Разогретый алкоголем Кадер тоже не медлит. Он много суетится, но не умеет целиться, поэтому больше бит, чем бьет, но все равно издает боевой клич, ведь это его первая драка. Франсуа в роли тяни-толкая: он не хочет драться, только разнять, ищет пространства, которые можно расширить, ловит движения, достаточно медленные, чтобы их остановить. Но и его миротворческая миссия не защищает. Он тоже получает свою долю тумачков – и ему тем больше, что он не хочет давать сдачи. Что делает

противная сторона, я толком не знаю. Но парни бьют, и бьют жестко, это точно. Они оставляют отметины.

Наутро, несмотря на все ухищрения, Хамиду не удастся скрыть рассеченную бровь, а Кадеру – разбитый нос и лиловые синяки под глазами. Когда родители требуют объяснений, Хамид пожимает плечами и отвечает, что он тут ни при чем, просто французы расисты, эти, во всяком случае, точно, как будто они хотят быть единственными французами на свете, только они пятеро, и никто больше. Поставив чашку на стол, он кладет руки плашмя и являет всей семье полную картину своей окровавленной брови. Он думает, что родители поймут его, надеется на сочувствие, каким встречают любую боль в этом доме, но Али швыряет ему в лицо кусок хлеба и кричит, что он идиот. Конечно, есть расизм, а он как думал? Вишь ты, открытие сделал – а чего ждал? Вот и оставался бы среди своих, если не хочет нарваться, чем мотаться по округе и таскать за собой младшего брата. Кадер, ни слова не говоря, утыкается в кружку с кофе.

– Что, думаешь, расизм сделает, если ты будешь сидеть дома? В окно влезет? Оставь расизм французам, не выпендривайся. Вот и все. А то твоя сестра, смотри, крутит с руми...

Далила, услышав обвинение, встает из-за стола с видом оскорбленной королевы. Али продолжает, даже повышает голос, чтобы ей было слышно из спальни:

– Она думает, я не вижу, как он поджидает ее за детской площадкой. Неприятностей ищет на свою голову. Что она себе думает? Что мать парня будет рада невестке-алжирке? Почему вы нарываеетесь на оплеухи, а? Вы все ослы. Я от вас устал.

У него и правда усталый вид. Махнув рукой, он дает понять, что закончил. Йема убирает со стола, накрывает завтрак для мелких, которые скоро встанут. Хамид и Кадер идут принимать душ и, раздеваясь, с каждым движением открывают новые синяки и ссадины.

– Он думает, что он еще в Алжире, – ворчит Хамид, трогая синяки на ребрах, – думает, можно жить каждый в своем углу. Он ничего не понимает. Плевать я хотел на его угол, не нужен мне его угол.

Струя воды заглушает брань, сорвавшуюся с языка. Кадер ждет своей очереди, пританцовывая на полу ванной комнаты. Ни одному из них не приходит в голову приобщить Далилу к утреннему скандалу,

так же как ни один из них – хоть они и убеждены, что открыты всем современным новшествам, – не пригласил ее на вчерашние танцы.

В кухне Али сидит неподвижно и молчит. Трубы в ванной урчат так, что сотрясаются стены. Он знает, что ему не удержать детей подле себя. Они уже ушли слишком далеко.

Им не нужен мир их родителей, тесный мирок, квартира – завод, квартира – магазины. Мирок, едва приоткрывающийся летом, когда они навещают дядю Мессауда в Провансе, и снова замыкающийся после одного солнечного месяца. Мирок, которого нет, потому что это Алжир, которого не существует или вообще никогда не существовало, – Алжир, воссозданный на обочине Франции.

Они хотят жить, а не выживать. И прежде всего хотят, чтобы не надо было больше говорить спасибо за крохи, которые им даны. Вот что у них было до сих пор: жизнь из крох. Он не сумел дать своей семье большего.



Босые ноги – в фонтанах у Сакре-Кер, руки роются в ящиках с подержанными книгами на бульваре Сен-Мишель, тело нежится на лужайках Тюильри, силуэт затерялся среди туристов, фотографирующих Лувр еще без всякой стеклянной пирамиды, залиvistый смех на концертах в задних комнатах баров, в висках стучит боль от выпитого и от солнца, карманы оттягивают подарочки, которые он покупает для братьев и сестер везде, где бы ни был, дорожная сумка оклеена стикерами, уши полны рева моторов, Хамид вовсю упивается Парижем. Он хотел бы ввести его себе под кожу, он любит его, он влюблен в этот город, ему и в голову не приходило, что так бывает, и он не хочет больше его покидать. Здесь все памятники знамениты, а лица безымянны. На фотографиях и в фильмах Париж как будто принадлежит всем, и Хамид, нырнув в него, понимает, что скучал по нему, даже еще не побывав здесь.

Он хочет ощутить каждый миг этого города, выходит в разное время, старается застать его спящим. Он заморожен тем, что среди ночи в любом квартале все прогулки всегда приводят его к освещенному окну, за которым кто-то живет своей жизнью, а он о ней ничего не знает. Франсуа, привычный к столице, и Жиль, которого пушками не разбудишь, с ним на ночные гулянья не ходят. Он наедине с загадочными окнами. Ему хочется петь серенады. Он чувствует связь со всеми неспящими, Париж принадлежит им.

Квартира Стефана, двухкомнатная мансарда под самой крышей близ арки Страсбург-Сен-Дени, идеальна для студента. Для трех парней в поисках приключений она малость тесновата. Жара в ней невыносимая. Ребята ходят пригнувшись и трогают рукой балки, чтобы убедиться, что они на достаточном расстоянии от их голов. Книги высовываются из-под кровати, где хранит их Стефан. Душевая кабина – просто диковинка: она в чуланчике, выходящем в кухню. Нет ванной комнаты, чтобы укрыть ее от глаз. Дверь открывают, чтобы войти прямо под душ, и так же выходят, нет тамбура, где можно завернуться в полотенце. Троица мало-помалу привыкает к этому

странному расположению, вынуждающему их выходить нагишом на глаза тому, кто варит кофе или сливает спагетти. Они даже в чем-то рады случаю показать друг другу свою наготу, одновременно стесняясь ее и гордясь ею. Выставление напоказ – закамуфлированное стыдливостью – их еще мальчишеских ягодичек и уже мужских причиндалов сродни клятве в дружбе. Впервые они сталкиваются с наготой другого, именно другого, не братьев и сестер, которые суть плоть от плоти и, стало быть, свое продолжение, не девушек, которые суть территория завоевания и притворства за неимением знания дела, а просто с инаковостью, на которую можно смотреть и перед которой можно показываться, сознавая, что происходит что-то важное, что такое доверие им предстоит разделять нечасто, а в нежном соревновании нет ничего плохого. Жиль и Франсуа посмеиваются над обрезанным пенисом Хамида. Он в ответ издевается над их бесполезной крайней плотью, висящей как унылая труба.

Перед отъездом в Италию Стефан оставил им список адресов: кафе, рестораны, штаб-квартиры ассоциаций, где встречаются друзья, все центры политических дебатов. Он не знает, что, окончив лицей и избавившись от ощущения учебы как тюрьмы, трое ребят стали – вдруг – меньше интересоваться ниспровержением общества. Они все же ходят туда – хотя бы просто увидеть других людей, а не только туристов, заполонивших Париж летом и уродующих его каскетками и фотоаппаратами, как жир застит черты лица. Хамид и Жиль ревнуют Франсуа, который всем пожимает руки и усиленно делает вид – для них, – что он здесь свой человек. Они обнаружили, что анонимность большого города, даруя им освобождение, при этом парадоксально требует иметь такие места, куда можно приходиться и чувствовать себя своим.

В компаниях, оставшихся летом от дискуссионных групп, городских ассоциаций, племен сквоттеров и профсоюзных собраний, они и проводят каникулы, а в промежутках пьют пиво на террасах и играют в футбол в парках, где сторожа свистят им и гоняют, но без особого энтузиазма из-за жары. Они проводят несколько никчемных вечеров со студентом-мифоманом, которого встретили на скамейке где-то на Монпарнасе, он обещает познакомить их с Бурдьё [\[62\]](#), а потом исчезает в переходах метро «Барбес» одной особенно душной ночью. Они клят парижанок, потому что это парижанки, но, заговаривая с

ними, не могут не извиняться за то, что живут в никому неизвестном департаменте Орн. Они часто добавляют себе лет, чтобы не признаваться друзьям Стефана, что еще ходили в коллеж в мае 68-го, когда те захватили Сорбонну, ломали мостовые в Латинском квартале, горланили у Одеона, а теперь заплотонили аллеи и скамейки Венсенского леса. Они помогают устроить барбекю в общежитии для рабочих-иммигрантов в пригороде и становятся свидетелями спора, которого не понимают, о месте религии в организации «Симад» [\[63\]](#). Это название, всплывшее впервые за десять лет, ненадолго возвращает Хамида к палаткам, шатающимся под трамонтаной, ко временам, когда во время раздачи пищи он стоял по другую сторону стола. Он теряется, но слабо и упрямо улыбается миру, который кружится вокруг него и вовлекает в хоровод с теми, кто протягивает тарелки, они, я, они, я... Хорошенькая волонтерка гуманитарной ассоциации усаживает его на пластиковый стул. Он не разжимает губ – еще расплывшихся в бледной улыбке, – и она говорит за двоих. Он засыпает на ее плече, а диспут продолжается поодаль. Назавтра он рассказывает Жилью и Франсуа: они с девушкой отошли в сторонку, чтобы... ну, вы понимаете – подмигивает, – и что он взял ее телефончик.

У друзей создается впечатление, что Хамид имеет большой успех. Стоит им попасть на вечеринку или в дискуссионную группу, как он первым оказывается в окружении девушек. Жиль и Франсуа бросают на него завистливые взгляды, недоумевая, что такое он им сказал. Сами они робеют перед столичными феминистками, не знают, как к ним подойти. Хамид же ищет их общества. Они, как и он, несут на себе дополнительный изъян в глазах общества, потому что женщины. Разговаривая с мужчинами о дискриминации и несправедливости, он часто видит, что те все-таки белые самцы: пусть они молоды, пусть пролетарии – но уже принадлежат к тем, кто доминирует в этом обществе. Они забывают, что с внешностью Хамида все не так. С девушками он понимающе рассуждает, они говорят о взглядах, которые сразу разоблачают: девушкам не нравятся слишком вызывающие взгляды на их груди, а ему – на его смуглую кожу. Говорят о невозможности замаскироваться перед врагом, хоть ненадолго, о том, что им хочется порой дезертировать с этой вымотавшей их войны. В редких случаях Хамид под занавес целует собеседницу в губы, но чаще дружеская рука гладит его по плечу, и это

его вполне устраивает. Квартира слишком мала, философски думает он. Ложась втроем в спальне Стефана под открытой настелью форточкой, Жиль, Франсуа и он вызывают призраки девушек, шепотом повторяя их имена, и видят проскользнувшие в темноте прямо к ним улыбки и платья.

Однажды вечером Франсуа – потом он будет уверять, что так вышло второпях, но Жиль и Хамид поймут это как горделивый эксгибиционизм или, еще того лучше, неловкую попытку разделить удовольствие на всех, – Франсуа задержался на несколько часов и вернулся с девушкой, лица которой друзья так и не увидят. Две фигуры на цыпочках крадутся сквозь черноту спальни и наощупь ложатся в постель.

Жиль и Хамид делают вид, будто спят. Они слышат тихий смех, вздохи девушки, ее испуганный шепот: «Что ты делаешь?» (Жиллю приходится закутить простыню, чтобы не рассмеяться) – дыхание все чаще, хлюпающие звуки прижавшихся друг к другу тел, вскрики, пыхтенье, имя их друга, повторяемое как заклинание, сдавленные хрипы и финальный выдох облегчения. Когда они проснулись, девушка уже ушла, а Франсуа курит сигарету в круглое кухонное окошко, и на его лице, словно боевая награда, сияет широкая улыбка. Их память сохранит, что в ту ночь любовью занимались все трое, хотя ни Жиль, ни Хамид так и не знают с кем.

Недалеко от дома Стефана есть дымное кафе, цены там такие расчудесные, что мальчики практически поселились в нем, добавив к тесной квартирке дополнительную гостиную, где не так душно. Хозяин – кабил из Форт-Националь [\[64\]](#) в шляпе джазового музыканта, с луженой глоткой и широкой улыбкой. Если мальчики не пообедали (что случается часто, питание в их бюджете – статья второстепенная), он наполняет три глубокие тарелки блестящими солеными орешками и ставит перед ними на стойку. Он называет это «рагу бедняка»:

– Потому что желудок худо-бедно наполняет, зато глотку сушит так, что поневоле истратишь последние гроши на стаканчик.

Мальчики подолгу сидят в кафе, и он рассказывает им, что приехал с родителями в начале 1950-х, застал славную пору бидонвилей Нантера, нищету и грязь у ворот Парижа. Он бахвалится, давая понять, что состоял несколько лет в уличной банде, а потом остепенился и «взял» этот бар. Слово он произносит так, будто

событие близко к взятию Бастилии. Когда ему случается перебраться, на него внезапно накатывает ностальгия, и он уверяет Жюль и Франсуа, что его родной край – лучшее место в мире. Он описывает белые крыши, олеандры, крутые склоны, заросшие столетними деревьями, и постоянно спрашивает Хамида: «Скажи, не вру?» Его описания скорее напоминают юноше пыльные открытки, чем реальные воспоминания, но ему нравится бар и шляпа патрона, поэтому он энергично кивает: да-да, ведь Кабилия ему хорошо знакома. Однажды вечером, под похвалы родному краю, слегка ошалев от нескольких кружек пива, Хамид наивно отвечает на вопрос, когда он приехал во Францию:

– В шестьдесят втором.

Улыбка под шляпой мгновенно исчезает. Лицо хозяина замкнулось. Хамиду хочется поймать, вернуть ненароком вылетевшие слова. Он нервно улыбается Жюлю, который ничего не понимает. Позже отец научит Наиму никогда не отвечать на этот вопрос, если она не хочет, чтобы вся история ее семьи ухнула в брешь, открытую роковой датой.

– Что он сделал, твой отец? – сурово спрашивает патрон.

Вопрос тем больше задевает Хамида, что ответа у него нет. Не политический подтекст, агрессивный и тягостный, разозлил его, а то, что собеседник спрашивает, вот так, в лоб, о том, что скрывается за молчанием Али, которого Хамиду так и не удалось пробить. То, что он растоптал годы его сомнений, бесплодные попытки поговорить с отцом, ссоры, – то, что на деле-то он проявляет то же неведение, и без того ранящее так больно.

– А ты? – отвечает он, сознавая, что защищает отца, по крайней мере, так должно казаться. – Что ты сделал такого славного во время войны?

Он сам не знает, почему готов стать адвокатом выбора Али. Совсем не о том хочется ему поговорить. Хамиду надо бы согласиться с патроном, вспомнить все коммюнике, составленные в комнате мальчиков, которыми он – хотя бы только для себя – дистанцировался от истории отца. Но не получается, ни одна из формулировок, столько раз повторенных когда-то, не идет на ум, и он может только, подражая собеседнику, задавать желчные вопросы. К несчастью для него, хозяин бара в 50-е, еще подростком, носил опасные чемоданы, и теперь очень этим гордится. Он рассказывает о пачках банкнот в портфелях,

которые доставлял из квартиры в квартиру, о полицейских кордонах, которые его ни разу не задержали, о том, как подвергал свою жизнь опасности ради нарождающейся страны. Вот что он делал во время войны. Два клиента у барной стойки устраивают ему овацию и ладонями изображают барабанный бой. Подальше, в глубине зала, польские строители жонглируют подставками под пиво, и до разговора им нет никакого дела.

– Твой отец продал родину, – говорит героический кабил стиснувшему зубы Хамиду. – Он предатель.

Жиль делает другу знак, что надо уходить. Франсуа уже на улице, курит сигарету, внимательно разглядывая один за другим фонари, как будто играет в «Найди семь отличий». Но Хамид не хочет покидать бар: злословить об его отце – только его право, и больше ничье. Чистенькие и упорядоченные воспоминания патрона выводят его из себя – в его-то памяти война осталась лишь мутным туманом. Легко защищаться, когда помнишь. Слишком легко.

– Ты, не предавший Алжир, – кричит он прямо в полускрытое шляпой гордое лицо, – скажи-ка мне, когда ты в последний раз там был, а? Говоришь, что алжирец, а сам уже двадцать лет здесь. Почему ты себе лжешь? Потому что вернешься туда умирать? И что тебе с того? Тебя съедят алжирские черви, а ты уже и рад.

– Да, я рад! – кричит патрон, багровея. – Потому что у меня, по крайней мере, есть родина!

Хамид насмешливо хлопает в ладоши:

– А живешь ты нигде. Ты не живешь здесь, потому что отворачиваешься от всего, что происходит, ты же алжирец, и до Франции тебе нет дела. Но ты ничего не делаешь и для Алжира, потому что слишком далеко. Твоя жизнь – всегда «завтра», всегда «там»!

Патрон что-то отвечает, но Хамид его не слушает. Он нарочито отворачивается и берет валяющуюся на стойке газету. Делая вид, что просматривает ее, он устало машет рукой бармену, как будто разговор его больше не интересует. Он знает, что надо расплатиться и покинуть кафе. Но, открыв спортивную страницу, он, не удержавшись, поднимает голову и машет газетой перед носом патрона.

– Следить за результатами футбольных матчей между двумя командами из кабильской дыры с твоей парижской стойки – это, по-

твоему, называется быть алжирцем?

Его и Жилия выкидывают из бара патрон с двумя вышибалами – под залпы ударов и звон опрокинутых кружек. Когда их толкают к двери, они пытаются ответить тычками через плечо, наобум. Но их бесцеремонно вышвыривают на тротуар, где мальчишки, падая, цепляются за стулья. Те приземляются с металлическим грохотом, и редкие прохожие на улице ускоряют шаг. Франсуа, подбежавший им помочь, получает удар плечом в грудь и падает на двух друзей, смешно и по-детски вскрикнув.

– Твою ж мать! – орет Жиль под неожиданной тяжестью.

Когда они, постанывая, поднимаются, патрон выплескивает на них из дверей содержимое большого таза для мытья посуды. Вода серая с красноватым отливом и жирная. Мягким всплеском их окатило с головы до ног.

Мокрые и вонючие, они бредут по улицам Парижа и не могут найти бар, где бы им согласились подать последний стакан, который им так нужен. Они кружат вокруг площади Республики, идут вдоль канала Сен-Мартен, спускаются к Шатле. В ночных парках на скамейках темные силуэты, слышен шепот и звон стекла, но они боятся зайти за ограду и присоединиться к ним. На улице Сен-Дени, улице красных фонарей, их впускают в одно заведение, но наштукатуренные лица женщин в неоновом свете им противны – маски людоедок, готовых попить. Они разворачиваются и направляются к дому Стефана. Их плечи опущены, тела сложились, как слишком долго используемая карта. Хамид украдкой поглядывает на двух друзей и не может истолковать их молчание. Слышен только шорох их подошв, которые трутся о бетон и отдирают жевательную резинку. Гаснут окна, металлические шторы опускаются повсюду на пути. Прежде чем подняться в квартиру, они садятся на ступеньки станции метро выкурить по последней сигарете.

– Знаешь, – говорит Жиль, – это все-таки круто. Ходить с тобой – значит нарываться на мордобой и от французов, и от алжирцев.

Он сплевывает на тротуар розоватую слюну, окрашенную кровью.

– Здорово повеселились!

Его блестящие глаза говорят, что это не совсем ирония.

– Горе побежденным, – лаконично комментирует Хамид.

– Горе твоей тысяче глоток, – отвечает Жиль и дает ему дружеского тычка.

– Вы придурки, – улыбается Франсуа.

От их одежды разит болоньеze и пивом, душок смешивается с запахами раскаленного асфальта и парами бензина. Они рассматривают барельефы на воротах Сен-Дени, где разыгрываются неизвестные им битвы, воспетые в камне длинными надписями на латыни. Парижской летней ночью они сидят втроем, безразличные к полученным побоям или даже, наоборот, счастливые от полученных побоев, ведь это приключение еще сблизит их, как одно из тех событий, что почти сразу превращаются в основополагающие воспоминания, и они будут рассказывать об этом снова и снова, подтверждая сплоченность группы.



Лето 72-го почти кончилось, когда Хамид встретил Клариссу. В квартире Стефана мальчики уже не разбрасывают свои вещи повсюду. Они кидают их поближе к дорожным сумкам: скоро домой. И начинают говорить о сентябре, как будто это уже завтра, а не в будущем, таком далеком, что все в нем возможно.

В этот вечер они идут на праздник, который студенты Школы изящных искусств устраивают на складе заброшенного вокзала в предместье. Под металлическими арками, в вечернем свете, таком тусклом сквозь мутные стекла, Хамид видит ее в первый раз. Ее зажал между стеной и шаткими мини-холодильниками, какой-то тип, кое-как заgrimированный под Уорхола, который бросает ей упреки: она-де плохая феминистка, если выбрала рукоделие, традиционно отведенное женщинам.

– Но мне это *нравится*... – раздраженно отбивается Кларисса.

– Все хотят тебя убедить, – отвечает псевдо-Энди.

Он продолжает доказывать ей, что она неправа, приводя массу примеров и цитат, и не замечает, что его собеседнице все скучнее. Она вертит головой, вздыхает, прикидывает, как бы выбраться из-за разноцветных холодильников, и встречает взгляд Хамида, робко крадущегося к запасам пива. И тут она улыбается ему во весь рот, отстраняет собеседника, как будто вспомнила о неотложном деле, и бросается ему на шею с возгласом: «Я тебя ждала!» Хамид принимает игру, притворяется старым другом и отводит ее подальше. Позже, когда они будут это вспоминать, она скажет с гримаской, показывающей, что сознает всю комнатную температуру такого романтизма (но все же надеясь, что он его с ней разделяет):

– А может, я и правду сказала – может, я только тебя и ждала.

Улизнувшая от парня с обесцвеченными волосами Кларисса извиняется, что так прилипла к Хамиду. Он не понимает, смущена она или шутит: она употребляет слова «ужас», «жуть» и даже «до смерти», выпаливая их быстро-быстро и не переставая улыбаться. Девушка много говорит, словно хочет как можно скорее создать между ними близость, оправдывавшую ее первый порыв. Она рассказывает, что ее

затащила сюда Вероника, соседка по квартире, та-то встречается здесь со своим дружкой, а вот она жалеет, что пришла. Она терпеть не может студентов Школы изящных искусств, которые смотрят на нее свысока. Сама она уже два года учится на курсах искусств и ремесел, близ Фийдю-Кальвер.

– Им до безумия противно, что слово «искусство» есть в названии обеих наших школ. Хотят мне доказать, что только они этого заслуживают. Ну и ладно, пусть говорят что хотят, я в долгу не останусь...

И потом она произносит фразу, озадачившую Хамида, – но говорят, что любопытство и есть первая стадия любви?

– А мне все равно, что я просто хорошая девушка, – говорит она.

Кларисса занимается ткачеством, шитьем, рисованием, раскрашиванием, лепкой, готовкой. Ее руки делают с этим миром все, что она хочет, какой бы материал ей ни дали. У нее нет других претензий, и это уже очень много.

После хэппенинга – в котором, как они, смеясь, признаются друг другу, оба ничего не поняли, – они решают покинуть склад. Тряский автобус везет их в центр Парижа. Она живет в районе Бастилии – повторяет это несколько раз, как будто вдруг испугалась, как бы он не увез ее далеко от дома, или сама боится забыть. Однако, выйдя у Лионского вокзала, вместо того чтобы направиться к ее квартире, они идут к Сене. В сумрачном, словно уже состарившемся свете фонарей они доходят до темной ленты реки и направляются вниз по течению, на запад. Они сами не замечают, как легко их руки ложатся на камни длинной стены: десять лет назад на ней чернели буквы:

ЗДЕСЬ ТОПЯТ АЛЖИРЦЕВ [\[65\]](#)

Она идет на несколько шагов впереди, помахивая сумкой, похожей на пляжную, в ней только две банкноты по десять франков и пачка сигарет, и сумка в ее руке извивается как рептилия. Он идет следом, засунув руки в карманы. Когда она останавливается, делая вид, будто увидела что-то интересное на берегу внизу, он подходит и утыкается головой в ее плечо (они почти одного роста). Обнять ее он не решается. Вдыхает запах ее шеи, волос, тепло ее кожи. Неподвижные

до судорог, они смотрят, как крыса терзает упаковку из-под печенья на широкой мостовой.

– Ты меня поцелуешь? – спрашивает Кларисса, как предлагают сигарету.

И тогда он думает, что у них, наверно, разные понятия о том, что такое *хорошая девушка*.

В последние дни августа Жиль, Франсуа и он пакуют чемоданы в квартирке Стефана, уже глядя на нее с ностальгией, как на театр пьесы, которую им никогда больше не сыграть. «Лето в Париже». На перроне они взволнованно обнимаются. Жиль и Франсуа садятся в поезд, набитый туристами, покидающими столицу. Жиль едет работать официантом в отель в Гранвиле. Франсуа поступает в университет в Кане, на факультет биологии. Хамид остается. Он решил не отвозить свой багаж в Пон-Ферон. Он оставит его в квартире, которую Кларисса делит с Вероникой. Они почти не расставались после первого поцелуя на берегу Сены десять дней назад, и когда она предложила ему остаться у нее после лета, он сказал да, не раздумывая, наверно, просто размышлялся, вообразил, что это возможно. Кларисса улыбнулась, тихо сказала: «Отлично» и заговорила о другом. Для нее все было так просто, что и он раз в жизни готов поверить, будто так и есть.

В фильме Арно Деплешена «Как я обсуждал... (свою сексуальную жизнь)» – который Наима будет регулярно пересматривать много позже со своей подружкой Соль – у Жанны Балибар есть великолепная реплика с подтекстом: «Это легко для вас, кого жизнь щадила». Хамид испытывает нечто подобное, когда смотрит, как живет Кларисса. Его желание быть как она иногда окрашено обидой, но чаще он восхищается ею и старается ей подражать.

Когда Хамид сообщил по телефону родителям, что остается в Париже, сердце его так же бешено колотилось, как в тот раз, когда он впервые скрыл содержание письма из школы. Это решение, которое он принял, не посоветовавшись с ними, – лишнее разобщение семьи. Он, однако, знает, что должен принять его сейчас, что, если он вернется, если столкнется с веселым племенем своих братьев и сестер, которыми всегда занимался, у него может не хватить мужества (эгоизма?) оставить их снова.

– Что ты будешь делать? – спрашивает Кларисса.

– Работать, – отвечает он.

Она морщится. Это слово само по себе не представляет никакого интереса. Просто работать – это лишь механика для получения денег. Без увлечения. Без огонька.

НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ

гласило другое граффити на стенах столицы несколько лет назад. Это-то она читала, и оно ей нравится.

– Это не проблема, – уверяет Хамид. – Всю жизнь я был на это запрограммирован. И потом, я не собираюсь жить за твой счет...

Кларисса настаивает, пытается его убедить, что необходимости нет, что он может учиться. Она говорит о людях, томящихся на заводах, хотя знает об этом меньше него, о тех, для кого работа – бессрочное наказание. Смеясь, будто это непристойный стишок или грубое слово, которое ей нельзя произносить, она цитирует Маркса: надо подняться на штурм неба. Тогда-то, наверно, Хамид и влюбился по-настоящему, когда понял, что для Клариссы он имеет право быть большим – как все.

В следующие недели он влюбляется все сильнее – буквально падает в любовь. Любовь – бесконечный туннель, он похож на тот, что вел Алису в Страну чудес. Он, однако, ждет, ищет у Клариссы изъян, который остановит или замедлит его падение, но не находит и падает, с испугом, с восторгом, с удивлением. Она ни в чем не меняется с того дня, как они поселились вместе. Он не выносит перепадов, которые отмечал раньше у других девушек, например, подружек Франсуа. Едва отношения становятся мало-мальски серьезными, куда только деваются прелестные и полные жизни партнерши первой поры. Они начинают ныть и дуться, превращаются в капризных детей, привлекающих внимание бесконечными жалобами или внезапными командами. Кларисса же остается равной себе, девушке с набережной Сены в ночь их встречи, как будто думает, что быть чьей-то подружкой не дает никаких особенных привилегий, или ей не нужно сбрасывать никакую маску, нет никакого болота, в которое она могла бы спокойно погрузиться. Кларисса кремень, она цельная, вся из одного куска.

Когда он в первый раз приезжает во Флер, у него на языке только одно: «Кларисса сказала», «Кларисса думает».

– Да кто она, эта девушка? Колдунья, что ли? – недоверчиво спрашивает Йема.

Кто она, эта девушка? Хамид часто задает себе этот вопрос. Он изучает ее в надежде найти хоть подобие ответа. Он мог бы вечно смотреть, как она живет, и никогда не заскучать. Мог бы часами сидеть в темном кинозале перед фильмом, в котором будут лишь крупные планы ее рук и лица.

У Клариссы короткие волосы, шелковистый ежик. У Клариссы голубые глаза с темно-синими точками. У Клариссы ямочка только на одной щеке. Кларисса носит его футболки и джинсы, а он надевает одежду Клариссы.

– Ты такой худенький, – шепчет она восхищенно, – ты красивый, как девушка.

Он смакует этот комплимент – скажи такое кто-нибудь в Пон-Фероне, это прозвучало бы оскорблением, – и неожиданная фраза звенит у него в ушах.

У Клариссы молочно-белая кожа. Иногда они соединяют руки или ноги, чтобы оценить цветовой контраст.

Кларисса – его сила, его позвоночный столб. Рядом с ней он может сбросить до последнего клочка свою роль старшего брата, главы семьи, он ведь этого никогда не хотел. Она не ждет от него никакого авторитета, никакого покровительства, ни даже – это его всегда удивляет – советов:

– Я знаю, что делать, – часто говорит она, когда он предлагает варианты решения какой-нибудь ее проблемы.

– Тогда зачем ты мне это рассказываешь?

– Поделиться, – отвечает Кларисса весело, как будто проблема – пирог, который она вынула из духовки.

Рядом с ней он волен размышлять, никуда не спешить, бездействовать. Он говорит себе, что любой человек в общении с Клариссой размечтался бы стать артистом и вообразил, что это возможно. Ее иерархия занятий не такая, как у простых смертных – во всяком случае, у тех, с кем Хамид общался до сих пор. Кларисса свободна – как тот, кому не внушали, что он должен быть лучшим, но призывали найти то, что он любит.

Он все же встает на учет в контору, предоставляющую временную работу, и пересекает город, чтобы сдать внаем свои руки на несколько часов или несколько дней – как его отец в ту пору, когда река еще не принесла ему пресс, когда он был еще всего лишь безземельным крестьянином, как и Юсеф, вечно искавший работу на склоне горы. Времени, которое он проводит с Клариссой между подработками, достаточно, чтобы не чувствовать, что вся жизнь сводится к физическому труду. Она учит его рисовать. Он рисует Клариссу. Учит его вырезать. Из куска марсельского мыла он вырезает Клариссу кончиком сверла. Учит его лепить. Он месит красную глину, чтобы воспроизвести изгиб ее бедер. Потом они приходят к согласию, что фигурка похожа поочередно на цаплю, Жоржа Марше [\[66\]](#) и кита, проглотившего Иону.

– Наверно, это не твое, – утешает его Кларисса.

Она говорит это с верой человека, знающего, что у каждого есть свое и Хамид свое скоро найдет.

С ней он открывает другой Париж, не тот, что летом: теперь это город старьевщиков, ремесленников и материалов. Кларисса обожает Блошинный рынок в Сент-Уане. Она собирает старые вещи, и ее умелые руки возвращают их к жизни. Когда Хамид пошел с ней туда в первый раз, ему показалось, что вдоль улиц разложено имущество только что обобранных трупов. Все пахнет человеческой кожей. Ему непонятно, зачем люди хотят унаследовать от незнакомого тела одежду или мебель. Глядя на вещи, выставленные на тротуаре, прямо на земле или на одеялах, он вспоминает те кипы одежды, что привозили в лагерь Ривезальт грузовики гуманитарной помощи, и отвращение хватало его за горло. Кларисса непременно хочет сделать ему подарок и настаивает, чтобы он что-нибудь выбрал, делать нечего, и он решается на старый комикс про Тарзана, на обложке которого Король джунглей летит на лиане над горящим поездом, сошедшим с рельсов на краю пропасти (беда не ходит одна). Его рука дрожит, когда он начинает его листать – в глаза бросаются ХА и ААААААХ его детства.

– Все хорошо? – спрашивает, встревожившись, Кларисса.

На стенах их комнаты висят фотографии, на них она в разных возрастах, улыбающаяся, замурзанная, в слезах. Он – лишь на нескольких недавних снимках, как будто родился в двадцать лет. О прошлом и особенно о первых годах во Франции он ничего ей не рассказывает. В ответ на ее вопросы только пожимает плечами, улыбается, меняет тему. Иногда ему кажется, что он похож на отца, невольно жертвуя обязательствам *сабра* ^[67]: усмиряй бури в своей душе, запрещай языку жаловаться, не царапай себе щеки, когда жизнь посылает тебе испытания. Эта мысль ему не нравится, и он усиленно ищет другие оправдания своему молчанию: это-де может смутить Клариссу. Она пожалеет его. Она вдруг поймет, какая между ними пропасть. Разве та, кого жизнь щадила, может понять перемолотого ее лопастями?

Дважды в неделю он ходит звонить из кабинки на углу. Обычно в ней разит мочой. А иногда разит смертью, и он спрашивает себя, возможно ли, что ночью кто-то заполз туда умирать, как больное животное. В квартире телефон находится в комнате Вероники. Хамид не хочет, чтобы видели, как он превращается в мальчишку из Пон-Ферона. Ни Кларисса, ни ее подруга не поймут его разговоров на арабском, но ему кажется непристойным показаться им в другой своей ипостаси. Парижская квартира не место для его языка, в ней он создает себя заново.

Хамид спускается в вонючую кабинку; сквозь четыре стеклянных стенки он ловит взгляды прохожих. Он звонит с регулярностью механизма, в одни и те же дни недели, в одни и те же часы, и собственное чувство долга его поражает. Семья использует разлуку как тетрадь жалоб: все ссоры с соседями, проблемы в школе у мелких, дурное настроение Далилы, которая хочет сбежать, как сбежал он, но родители заставляют ее окончить лицей, спортивные успехи Клода – он выиграл марафон, но тренер отказался послать его на региональные соревнования.

– Хорошо, – говорит он, толком не слушая, – хорошо.

Как и прежде его отец, он больше не понимает свою семью, но не расстался с ролью патриарха.

После нескольких недель на временной работе в Социальном страховании в качестве «техника по сложным почеркам» (титул завораживает его, он чувствует себя Шампольоном перед Розеттским камнем, но на деле вынужден просто раскладывать папки) ему предлагают пойти на ускоренные курсы.

– Ты, наверно, замечательно раскладываешь эти папки, – мечтательно говорит ему Кларисса, – раз тебя заметили так быстро.

Хамид с радостью соглашается, он уверен, что его во время такого обучения ждет если не интеллектуальное развитие, то, по крайней мере, возможность общения на долгий срок – тогда вся тяжесть его одиночества не будет так давить на Клариссу. Он иногда встречается со Стефаном, но тот обращается с ним скорее как с младшим братишкой, чем как с другом, не замечая, что Хамид с конца лета ощущает себя новым человеком и упоминания прошлой жизни его задевают. Жилю и Франсуа он посылает откопанные в ящиках со старьем на дорогах сердцу Клариссы блошиных рынках открытки, на которых запечатлены места их парижской эпопеи: не памятники, а улицы, площади, парки, кусочки ночи, лужицы фонарей. На обратной стороне он пишет несколько лаконичных слов, и ему хочется, чтобы они звучали таинственно и по-взрослому. Он скучает по друзьям и, хоть сам себе в этом не признается, по братьям и сестрам тоже. В любом месте ему кажется пусто, когда в нем не звучит неумолчный гомон их криков и смеха. Он даже ловит себя на мысли о кое-каких лицах в Пон-Фероне – он-то думал, что забыл их, едва успев уехать. Даже не люди приходят ему на ум, но расположение групп у подъездов многоквартирных домов, эта уверенность, что, возвращаясь в квартал, он найдет такого-то тут, а другого там, эта успокаивающая география незыблемых мест общения. От вальса лиц на парижских улицах у него кружится голова. Здесь – вечное движение с взаимозаменяемыми прохожими, среди которых выныривают там и сям зыбкие знакомые силуэты: киоскер, старушка, читающая «Пари-Матч» за одним и тем же столиком кафе, консьерж дома напротив, пьяница, отдыхающий после обеда в автоматической прачечной...

Он начинает узнавать тех, кто учится вместе с ним по вечерам, в том числе таких, о ком подумал с первого взгляда, что они ему неинтересны, слишком похожи на свои рубашки, чистенькие, блестящие, тщательно отглаженные. Задерживается выпить с ними

пива. В группе две девушки с Мартиники с библейскими именами и один – с Корсики, усиленно подчеркивающий в себе все корсиканское. Они спрашивают, откуда он, и когда Хамид говорит, что он из Нижней Нормандии, все делают вид, будто этого и ожидали.

Начинает он узнавать и компанию Клариссы и Вероники – странную смесь хороших девушек, согласных быть хорошими, и парней, мечтающих быть плохими. Бывает, что ему кажется: это из-за него, из-за его прошлого, ими самими выдуманного, друга Клариссы строят из себя крутых, раздувают или даже измышляют стычки, из которых якобы только что вышли победителями, как будто пытаются превратить свою мирную жизнь в джунгли, похожие на их фантазии о жизни Хамида.

Как-то вечером одна из девушек проводит, хихикая, пальцами по его курчавым волосам:

– Как пена, – смеется она.

Он втягивает голову в плечи, не смея протестовать. Рука задерживается, играет, блуждает в его густых кудрях. Ему жарко. Все на него смотрят. Он заставляет себя не двигаться.

– Прекрати, – сухо велит Кларисса подруге.

Та, растерявшись, убирает руку. Она не понимает реакции Клариссы. Потом она с сокрушенным удивлением будет рассказывать, что та ревнует. После ухода друзей Кларисса говорит, надеясь утешить Хамида:

– Когда я остригла волосы совсем коротко, так делали все.

Он делает вид, будто принимает параллель, хотя между их ситуациями нет ничего общего. (Много лет спустя Аглая, самая младшая из сестер Наимы, вызовет скандал за семейным обедом, надев футболку с надписью «Твоя рука в моих кудрях, моя рука на твоей морде».)

Он слушает шумы большого города, влетающие в приоткрытое окно, скрип тормозов, ночные разговоры, музыку далекого соседа, щебет птиц, которые, ошалев от городского освещения, не знают, когда спать. Париж за окном огромен, но той восторженной любви, что он питает к нему, недостаточно, чтобы устранить горькое чувство одиночества.

Впервые с ним нет никого, с кем он мог бы разделить память о прошлом. Его самым далеким воспоминаниям с Клариссой всего

несколько месяцев, и они уже затерли их до дыр, силясь восстановить их встречу секунда за секундой, чтобы проникнуться ее магией. Того, что с ним было до того вечера на складе, не знает в Париже никто. Покидая Пон-Ферон, Хамид хотел стать чистым листом. Он думал, что сможет создать нового себя, но иногда ему становится ясно, что нового его создают одновременно все остальные. Молчание – не нейтральное пространство, это экран, на который каждый волен проецировать свои фантазии. Он молчит – и есть множество версий, которые не совпадают между собой и, главное, не совпадают с его собственной, но живут в мыслях других.

Чтобы быть уверенным, что его поймут, он должен рассказать. Он знает, что Кларисса только этого и ждет. Беда в том, что рассказывать ему совсем не хочется. И она с тревогой смотрит, как он дрейфует по морю молчания.



– Я не могу сказать тебе по телефону, ты должен приехать, – отрезал Али.

Хамид слышит далекий голос матери, которая просит его и ласково уговаривает. Добрый полицейский и злой полицейский, их дуэт он знает как свои пять пальцев. Но вонь в кабине сегодня решительно невыносима, и ему не терпится ее покинуть. Он соглашается приехать на следующие выходные, вешает трубку, выходит наружу и, сделав два шага, наконец вдыхает полной грудью.

– Можно мне с тобой? – спрашивает Кларисса.

Поколебавшись, Хамид качает головой.

– В следующий раз, – предлагает он.

Знай Кларисса кабийский, она ответила бы словами Йемы: *Аука д ауква*, завтра будет могила.

– Может быть, его родители хотят, чтобы он женился на девушке с родины? – предполагает Вероника.

Кларисса пожимает плечами. Ну и что? Родители всегда так делают. С тех пор как она ушла из дома, мать успела найти для нее двух адвокатов, врача и преподавателя математики из Дижона.

– А ты познакомила с ней Хамида? – спрашивает Вероника, заранее зная ответ.

Кларисса цедит сквозь зубы, что если он не хочет знакомить ее со своими родителями, то и она не представит его своим. Она цепляется за этот «баш на баш», чтобы не задаваться вопросом, по какой причине никогда не упоминает о существовании Хамида при своей семье. Она так тщательно обрабатывает мир своими руками, что это часто помогает ей избавиться от назойливых вопросов, не идущих из головы. Однако ей так и не удалось полностью обуздать свои мысли, и обрывки ответов возникают, медленно ворочаясь в голове в ожидании, когда у нее хватит мужества рассмотреть их и обдумать. Ее дядя Кристиан проходил военную службу в Алжире и привез оттуда череду наименований для местных, которой, кажется, нет конца: *черножопый, бико, чумазый, фатма, мукер, крысеныш, мохамед, феллуз...* Он

перечисляет их забавы ради, слегка вызывающим тоном, и родители Клариссы хмурят брови, но никогда она не слышала, чтобы они осуждали его за это. Она, однако, не думает, что они *расисты*, это ужасное слово остается для нее далеким, оно относится к нацистам в форме, к горстке скинхедов, готовых на все, лишь бы отличаться от хиппи, да к новой партии, гонящейся за голосами, главой которой недавно стал Жан-Мари Ле Пен. Проблема не в том, что Хамид чужак: наоборот, приехав из Алжира, он уже принадлежит – и ничего с этим не поделает – к истории Кристиана, к истории семьи Клариссы, и в этой книге он не из хороших персонажей. Нужно, чтобы Кларисса смогла написать палимпсест [\[68\]](#), чтобы под ее историей любви с Хамидом исчезли более давние записи Кристиана. Но сможет ли – она не знает.

Поезд катит среди зеленых полей, а по ним двуцветными пятнами движутся коровы. Хамид не обращает на них внимания, как и на попытки соседа завязать разговор: все, что не Кларисса, ему скучно. Он не понимает, почему должен служить семейным секретарем теперь, когда уехал (на вечерних курсах это называют «увольнением по личным причинам»). Он боится, как бы это не означало, что ему никогда окончательно не покинуть Пон-Ферон, и это первое вынужденное возвращение уже представляется ему константой на ближайшие годы. Хамид в дурном настроении, и родителям придется заплатить ему за все, о чем они его даже еще не просили.

Когда он усаживается за стол в гостиной и Йема ставит перед ним «рожки газели» – печенье, от которого белеют губы и пальцы, – Али кладет между ними большой конверт и нерешительно показывает на официальную печать алжирского правительства. Это из-за нее они не решились попросить прочесть им письмо ни соседей, ни мелких – мелкими Хамид всегда называл только самых младших братьев и сестер, но для Али и Йемы это все дети, кроме старшего, и поэтому-то они никогда не будут до конца взрослыми и ответственными.

Хамид вскрывает конверт и достает оттуда разноцветные бумаги, лист за листом, не позволяя себе смотреть на них, пока не разложит все на столе. Присланные документы на двух языках, арабском и французском, каждый текст стремится к противоположному полю,

словно они горделиво игнорируют друг друга, замкнутые в своих системах письма, ни в чем непохожих.

«Внемлите, внемлите, – раздается внутренний голос детства, когда Хамид начинает читать содержимое конверта родителям: – Настоящими документами и во имя Аграрной революции господин Али обязан официально оформить передачу своих земель тем, кто их обрабатывает». Он с трудом находит верные слова на арабском для перевода официального языка, но Али и Йема быстро понимают, о чем идет речь, и растекаются лужицей. В письме от них требуют уступить оливы, фиговые деревья, дом и склады продукции Хамзе и семье Джамеля. Революция считает, что собственности больше нет, есть только право пользования. Кто землю пашет, тот ею и владеет – вот так просто. Али должен к тому же отказаться от части своих полей, так как их площадь больше, чем разрешено новой аграрной политикой. Излишки будут переданы сельским кооперативам, после чего их раздадут *хаммесам*, крестьянам, которые слишком бедны, чтобы купить землю, и до сих пор платили ренту собственникам за право обрабатывать свои наделы. (Документы, которые читает Хамид, на самом деле суше – это Наима, после изысканий, разукрасит голоса Революции.)

В выдвижном ящике шкафа-чудовища Йема хранит ключи от старого дома и сарая. Ее первый рефлекс – достать их, как будто письмо требует, чтобы она отослала домой ключи, которые повсюду были с ней. Она смотрит на них и сжимает в пухлом кулачке, не говоря ни слова. Не то чтобы она думала, что они ей когда-нибудь понадобятся, но эти бесполезные брелоки на обтрепанной веревочке по сию пору подтверждали их статус собственников, она знала, что там, за Средиземным морем, есть поля, которые принадлежат им и, может быть, ждут их – как ждали и они сами, не предпринимая ничего, не двинувшись с места.

Хамид видит, в каком отчаянии его крошечная мать и постаревший отец, но сам не разделяет их горе. Он может лишь поддержать принципы аграрной реформы, нечто подобное он читал в книгах, которые давал ему Стефан. Он пытается объяснить родителям, что они помогут сделать мир справедливее, но Али пожимает плечами, а Йема смотрит в сторону. Хамид меняет тему: своих полей они не видели десять лет. Какая разница, принадлежат они им, брату отца или

издольщику? Что им до них? Он настаивает, потому что отлично знает, что его родители бессильны против наступления Революции. Официальная вежливость письма никак не маскирует отсутствие альтернативы: поля все равно отберут.

– Тебе нечего будет завещать своим детям, – печально говорит Али.

Хамид смеется. Ему трудно представить, зачем его гипотетическим детям могут понадобиться плантации олив и фиговых деревьев, расположенные за две тысячи километров отсюда.

– Твой отец посадил эти деревья для тебя и для них, – укоряет его Йема. – Ты ничего не понимаешь.

Он столько раз слышал эту фразу, что даже не задумывается и не ищет в себе сочувствия. Его родители тоже многого не понимают, однажды он представит им длинный список.

– Отлично, – говорит он с вызовом, – деревья мои, и я возвращаю их Алжиру. Все довольны.

Взяв с этими словами ручку, он получает последнюю в своей жизни затрепину. Али привстал и нанес ему удар с другой стороны стола, особенно тяжелый от неудобной позы. Его большая рука попала прямо в челюсть.

– Имей уважение, – рычит он. – Хоть немного уважения.

Хамид чувствует, как боль разливается от челюсти по всему лицу. Он прикусил язык, идет кровь, во рту привкус железа. Йема тотчас приносит ему мокрое полотенце. Он не замечает ни ее заботы, ни ее смятения. Поднимает упавшую на пол ручку и подписывает документы за отца с победоносной яростью.

– *Ли фат мет*, – говорит он, оттолкнув бумаги на середину стола.

Слова всплыли из давней поры и возвращают его к далеким временам. *Ли фат мет*: прошлое умерло. Хамид только что подписал акт о его кончине. Он покидает квартиру, не переночевав, хотя обещал эту ночь матери и мелким.

Он слышал, как плакала Йема, когда он хлопнул дверью, – этот странный звук, похожий на воркование голубки, который она издает, когда рыдает, – но не дал себе расчувствоваться. Юноша идет по кварталу большими шагами, опустив голову, ни с кем не здороваясь. Он клянется себе, что больше сюда ни ногой, и много месяцев будет

держат обещание. (Али, со своей стороны, тоже не предупредит сына, когда поедет в следующем месяце в Париж.)

Теперь Хамид будет взвешивать каждый километр между ним и Пон-Фероном. На вокзале он долго ждет поезда, который отвезет его в Париж, пересекая в обратном направлении скучные поля, на которые он дулся несколько часов назад, а теперь наслаждается их зеленым простором, зная, что больше ему его не пересечь.

Хамид возвращается затемно. На челюсти след от удара уже посинел. Он снимает пальто и ботинки в тесной прихожей, делая вид, будто не замечает встревоженных взглядов Клариссы.

– Что случилось? – спрашивает она наконец.

– Я не хочу об этом говорить.

Она настаивает. Следует за ним, когда он идет в ванную, в спальню, в кухню. Говорит, что она имеет право, потом поправляется – ей нужно, просто нужно знать, пожалуйста. Ей униженно умоляет, чтобы добиться хоть какой-то правды. Она продолжает только потому, что начала, и не может сейчас думать ни о чем другом, не может даже помолчать (вот помолчать уж точно не может). Она загораживает ему дорогу в коридоре, и он жестко спрашивает, почему ее так интересуют его семейные дела. Это для нее экзотический фольклор?

– Предупреждаю тебя сразу: верблюдов там нет!

У Клариссы начинают дрожать губы, лицо морщится. Хамид зажигает сигарету и молча курит, не глядя на нее.

– Извини меня, – говорит он наконец.

Засыпая рядом с ним, подальше от его рук, насколько позволяет ширина кровати, она раздумывает, не уйти ли от него. Нельзя – говорит она себе, – быть влюбленной в чье-то молчание, это бессмысленно. Ей бы наплевать на то, о чем молчит Хамид, и рассудить, что его прошлое совсем не то что их настоящее и он волен делать с ним что хочет. Но ей кажется, что он носит его в себе, всегда, и прошлое влияет на него, на них, поэтому она не может считать его закрытой книгой. Прошлое Хамида видится ей скорей уж его тайной жизнью, параллельной времени, которое он проводит с ней. Это больнее, чем другая женщина, думает она, или скрываемое постыдное пристрастие, – больнее просто потому, что это дольше длится и с каждой секундой их жизни он молча проживает двадцать запретных

для нее лет. Может быть, да, думает Кларисса, ворочаясь на простынях, о которые трется так, что они, кажется, уже обдирают ей кожу, – может быть, надо от него уйти. Но когда она смотрит на него спящего и представляет себе, что видит в последний раз его лицо, его закрытые глаза, его худую грудь, мерно вздымающуюся от ровного сонного дыхания, ей сразу хочется заплакать, такие мысли терзают ей сердце как рука людоеда, так думать нельзя. Что же ей делать? Она решает остаться, но рассказывать ему меньше, тоже держать в тайне кое-что из собственных мыслей, воспоминаний, свершений. Решает установить между ними равенство, которое, может быть, позволит ей хотя бы терпеть молчание Хамида.

Утром, проснувшись, он видит, как Кларисса на него смотрит. Что-то в ее лице его пугает – он угадывает ночные решения, запечатленные в морщинке меж бровей, в чуть опустившихся уголках рта. Он и рад бы с ней поговорить, но ни одна из его тысячи глоток не готова открыться, ни одна не обучена близости. И он вновь закрывает глаза, так и не сказав ни слова.



– Кто это?

Голос на том конце провода отвечает по-кабильски. Кадер передает трубку отцу, сказав коротко:

– Моханд.

Кадер не знает, кто этот человек, он не может помнить товарищей по Ассоциации в Палестро, но по лицу отца видит, что этот звонок – сюрприз.

– *Саламу Эликум*, – говорит Али, взяв трубку.

Он ничего не добавляет, ни «сколько лет, сколько зим», ни «что тебе нужно?». Он слушает Моханда, который рассказывает, что он во Франции, в Лионе, у племянника, но планирует поехать на Север, повидаться с кузенами. Может быть, они могли бы пересечься.

– Конечно, – отвечает Али. – Встретимся в Париже.

Он говорит это так, будто Париж – соседний городок, хорошо ему знакомый, куда он часто ездит.

– Не надо тебе с ним видеться, – говорит Йема. – Он мерзавец, душегуб.

– Он наш земляк, – отвечает Али.

Если бы послание Аграрной революции не спровоцировало ссору между отцом и сыном, которая еще сгустила разделяющее их молчание, Али, может быть, предложил бы Хамиду присоединиться к ним и смог бы, устами Моханда, вернуть сыну маленький кусочек навсегда покинутого Алжира. Может быть, Хамид узнал бы в Моханде одного из гостей, приглашенных на его обрезание, и был бы рад его видеть. И, может быть, тогда он рассказал бы Наиме о человеке, живущем по ту сторону моря, которому хватило мужества, прозорливости или удачи сражаться на правильной стороне. Но Али слишком горд, чтобы сделать первый шаг и связаться с сыном. И он отправляется один на встречу, которая – не напиши я о ней – канула бы с его смертью в безвозвратное забвение.

В условленный день Али надевает свой лучший костюм (это его единственный костюм) и садится в поезд до Парижа. Он встречается с Мохандом на Монпарнасском вокзале. Тот ждет его на продуваемом

всеми ветрами перроне в своем лучшем пальто (это его единственное пальто). Мужчины неловко пожимают друг другу руки. Они не виделись больше десяти лет. Им уже по пятьдесят, и у них седеют волосы, каждый всматривается в лицо другого в поисках помет времени, которые они неспособны разглядеть в своем отражении, и оба идут, приосанившись, пытаясь походить на полузабытое воспоминание.

Али, будучи французом, смотрит на Моханда как на туриста, а стало быть, ему самому надо прикинуться парижанином. Он тычет пальцем в памятники, которые, вообще-то, для него все одинаковы, и думать перед ними он может лишь об одном: далеко ли отсюда живет его сын? Знаком ли ему этот вид? Они гуляют, почти не разговаривая, а в час обеда Али останавливается перед рестораном с золотыми буквами на витрине и бархатным интерьером; портье у двери смотрит на них удивленно. Али хотелось бы притвориться завсегдаем подобных заведений, но он чувствует себя не в своей тарелке, как только они входят внутрь. Он не знает, куда девать свое тело, голос, свой взгляд. Не знает, как сесть, не толкнув других клиентов. Не знает, что заказать и – хуже того – как заказать. Он понимает, что Моханд видит его неловкость, и от этого только хуже. Когда на стол ставят закуску, которой ему не хочется, Али спрашивает его – как он надеется, слегка небрежно, – как дела на родине. Моханд вздыхает и с полным ртом селедки отвечает, что дела не очень:

– Мы наполняем Францию, а родину опустошаем. В деревне больше нет мужчин. Остались только калеки да слабоумные. Работать они не могут. Кормятся за счет матерей, тем и счастливы. Или еще те, что вернулись из Франции и говорят, что Франция вымотала их, сломала, и они не могут больше ничего делать. Наверно, это правда. Посмотришь на них – старики стариками. Ты тоже, Али, уж прости, выглядишь стариком. Так действует Франция, ничего не попишешь. Лучше было остаться дома.

– Я не мог.

– Откуда тебе знать. Может быть, они бы тебя убили, а может быть, и нет. Посмотри на Хамзу, он еще там. Его даже не арестовали. Многие харки остались на родине и еще держатся.

– Они убили Джамеля! – рявкает Али, и едоки за соседними столиками оборачиваются на его крик. – И Акли! И тысячи других!

Зачем бы я стал испытывать судьбу? Было ясно, что Алжиру мы не нужны. Они подталкивали нас на выход под автоматные очереди...

От речей Моханда у него пропал аппетит. Он отталкивает тарелку, на которой лежат в ряд крошечные разноцветные овощи – все равно вряд ли вкусные.

– Может быть, может быть, – соглашается Моханд. – Знаешь, иногда я не уверен, зачем все это было нужно. Независимость, ладно. Но как посмотришь на сегодняшнюю деревню, думается, что нас по-прежнему едят французы. С потрохами. Молодые даже не пытаются найти работу на родине. Выправляют бумаги и уезжают во Францию. А когда возвращаются, строят из себя самых умных. Трясут деньгами почем зря. Делают вид, будто забыли, как живут в деревне, на языке одна Франция. Не захочешь, а поверишь, что там они короли. Но вот поехал я к племяннику в Лион. Он говорил мне прошлым летом, что примет меня без проблем. Но приезжаю я в Лион, а он не подходит к телефону. Как нет его. Я знаю, где он работает, нашел его. Он так смутился. Говорит мне: «Дядя! Какой сюрприз!» И начинает объяснять, что время сейчас неподходящее. Что у него трудности. Ладно, не оставлять же меня на улице как собаку. Повел он меня в квартиру. Открыл дверь – темень крошечная. Их там четверо мужчин из деревни живут вместе в одной крошечной комнатухе. Вот она, Франция. Я делил с ним матрас. Он сказал мне: «Ты приехал за франками. Ладно. Я тебе их найду». Но я-то знаю, что он не может. У самого в кармане пусто. Даже чтобы пойти в кафе, занимает у соседей. А когда я уезжал, он мне сказал: «Дядя, ты лучше об этом не рассказывай». Я даже не спросил о чем. Сам знаю: о его жизни. Потому что будущим летом, когда он вернется, опять будет пускать пыль в глаза. Еще вскопает целую борозду Франции в сердцах молодых, и они тоже захотят уехать. Вот что такое теперь деревня, резонаторный ящик для лжи, которую приносят эмигранты. У них на языке только лживые слова. Может быть, тебе, в конечном счете, повезло. Ты их не слышишь. Ладно. Но, по крайней мере, тебе никому не надо лгать, ты ведь не возвращаешься. И потом, с тобой-то семья. В деревне столько женщин и детей живут без мужей, без отцов. Все равно что вдовы и сыновья вдов, хотя мужчина еще жив, но он работает за морем. Алжир устал считать тех, кого с ним нет. Ты

знаешь, что в шестьдесят шестом провели перепись и отсутствующих тоже вписали. А в следующий раз кого впишут? Мертвых?

Когда приносят счет, Али настаивает, чтобы расплатиться. Он пожалеет об этом в конце месяца, но уж очень хочется ему показать Моханду, как хорошо он устроился. Или скорее – зная: Моханд никогда не поверит, что он богат, Моханд понял, как живет здесь большинство магрибинцев, – очень хочется соорудить хорошую мину, сыграть в успех, хотя оба прекрасно понимают, что это лишь показуха. И Моханд из вежливости готов подыграть.

Они бродят по улицам Третьего округа и присаживаются на террасе кафе.

– Мне хочется анисовки, – говорит Моханд.

Впервые за вечер они улыбаются друг другу. Пьют маленькими глоточками мутный алкоголь, а по бульвару в желтоватом свете фар проезжают машины, их все меньше и меньше.

– А твои сыновья – хорошие сыновья? – вдруг спрашивает Моханд.

Али как будто чувствует под своей большой рукой челюсть Хамида в тот раз, когда он ударил его изо всех оставшихся сил в прошлом месяце.

– Да, – отвечает он наконец, почти удивившись.

– Это хорошо.

– Я все время говорю им обратное.

Они заказывают еще по одной, и на этот раз Моханд настаивает, чтобы заплатить самому. Он достает из кармана смятые банкноты.

– Мои сыновья имеют право на квартиры, на займы, на рабочие места, потому что я в войну ушел в партизаны. Все просто. Этого мы хотели, не так ли? Выбирая ту или другую сторону, мы хотели, чтобы стало легче нашим детям...

– Да, – кивает Али.

– Мои сыновья как все: они хотят уехать во Францию или даже в Южную Америку. Говорят об Алжире, кривя рот, и ни минуты не пожертвуют, чтобы улучшить, а не критиковать.

Официант ставит перед ними два новых стакана с белым алкоголем на доньшке.

– Что-то все я говорю, – замечает Моханд, доливая напиток водой. – Скажи и ты что-нибудь. А то скучно...

Али колеблется и вдруг выпаливает:

– Я стал *жайях*.

Впервые он признается в этом чувстве. Он знает, что, даже если Моханд ему не друг, все равно поймет его. Так называют отбившееся от стада животное и эмигранта, порвавшего связи с общиной. *Жайях* – это паршивая овца. Тот, кому нечего больше дать группе, будь то семья, клан или деревня. *Жайях* – позорное пятно, падение, катастрофа. Это и чувствует Али. Франция – мир-западня, в котором он потерялся.

– Мне нечем больше гордиться...

– Ты работаешь, брат? – спрашивает Моханд с неожиданной нежностью.

Али медленно кивает.

– Я боюсь потерять место на заводе. Все говорят про кризис. Все закрывается. Если меня уволят, не знаю, что буду делать. Силы уже не те, и руки разучились мастерить. Я никчемный человек, один из тысяч... Кто даст мне работу, если я потеряю эту?

Моханд смотрит на него вопросительно, и он продолжает, объясняет. «Тот, кому нечего делать, пусть хотя бы обтешет свою трость». То, что было возможно в деревне, невозможно здесь. Здесь безработица. Мебель выбрасывают, а не чинят, потому что сделана она не на века. Есть телевизор. Тот, кому нечего делать, его смотрит. Так оно во Франции. Но как оставаться главой семьи, когда смотришь телевизор рядом с детьми и женой? Какая разница между тобой и детьми? Тойбой и женой? Телевизор и диван стирают иерархию, семейную структуру, заменяя их одинаковой для всех ленью.

В деревне Али «заработал» право не работать. Он не прикасался к земле, потому что стал слишком важным и исполнял теперь чисто представительские функции главы семьи и предприятия (что было одно и то же). Он отдыхал, опираясь на дом, который сделал полной чашей. Здесь же он боится праздности, потому что она зовется безработицей. Она присыхает в пустом доме и горька, как листья олеандра.

– Я вспоминаю мою мать, – вздыхает Али, – в ту пору, когда я был пацаном и пытался заработать на жизнь. Помню, какое у нее было лицо, когда я жаловался на тяготы. Она всегда говорила: «Только

снаружи мужчина – это мужчина, а в доме быть мужчиной и без того его призвание».

– Если честно, – говорит Моханд, пересчитывая сдачу (того, что осталось, хватит еще на одну анисовку), – я никогда не понимал эту поговорку.

Али молчит. Крутит фразу в голове так и этак.

– Может быть, она и правда дебильная.

По мере того как ими овладевает хмель, они превращаются в чистую речь. Их тела неподвижны, как брошенная ими на стулья куча зимней одежды, как силуэты, готовые рухнуть, если кто-нибудь заденет их пальцем. Они прикончили пачку сигарет. Оба больше не шевелятся. Только речь свидетельствует, что они еще здесь, еще не спят:

– Когда ты ушел в партизаны, ты никогда не думал, что поступаешь плохо?

– Почему?

– То, что ФНО делал раньше, тебя не тяготило?

– Нет.

Моханд ответил сразу, но тут же немного об этом пожалел. Он не хочет проявить неуважение к трупу Акли, оставленному голым на зимнем холоде. Старик был дорог им всем, несмотря на его допотопные бредни, и Моханду хотелось бы, чтобы он умер достойной смертью в своей постели.

– Акли понял бы, – говорит он. – Он никогда не был против независимости.

– Против независимости? *Йя хамар* [\[69\]](#), а кто был против независимости? Десять лет я живу с харки, и ни один ни разу не сказал мне, что он против независимости! Это тебе рассказывали, когда ты убивал для ФНО? Что эти люди против независимости?

– Я никого не убивал.

– За весь шестьдесят второй год, за все репрессии?

– Нет. Я только арестовывал.

– Ты знал, что с ними будет?

– Как все, я полагаю...

– И мирился с этим?

Моханд колеблется:

– Нет... Или, может быть, да. Сегодня я говорю себе, что это была трагедия, я ничего больше не понимаю. Но тогда это было в порядке вещей. Ты-то думаешь, что после подписания соглашений мы остались одни и могли все это утихомирить. Но это не так. Нам противостоял ОАС, они наносили удар, мы в ответ. Тут ничего личного. Я никогда не думал, что это пало на такого-то или такого-то, потому что он конкретно предал наше дело. Надо было убить кого-то, чтобы ответить тем. То есть – ты, ты и ты. Соседи говорили нам всякое, иногда мы знали, что это неправда. Но мы показывали, что нам не страшно. Говорили им: ты хочешь научить нас террору, ОАС? Да ведь это мы же его и придумали. Так было необходимо, вот и все, хоть и с виду несправедливо. Если бы ты это видел... Взрывалось повсюду, все время. Мир вдруг стал таким хрупким, я озирался и думал, что где угодно может рвануть, кто угодно может умереть завтра. От простого факта, что еще держится, еще стоит, дом ли, человек ли, на меня накатывала любовь. Клянусь тебе, я благодарил дома Палестро, стариков, которые еще жили, детей, которые продолжали рождаться. Ты не можешь понять.

– Ты тоже не можешь понять.

И снова, как когда-то в Ассоциации, разверзлась пропасть, только там – между ветеранами Первой и Второй мировых войн, а теперь вместо нее – другая, между теми, кто в разных лагерях в одном конфликте. Эта проблема им знакома. И если им не понять друг друга, то они могут – по крайней мере – понять, почему они друг друга не понимают. Этого достаточно, чтобы они пожали друг другу руки, покидая террасу кафе, и без напускной вежливости сказали, что были рады увидеться.



В январе 1964 года, после военной службы Хамида, – еще один период его жизни, о котором он никогда не будет упоминать, месяцы молчания, лишь иногда едва прорываемые словами «расизм», «губа», «дежурный офицер», «сторожевая башня» и «казарма», молчания такого непроницаемого, что его дочери позже вообразят, будто их отец выполнял секретные миссии, как Джеймс Бонд или Ларго Винч, – они с Клариссой поселились в квартирке на улице Жонкьер, рядом с муниципальным бассейном, из его регулярно открывающихся дверей вырываются пары хлорки. Персонал в синих халатах и пластиковой обуви похож на орду санитаров на выходе из операционного блока. Расположенный напротив «Бар при бассейне» обязан своим названием лишь месту, и клиенты у стойки – с подбитыми глазами, багровыми рожам и прокуренными легкими – никогда не проплыли ни одной дорожки, да и не собираются.

В нескольких метрах от подъезда стоит телефонная кабинка, мимо нее Хамид проходит не глядя. Домой он звонит редко и только если уверен, что Али дома нет. Беседы всегда короткие, братья и сестры говорят с ним как будто тайком, невнятно и поспешно. С Йемой они повторяют друг другу одно и то же, не в силах не обсуждать ссору отца с сыном. И навязчивым рефреном звучат слова «не понимаешь», «не понимаю», во всех возможных формах и наклонениях, изысканное дефиле непонимания, все модели сезона в любых расцветках.

Кларисса больше не задает вопросов. Она позволила Хамиду жить в его молчании и пытается выстроить свое, равное по размеру. Без ее любопытства ему бы чувствовать себя лучше, но это не так. Дистанция, которую она держит – которую он заставил ее держать, – мучит его. Он и хотел бы попросить ее снова стать той, прежней, что всем делилась, но знает, что ему нечего дать ей взамен. Они любят друг друга с уважительными и церемонными танцами. Ни один из двоих не удовлетворен, но каждый считает, что только другой может переломить ситуацию. Порознь мучаясь бессонницей, они изводят самих себя вопросом, не положить ли конец этим отношениям, которые, кажется, никуда не ведут. Ни он, ни она не могут решиться со

всем покончить, потому что оба чувствуют, что любовь еще здесь, за их немотой, и нельзя повернуть ее вспять – как инженеру-агроному реку, чтобы она оросила другие земли. У этой наткнувшейся на препятствие любви лишь один бенефициар – это Хамид, это Кларисса. И они идут вперед, несмотря на молчание, этап за этапом.

Новая квартира длинная и сложно устроенная, с низким потолком и чередой тесных комнаток. Это несколько комнат для прислуги, между которыми домовладелец сломал гипсовые перегородки, только выпуклости напоминают о них там и сям. Жизнь предыдущих съемщиков можно прочесть по почерневшим бороздкам, в которых скопились пыль и крошки. Туалет на улице, в глубине двора. Добраться туда ночью – целое приключение на ступеньках и в коридорах, такое оценил бы Кадер-волшебный-кролик в пору красной пижамки. Кларисса ходит туда, стуча зубами. Хамид – хоть и зол на себя за это – мочится в раковину, когда уверен, что она крепко спит. Чтобы ненароком не разбудить ее, он даже иногда не убирает грязные тарелки, орошая их желтой и почти бесшумной струей, а потом надолго пускает тонкой струйкой воду, чтобы стереть следы своего преступления.

Через несколько месяцев после их переезда Хамид выдержал конкурс и поступил в Кассу семейных пособий. Здание – огромный корабль, расположенный на краю города. На этажах все кабинеты похожи – с жалюзи, темным ковролином, металлическими шкафами, пластиковыми столами и разноцветными корешками всевозможных папок. Компьютеры, массивные и квадратные, ревут как турбины. Там, наверху, царит порядок. Служащие приходят на работу в пиджаках и рубашках, хотя бы потому, что этого требует солидность обстановки. Зато внизу, где принимают просителей, – полный бардак. В очередях калейдоскоп языков и степеней нищеты, как в альбоме с образцами обоев. Хамид старается там не появляться, он входит через заднюю дверь. Предпочитает не видеть людей, с чьими досье имеет дело, потому что, когда он работает с документами, ему кажется, что он помогает, но стоит услышать разговоры внизу – и все наоборот: сплошь рассказы о невыплаченных суммах, о нелогичных процентах, о недостающих сотнях франков – да что говорить, все эти жизни и так через пень-колоду, еще и заставляют столько ждать. И потом, между

большими фигурами взрослых часто проглядывает худенькое личико ребенка-переводчика, ребенка-писца, слишком похожего на него, чтобы он мог взглянуть ему в глаза без смущения.

Когда Кларисса спрашивает, счастлив ли он там, он отвечает: да. Хотя бы потому, что это не Завод, потому что он получает зарплату, не уродуясь каждый день на тяжелых, горячих, опасных станках, хотя бы потому, что он – несмотря на свою смуглую кожу и черную шевелюру, которую скоро острижет, чтобы выглядеть солиднее, – сидит на верхнем этаже, а не ждет в очереди, продвигающейся черепашьям шагом к окошкам, таща котомки, тяжело дыша, прижимая к груди формуляры, мнущиеся в потных руках. Наверно, будь у него детство Клариссы, он нашел бы другое занятие: она ведь умоляла его – дай себе время, чтобы понять, что сам по-настоящему любишь, чему хочешь посвятить каждый свой день, но он не смог полностью избавиться от чувства долга, полезности, эффективности и конкретики, а работа на благо общества представлялась ему Граалем, который достается только при большом везении. Вечером, заводя будильник, он порой думает, что бегство занимает больше времени, чем он ожидал, и что – если он ушел и не так уж далеко от своего детства, как хотел, – следующее поколение сможет продолжить с того места, где он остановился. Он представляет, как в тесном и душном кабинете копит запасы свободы, которые сможет передать своим детям.

Однажды ночью, поспешно сбежав по лестнице – ноги сжаты, рука засунута между ляжек, как последний оплот, – Кларисса видит, как преспокойно, не удостоив ее взглядом, под дверь туалета юркнула крыса. Она замирает посреди двора, до боли стиснув колени, и дрожит, так страшно войти вслед за грызуном в темную кабинку. Девушка топчется у двери, не в силах ни на что решиться, мочевой пузырь твердый, как цемент, и вот-вот лопнет, но она, кажется, еще слышит, как крыса возится за дверью.

Она мочится стоя посреди двора, еще сжав ноги, и горячая моча ищет обходные пути, стекая ручейками и водопадами по ляжкам под ночной рубашонкой.

В первый момент это острое счастье, все ее тело кричит от радости облегчения. Но когда струя иссякла, Кларисса недоумевает,

как она могла сделать такое. Она воняет. С нее капает. Она мокрая. Чтобы хоть немного обтереться, надо открыть дверь и войти во владения крысы за рулоном туалетной бумаги. Этого сделать она не может. Не может и подняться, тогда ее увидит Хамид – она знает, что разбудила его, вставая, и он лежит с открытыми в темноте глазами. В панике, обезумев от запаха собственной мочи, она мечется по двору, дергаясь, как сломанная кукла. Ее сотрясают хриплые рыдания. Надо дождаться, когда Хамид снова уснет, после чего прошмыгнуть в ванную и помыться. Она садится на мусорный ящик во дворе, встает, холодное и мокрое прикосновение ночной рубашки к ляжкам ей невыносимо. Снова и снова кружит по двору. Заняться ей нечем. Она машет полами ночной рубашки, надеясь, что так они высохнут быстрее. Ей до того стыдно, что мелькает мысль уйти совсем, выйти через большие ворота и исчезнуть на парижских улицах. Этот парализовавший ее стыд – чувство для нее новое, неожиданно сильное, и она спрашивает себя, не служит ли его появление среди ночи доказательством, что ее связь с Хамидом – ошибка. Но, тотчас одумавшись, винит себя одну в плачевном положении, в котором оказалась, и ей хочется надавать себе пощечин. Кларисса не понимает, почему она впервые спустилась в глубины Клариссы, во дворец сточных канав, прорытых в грязи. Ей омерзительны эти внутренние покои, хочется выбраться из них, но она твердит себе, что выхода нет – ничего не поделаешь, – пока Хамид не уснет. От стен ее кошмара эхом отдается смех толпы, призрачной, но оттого не менее жестокой. У меня не получится, думает Кларисса, не зная, к чему относится эта удручающая уверенность. У меня не получится.

А Хамид, встревожившись, что ее долго нет, выглядывает из окна ванной, которое выходит во двор. Он видит Клариссу, скорчившуюся и дрожащую в углу, бледное пятно ее ночной рубашки на фоне черных стен. На миг ему кажется, что Кларисса уходит от него, что она собирается с духом, выстраивает слова, сейчас поднимется и скажет ему, что все кончено, и ему страшно думать, что она, наверно, права. Ему хочется захлопнуть окно, притвориться, что он ничего не видел. Но нельзя быть таким трусом, и он высовывается и спрашивает:

– Все хорошо?

Она вздрагивает, поднимает голову, встречает его взгляд, и тут ее прорывает. Вцепившись в мусорный бак, как в буюк в бурном море, она

плачет и говорит, что нет-нет-нет, все совсем нехорошо. Он выбегает из квартиры и кубарем скатывается по лестнице.

Оттого, что он видит ее такой, в этом состоянии, которое терпят только у младенцев да стариков (и то зрелище последних вызывает волну отвращения, мощную и короткую, как всхлип), оттого, что она показалась ему грязной, в слезах и, как никогда, слабой, Кларисса, сама того не ожидая, почему-то чувствует облегчение. Она говорит себе, что Хамид будет любить ее, какой бы ни увидел, что уже не будет ни снов, ни воспоминаний более омерзительных, чем облепившая ее холодная моча. Она еще плачет, поднимаясь по лестнице, но с чувством освобождения.

Из-под душа, долгого и горячего – и все же недостаточно долгого, недостаточно горячего на вкус Клариссы, которой хотелось бы содрать с себя кожу, чтобы не осталось и следа запаха, – она выходит в облаке пара, красная, как вареный рак. Хамид укутывает ее в большое полотенце, подставляет стул, чтобы она села, и ставит кипятить воду.

– Мне надо было сразу найти настоящую работу, – извиняется он, – если бы я с приезда откладывал деньги, мы могли бы позволить себе настоящую квартиру, а не клетушку с туалетом во дворе.

– Это моя вина, – говорит Кларисса. – Я сглупила. Я же как-никак в двадцать или тридцать раз больше этой крысы, чего я так испугалась?

– Мой отец боялся гусениц, – улыбаясь отвечает Хамид. – Все годы, что мы жили на юге, он их видел повсюду.

– На юге? – удивляется Кларисса, которая всегда думала, что он вырос в Нормандии. – Когда ты жил на юге?

Смутившись, что выдал эту информацию, он машет рукой, давая понять, что это было много лет назад.

– Там было хорошо?

Усилие Клариссы, чтобы вопрос прозвучал легко, банальностью, чуть тронутой интересом, очевидно: у нее дрогнул голос и дернулся уголок верхней губы. Хамид не хочет снова отмахиваться от нее теперь, когда она сидит на кухонном стуле, закутанная как ребенок, хрупкая и нежная. Он пытается найти слова, которые описали бы эти годы. Несет какую-то чушь про сосны и цикад, про солнце, про Дюранс, выдает какое-то подобие проспекта без всяких воспоминаний,

брошюрку с фотографиями. Он описывает этот период словами, которые стоят не больше молчания, так они безлики, выстраивает их во фразы, чтобы что-то сказать, чтобы не разочаровать Клариссу. Но чем больше он говорит, тем больше невыносим ему ее вопросительный взгляд – и он умолкает, занявшись чайником с душистыми травами, как будто приготовление чая требует тщательности хирургической операции.

– Когда это было? – спрашивает Кларисса.

Повисает молчание. Маленькая кухня полна пара, очертания предметов размыты. Хамид надеется, что она не видит, как дрожат его руки.

– Прости, – шепчет он. – Я не хочу об этом говорить.

Кларисса понимает, что ошибалась, думая, будто все будет лучше только потому, что у нее больше не может быть секретов от Хамида после такой ночи. Да на самом деле у нее никогда и не было секретов. В ее жизни нет зон теней, разве что маленькие пятнышки, которые она хотела бы забыть, сожаления, что не ответила на обиду, спорадические мечты о величии, но дело не в том, что она их скрывает, просто они никому не интересны. Тот, кто должен открыться другому, тот, кому надо помочиться себе на ноги, вылив все эти годы, сдерживаемые внутри, несмотря на безобразие, несмотря на боль, – это он, а не она.

Она подходит к Хамиду и распахивает полотенце, чтобы принять его внутрь. Окутывает его худое тело двумя полами махрового хлопка. Прижимается к нему, и он чувствует ее горячую после душа кожу. Когда он уже готов сжать ее в объятиях, счастливый, что так легко прощен, она отступает на два шага и говорит:

– Я не могу жить с тобой, если ты живешь один.

Она не грубит, но говорит это со всей серьезностью, на какую способна. Она стоит голая и красная посреди кухни, бесполезное полотенце отброшено за спину, и для Хамида она красива и смешна, может быть, потому и красива, что смешна, ей это не страшно, она даже этого не замечает, но именно это в ней и прекрасно. Все тело Клариссы, выставленное напоказ в маленькой кухне, в белом свете, в густом пару, подалось к двум единственным вариантам, которые она только что зафиксировала: сдать или порвать. Тело трепещет в ожидании, оно превратилось в один вопросительный знак, который стоит, дрожа от страха быть неверно истолкованным.

– Мы приехали во Францию, когда я был еще пацаном, – Хамиду кажется, что голос его безучастен (и все-таки последующая его речь, наверно, несмотря на отрывистость, паузы и непонятные места, ближе к той, какую ему хочется произнести). – Мы были в лагере, были за колючей проволокой, как вредные звери. Я не помню, сколько времени это длилось. Настоящее царство грязи. Мои родители сказали спасибо. А потом нас поместили в лес, в глухомань, на солнце. Вот там и были гусеницы. Родители опять сказали спасибо. Потом нас отправили в квартал многоквартирных домов в Нижней Нормандии, в город, где до нас вряд ли кто-нибудь видел хоть одного араба. Родители опять сказали спасибо. Они и сейчас там. Отец работал, мать рожала детей, и я мог бы сказать, как все ребята в квартале, что люблю их и уважаю, потому что они отдали нам все, но боюсь, это будет нечестно. Я ненавидел их за то, что они отдали мне все, а сами не жили. Я задыхался, сходил с ума. Последние годы там я только и мечтал уехать, и теперь, когда я уехал, я не могу почувствовать себя виноватым. Когда я видел отца в последний раз, он дал мне по морде, и я возненавидел его изо всех сил, но в то же время я его понимал. Потому что он не давал себе жить ради меня, а я живу, как мне заблагорассудится, и он, наверно, думает, что я последний эгоист. А может быть, я и есть последний эгоист... Но иногда я думаю, что, пойдя я дорогой, какой они хотели, это бы ничего не изменило и для них тоже: может быть, мои родители сказали бы на этот раз *большое* спасибо, но в остальном...

Когда он закончил говорить, когда слова замерли на его губах, и он знает, что сейчас не сможет сказать больше, он ловит взгляд Клариссы и думает, что, если прочтет в нем жалость, если увидит, что стал для нее гуманитарной миссией или что она загордилась, выиграв битву с его молчанием, он немедленно уйдет из квартиры. Но она, снова закутавшись в полотенце, говорит:

– И правда, в этой истории только верблюдов не хватает.



Своей семье Кларисса всегда говорила (хотя она предпочитает выражение «давала понять»), что продолжает снимать квартиру на паях с Вероникой. Когда ее родители сообщают, что приезжают в Париж, Кларисса и Хамид тщательно наводят в квартире маршефет – мужская одежда, бритвенные принадлежности, документы с его именем заперты на ключ в стенной шкафчик в спальне. Вероника великодушно соглашается расположиться на диване в гостиной и разбросать там и сям свои вещи, тоже для маскировки. Она целует Мадлен и Пьера в обе щеки, спрашивает, как у них дела, говорит о своем будущем, по-хозяйски развалившись на подушках, как большая кошка. Как только родители Клариссы уходят, она сует в дорожную сумку одежды, флакон духов, принесенные с собой журналы и уходит в свою квартиру, ни словом не обмолвившись о той услуге, о которой ее попросили. Веронике нравится думать, что в своей жизни она навидалась куда более чудных вещей и впечатлить ее трудно.

В просторном интервью Симона Буэ, подруга Чорана [\[70\]](#), рассказывает, что она тоже много лет скрывала их связь от родителей. Сначала она сняла на свое имя комнату рядом с комнатой философа и уходила туда, только если ее родители были проездом в Париже. Потом, когда они с Чораном въехали вместе в квартиру на улице Одеон, она завела привычку загораживать шкафом одну из дверей, чтобы убедить свою мать, что «снимает квартиру на паях с иностранцем», но комнаты тщательно разгорожены и не сообщаются между собой. Уж не знаю, настал ли тот день, когда она перестала лгать, и что поспособствовало признанию, – об этом она ничего не рассказывает.

Вот и Наима так и не добилаь внятного объяснения, почему в один прекрасный день Кларисса решила, что достаточно щадила родителей (ни Кларисса, ни Хамид никогда не рассказывали дочерям о той ночи, когда их мать описалась и наступил конец войне молчания). Она знает только, что после двух лет тайной связи Кларисса объявила, что пора Пьеру и Мадлен принять как данность, что она любит араба.

– Кабилы не арабы.

- Алжирца, я хотела сказать.
- Я и не алжирец.
- Ты знаешь, кто ты: тебе нет имени...

Хамид с гримаской поднимает руки: что он может поделаться? Не она первая сетует, что его и назвать-то толком непонятно как. Может быть даже, именно это и повлекло за собой годы молчания – когда вам не хватает главного существительного, как построить рассказ?

– Я представлю тебя моим родителям, – объявляет Кларисса, – ты представишь меня твоим. Баш на баш.

Она не может так легко изменить правилу равенства, по которому жила с ним два года. Ей страшно вернуться к исходным позициям, ведь это значит, что война молчания ничего не дала. И она предпочитает продолжать жить по системе бартера, благоразумной, но упрямой. Хамид поначалу отказывается от сделки: он напоминает ей, что в ссоре с отцом и домой не собирается. Кларисса отвечает, что ей придется посмотреть в лицо расизму, которого она боится, хоть никогда вживую и не видела – за отсутствием случаев – у своих родителей. Несколько раз между ними повторяется этот диалог с незначительными вариациями. Реплики уже приходят сами собой, без раздумий, это разученное па-де-де, беседа-танец. Но однажды вечером, сидя по-турецки на диване, Кларисса делает шаг в сторону. Она говорит:

– Для меня это тоже нелегко, Хамид, а ведь ты упорно думаешь обратное.

Растерявшись от такого нарушения правил, он ничего не отвечает.

– Мне все-таки нужно местечко, – добавляет Кларисса. – Совсем маленькое местечко для моих маленьких забот... Размером... со что? Может быть, с четверть этого журнального столика? Можно сказать, что четверть этого журнального столика...

Она рисует пальцем на столешнице что-то похожее на квадрат:

– ...это место, куда я буду складывать свои заботы, чтобы ты их не презирал, не преуменьшал и не игнорировал. Идет?

Он уставился на угол стола.

– Тебе остается все остальное, заметь.

Серьезность демонстрации забавляет его, и он, улыбаясь, кивает: мол, продолжай.

– Итак, скажем, ты поспорил с отцом и, чтобы представить меня твоим родителям, должен преодолеть эту ссору. Это большое усилие, огромное, как три четверти журнального столика. Я же, со своей стороны, люблю моих родителей, у меня с ними прекрасные отношения – я ведь обошлась даже без трудного возраста, знаешь, какой я всегда была хорошей дочерью... И я боюсь, что, если представлю тебя им, у нас наконец будет случай поспорить, потому что мои родители не гении, не выдающиеся люди, они даже, я думаю, удручающе банальны. Но это мои родители... И все детство я считала, что они замечательные.

Кларисса произносит последнее слово странно сдавленным голосом. Хамид отрывается от созерцания столика. У нее в глазах слезы, тонкая жидкая пленка покрывает радужку, она пытается не обращать на нее внимания, лицо ее совершенно неподвижно. Он садится рядом.

– Ладно, – ласково шепчет он, – мы сделаем это вместе. Чем мы рискуем, в конце концов?

– Родители могут лишить нас наследства, – отвечает Кларисса, нарочито драматизируя.

Хамид падает спиной на слишком мягкий диван и широким жестом закидывает ноги на отведенную ему часть столика.

– Только не мои, – говорит он, просияв улыбкой. – Они уже и так все потеряли.

БАШ (1)

Не лучший, прямо скажем, момент для знакомства с «зоной», хотя благоприятных дней квартал, наверно, и не знал. Пон-Ферон встречает Клариссу и Хамида обшарпанными домами, погнутыми телевизионными антеннами, разбитой мостовой; у подъездов сидят старики, их рты полупусты или блестят золотыми зубами, в пластиковых пакетах у ног смесь лекарств и пищи. Хамиду кажется, что за год его отсутствия поселок обрушился под бременем лет. Его дома из тех строений, которые имеют вид только новенькими и стареют как гниют. Обстоятельства, добавившись к слабостям архитектуры, надломили стены: кризис похоронил Славное тридцатилетие и рушит этот квартал рабочих, которые работают все меньше и меньше. Инфляция и безработица идут параллельными

кривыми, на экранах телевизоров, которых становится все больше, показывают их рост в ярких графиках. Скоро правительство запустит с экранов в каждую гостиную рекламные ролики и откроет охоту на расточителей, выдав список советов по экономии топлива: запускайте мотор на малых оборотах, избегайте резкого торможения, поддерживайте температуру в вашем жилище на уровне восемнадцати градусов. Скоро найдутся в квартале старики, которые предложат отключить центральное отопление и вернуться к индивидуальному *кануну* [\[71\]](#), потому что не могут больше платить. Молодежь, выросшая здесь, между детской площадкой и лестничной клеткой, будет как на инопланетян смотреть на этих людей из прошлого, у которых в голове срабатывает какой-то фантастический трюк – им удается думать, будто они еще в родной деревне. Квартал залезает в долги, это тем легче, что кризис кажется эфемерным, и тем необходимее, что идеал дома – полной чаши, каким он был в горах, тоже пережил пятнадцать лет во Франции, а когда холодильник и шкафчики полны под завязку, редко кто сознает риск отрицательного числа внизу листа бумаги или на нематериальном банковском счете. Кларисса и Хамид, паркуя машину у подъезда дома, в котором живут Али и Йема, не догадываются о долгах, дружеских и семейных, банковских ссудах и потребительских кредитах, которые висят, невидимые, над головами жителей, что твои финансовые дамкловы мечи, – но оба видят, что пейзаж мрачен, а люди встревожены.

На лестничной клетке пахнет пивом и мясным супом, на перилах нацарапаны имена мальчишек, запечатлевших концом ключа свои крошечные удостоверения личности. Детали бросаются в глаза Хамиду. Он не знает, чего хотел бы: исхитриться замаскировать все их своим телом одну за другой – разбитые почтовые ящики, растрескавшиеся стекла на дверях, переполненные мешки в закуте для мусора, – или же, наоборот, надо выставить их напоказ, пусть бросятся прямо в лицо Клариссе, а он скажет: «Вот, я отсюда, как бы ты к этому ни относилась».

Кларисса чувствует, что он за ней наблюдает, и толком не замечает ничего вокруг, потому что, хоть она и заставляет себя смотреть вперед, но все ее внимание сосредоточено на том, чего ждет от нее Хамид, хотя она и не может этого понять. Они нервничают и даже без слов

передают друг другу это раздражение, от него напрягается затылок, сводит плечи, судорожно сжимаются пальцы.

Когда Йема открывает дверь, Клариссу поражает ее маленький рост. В ней, наверно, не больше метра пятидесяти. Темные волосы с оранжевыми прядями после долгих лет окраски хной выбиваются из-под цветастой косынки, повязанной треугольником. Есть что-то азиатское в опущенных длинными ресницами черных сощуренных миндалевидных глазах. Она улыбается всем своим круглым лицом и, увидев на пороге молодую женщину в платье-трапеции, произносит, пожалуй, единственную формулу вежливости, которую выучила на французском:

– Здравствуй, здравствуй, как ты выросла.

Кларисса ошеломлена, а Йема между тем обнимает ее и крепко прижимает к себе. Кларисса сгибает колени, чтобы быть вровень с ней. Она глупо улыбается, объятие затягивается, и через плечо Йемы она видит темноглазую девушку, которая мерит ее взглядом из кухни. Судя по возрасту, это может быть только Далила. У нее красивые черты лица, жесткие и тонкие, похожие на старшего брата, и копна волос, которые она, должно быть, выпрямляет утюгом, но замаскировать их густоту все равно не может. Тяжелая черная стена ниспадает до поясицы.

Йема наконец отпускает Клариссу, но на протяжении всего визита снова и снова ищет с ней физического контакта. Под любым предлогом она касается ее, берет за руку, щупает, прижимает к себе, гладит, ласкает. В этих жестах материнская нежность, но еще и внимание барышника, проверяющего, здорово ли животное, думает Кларисса, которой вряд ли приятно, что по ее телу шарят руки этой маленькой женщины. Ей больше понравился короткий поцелуй – приветствие Далилы.

Кроме двух женщин в квартире никого нет, и Кларисса удивлена царящей в ней тишиной. Мелких отвели к соседке, чтобы ты не испугалась их орды, объясняет ей Далила, а Кадер и Клод на спортивных соревнованиях в соседнем городке.

– Только я не имею права никуда пойти, – вздыхает она, бросив на мать укоризненный взгляд.

– А *баба́*? – спрашивает Хамид, не обращая внимания на сестрины обиды.

– Он скоро... – тихо говорит Йема. – Должен был уже вернуться.

Молодой человек пожимает плечами и, провожая Клариссу в гостиную, шепчет ей, что отец наверняка задерживается нарочно – этим он тоже его наказывает. Они садятся за большой стол, уже накрытый, – тарелки в цветочек и бокалы с позолотой, царство блеска, являющее такой разительный контраст с унылой серостью за пределами квартиры.

– Не будем его ждать, – говорит Хамид.

Он заводит с матерью и сестрой разговор на арабском и расспрашивает их, изредка переводя Клариссе ответы. Каждый раз, когда Йема пытается обратиться к ней по-французски, она видит, как он морщится: мать немилосердно коверкает французские слова. Кларисса с трудом понимает маленькую женщину и вынуждена, смущаясь и краснея, просить ее повторить. Хамид часто перебивает их, но, даже когда он говорит, взгляды Йемы и Далилы устремлены на Клариссу, те словно ждут, что и она примет участие в их разговоре на арабском. Она кивает, улыбается, и на ее пылающем лице светлые, почти белые брови и синие глаза выделяются как песчаные косы и лужицы.

Хамид умолкает, только когда Йема приносит кускус, полные рты теперь открываются только для еды. Кларисса ест с аппетитом, заливает кускус красным, обжигаящим соусом, весело насаживает на вилку горошины. Видя, что ее тарелка пустеет, Йема подкладывает ей еще и еще, и Кларисса не смеет отказаться. Для нее вежливость требует, чтобы она все доела. Для Йемы же, наоборот, вежливость состоит в том, чтобы наполнять тарелку до тех пор, пока гость будет не в состоянии доест. Ложки звенят непрерывно, и вскоре Кларисса чувствует себя волком из «Красной Шапочки» с бабушкой и внучкой в животе.

Когда возвращается Али, он делает вид, что удивлен присутствием сына, как будто забыл, какой сегодня день, как будто это не имеет для него большого значения, и его игра плохого актера так раздражает Хамида, что он начинает ерзать на стуле. Кларисса ошеломленно смотрит на человека-гору рядом с крошкой-женой. Она невольно спрашивает себя, как им удастся ладить в постели (у них, между прочим, десять детей), и от этой простой мысли – даже лишенной образов – краснеет еще сильнее.

Али наскоро ест на уголке стола, пока остальные пьют кофе. Он почти не говорит, но неловко улыбается Клариссе, встречая ее взгляд. Хамид рядом с ней все сильнее ерзает – он объяснит ей потом, что отец улыбался ей своей *особой французской* улыбкой, той, которую он ненавидит. Она ничего такого не замечает и отвечает на улыбки, сама улыбаясь еще шире, удивляясь, что этот отец, о котором Хамид всегда говорил как о жестком и властном патриархе, оказался сероволосым мужчиной, немного робким, смущенным собственным ростом. Доев свой обед, Али встает и просит его извинить, но это-де час сиесты.

– Мы все равно пойдем, – говорит Хамид.

– Как, разве ты не подождешь братьев? – спрашивает Йема, сделав большие глаза. – Они скоро вернутся с гонок.

Хамид качает головой:

– Нет, нет. Мы пойдем.

Кларисса, отяжелевшая до того, что ей бы теперь несколько часов подряд посидеть неподвижно, смотрит, как он поспешно поднимается. Она с трудом идет следом, стучаясь о мебель: теперь, когда стулья отодвинуты от стола, обнаружился подлинный размер комнаты, слишком маленькой для семейного обеда (она не может себе представить, что Хамид жил здесь еще с пятью или шестью детьми, это кажется ей физически невозможным). Снова объятия с Йемой, поцелуи в щечку с Далилой. Али не встает, но почтительно, как иностранной сановнице, пожимает ей руку. Когда они уже в дверях, он бросает со стула Хамиду, который на него не смотрит:

– Хорошо, что ты зашел.

Кларисса не понимает по-арабски, но по тому, как расслабилось все тело Хамида, чувствует, что он, возможно, приехал только ради этой фразы.

БАШ (2)

Встреча с родителями Клариссы состоялась в парижской пивной через месяц. Мадлен и Пьер оба какие-то серые, белые, синие, прямые и ужасно сожалеют, что опоздали. Хамиду они кажутся похожими, как брат с сестрой, и он спрашивает себя, годы ли брака наложили на них одинаковый налет, или их наряды, их жесты, их выражения уже были похожи, когда они познакомились. Войдя, они полусловом намекают, как удивлены, обнаружив его существование, и как сожалеют, что их

так долго держали в неведении, но взглядами обрывают друг друга, и фразы угасают задолго до финальной точки. Чувствуется, что они договорились – возможно, в машине или сразу после звонка Клариссы – не донимать молодую пару упреками на этом обеде и попытаться, невзирая на «небывалую» ситуацию, предстать в наилучшем свете. Вот только уже за столиком ресторана им трудно придерживаться плана. Оба скрывают неловкость за безличным, но неумолчным разговором: уличные пробки, дороговизна жизни, магазины в Дижоне. Вопросы задают только самые общие, как будто боятся, что их дочь и ее друг примутся выкладывать непристойности, если их спросят о совместной жизни, и может быть, они правы, в той мере, в какой всякое упоминание их совместной жизни для них непристойно. Когда Кларисса пытается заговорить о Хамиде, мать отвечает с нервной улыбкой:

– Да, да, дорогая. Ты мне сказала это по телефону.

И она продолжает в прежнем духе, а Пьер подает ей реплики, или наоборот. Хамид и Кларисса вынуждены только кивать и чувствуют себя странно, как будто сели не за тот стол. За десертом Пьер и Мадлен строят гипотезы о здоровье президента Помпиду, чье отечное лицо их не на шутку тревожит. Кларисса и Хамид переглядываются над «плавающим островом» [\[72\]](#), выбирая между истерическим смехом и отчаянием. За кофе они говорят о погоде и, кажется, готовы изложить метеосводку за все предыдущие месяцы, чтобы было чем продержаться до конца обеда. Кларисса кусает щеку изнутри, а Хамид смотрит на соседние столы.

Когда приносят счет, отец Клариссы настаивает, чтобы расплатиться – с почти жертвенной серьезностью, как будто хочет на себя одного взвалить все бремя этого обеда. Он удаляется к стойке, Кларисса идет в туалет, и Хамид остается один на один с Мадлен. Он улыбается ей, помешивая ложечкой в уже пустой чашке, но она отворачивается, глядя на улицу в большое окно, бормочет себе под нос: «Здесь очень оживленно» и принимается считать машины. Хамид от неловкости тарашится на крупинки сахара, пропитанные бурой жидкостью. И от души удивлен тем, что, когда они провожают Пьера и Мадлен к машине, те приглашают их на следующие каникулы в Дижон.

Наима не была ни на одной из двух встреч, но может их себе представить, потому что ей кажется, что спустя годы в отношениях ее родителей с тестем и тещей, свекром и свекровью ничего не изменилось. Йема и Кларисса так и обнимаются, почти не разговаривая, ведь языковой барьер не позволяет им даже попробовать, а Хамид и Мадлен обмениваются издалека вежливыми и ничего не значащими словами, будто только что познакомились.

Если обе встречи прошли по закону паритета, как и хотелось молодой паре, то последствия их оказались совершенно непропорциональными. Для Клариссы это означает иногда получать приглашение в Дижон и упоминать Хамида в телефонных разговорах с родителями, чаще всего в последний момент, перед тем как повесить трубку («Передай ему привет»). Но для Хамида эта встреча скрепила молчаливое примирение с семьей, и вот молодые принимают в Париже братьев и сестер, которых не было на обеде: всем хочется хоть один уик-энд провести в столице. Кларисса, единственная дочь в семье, смеется: их черед напоминает ей сцены из мультфильмов, где десятки персонажей один за другим выбираются из крошечного автомобиля. Кадер теперь учится на медбрата. Он сохранил веселую энергию, которую уже проявлял в нежном возрасте, и превращает для Клариссы детство, которого стыдится Хамид, в череду рассказов, способных насмешить до слез. Далила скучает в коммерческом училище, куда поступила, – оно слишком близко к Пон-Ферону, чтобы девушка могла покинуть родительскую квартиру. Весь уик-энд она показывает пальцем на дома, в которых хотела бы жить. Город интересует ее лишь постольку, поскольку она сможет позже в нем поселиться. Церковь с каменными кружевами задерживает ее внимание меньше, чем тесный балкончик, на котором похожая на нее девушка курит сигарету или развешивает белье. Клоду не повезло: на улице де Тюрбиго его остановил полицейский, убежденный, что он не имеет права носить такое имя, что это наверняка ложь или дурная шутка. Его отвели в участок, откуда его вызволил Хамид, и Париж остался в его памяти расистским городом, где ноги его больше не будет. Карима не приехала: в последний момент она предпочла пойти на день рождения к подруге-марокканке, уточнила Йема по телефону со смесью удивления и укоризны, и Хамид не знал, вызвано ли это отменой

поездки или национальностью подруги. Постоянно откладывавшийся и так и не состоявшийся визит Каримы превратился в семейную шутку, которую Наима часто слышала в детстве: «отправить Кариму в Париж» стало для ее дядей и тетей синонимом «достать луну с неба». Мохамед и Фатиха приехали вместе, и Хамид, нервничая, ждет их у дверей вагона, номер которого просил несколько раз повторить, переживая, что не найдет их или они сойдут не на той станции; он ломает голову, что делать, если мелкие не выйдут из поезда, который медленно замирает, но нет, вот они, держась за руки, спрыгивают со ступеньки под умильным взглядом какой-то пассажирки, которая говорит их старшему брату, как будто речь идет о домашних питомцах: «Они такие милые. Я бы взяла их к себе». Им семь и шесть лет; это превращает Хамида и Клариссу в родителей. Она с удивлением смотрит, как он утешает плачущих малышей, моет их, одевает. Он брат и отец своим братьям, думает она, отмечая, что в этой формулировке есть какая-то античная странность.

В Пон-Фероне на руках у Йемы остался только маленький Салим, последыш, десятый ребенок. Она тихонько ласкает его и, улыбаясь, думает, что скоро возьмет на руки сына Хамида и Клариссы и что цепь детей, которых она прикладывала к своей груди, никогда не прервется.



В переполненное кафе, куда Хамид зашел выпить с коллегами по работе, входит молодая женщина с длинными темными волосами, пробирается среди посетителей уверенным шагом, заслонив руками лицо, как боксер в стойке. Она идет вслепую, посмеиваясь над собственной крутостью, а он застыл и стоит неподвижно, никаких мыслей в голове, замороженный этим телом без лица, которое движется прямо к нему, наталкивается на него, опускает наконец щит рук и вздрагивает. Они смотрят друг на друга. Ни он, ни она не смеют произнести имя, за которым может тотчас последовать отпор: «Вы, наверно, обознались». Так они стоят в сомнении и надежде, и наконец Хамид выдавливая из себя:

– Анни?

Она издает звук, похожий на рычание, лицо расплывается в улыбке:

– Хамид!

Девушка бросается ему на шею, не обращая внимания, что толкает клиентов и те вяло протестуют. Ошалев от неожиданности, они отстраняются, чтобы снова посмотреть друг на друга, повторяют имена, чтобы услышать, чтобы ответить, хватают друг друга за плечи, чтобы убедиться, что они здесь, что они реальны, и оценить, как оба выросли. Через несколько минут, когда они локтями и плечами пытаются расчистить местечко у стойки, Анни тихо говорит:

– Поверить не могу, что мы узнали друг друга...

Хамид молча улыбается: он ее, собственно говоря, и не узнал. Он увидел перед собой не девочку, с которой когда-то играл, а ее тетю Мишель, хотя думал, что совсем забыл ее за пятнадцать лет. Анни похожа на воспоминание, которого, как ему казалось, у него не было, а вот же – было, и он в восторге от этого открытия.

Она говорит ему, что он совсем не изменился, и тут же раздражается на себя: ведь так все говорят. Конечно же, изменился. Они расстались, когда он был маленьким мальчиком, лет восьми, может, девяти, она точно не помнит.

– Но я думала, что взрослым ты станешь именно таким. Вот что я хотела сказать: ты похож на того, кем обещал стать.

Она взволнована, дрожит, повышает голос и много смеется, запрокинув голову, как смеялась когда-то Мишель за прилавком магазина в Палестро.

– Это знак, что я тебя встретила сегодня, – говорит Анни. – То есть... знак, сама не знаю, я вообще-то никогда в них не... Но совпадение, невероятное совпадение!

Она опять громко смеется – он не понимает – чему? – лихорадочно вытаскивает из сумочки пачку сигарет, зажимает губами две, прикуривает обе сразу и протягивает одну ему. Этот жест он видел только в кино и уверен, что она подражает, быть может, сама того не сознавая, какому-то американскому актеру времен их отрочества. Быстро затягиваясь, Анни делится с ним: она после долгих колебаний решила в следующем месяце ехать на родину с другими членами своей группы (какой – она не уточняет), чтобы помочь строить социалистический Алжир.

– Я думала, что время пройдет, и я перестану скучать. Но нет, каждый день все эти годы я продолжала думать о родине. Ничего не поделаешь. Здесь никогда не понимали черноногих. «Пусть адаптируются, где хотят». Ничего себе прием. Единственное, что пугало их больше, чем мы, – это вы, буньюли. Страна придурков.

Хамид морщится:

– Ты предпочитаешь Бумедьена?

– А ты предпочитаешь Помпиду? Как, ты у нас правый?

– Тебе нравятся военные перевороты? Ты фашистка?

– А по морде не хочешь?

Они улыбаются друг другу, оба счастливы снова стать вместе маленькими чудовищами, которые рушили башни консервов и дрались в развалинах. Им никак не удастся привлечь внимание бармена, и тогда Анни перегибается через стойку, привстав на цыпочки, и сама подставляет стаканы под разливочный кран. Он, как наяву, видит ее в лавке отца, когда она карабкалась на полки и брала что хотела, безраздельно царя над банками и бутылками.

– А Клод, как он смотрит на твой план уехать?

– Клод умер, – жестко говорит Анни. – Рак.

Все ее внимание как будто сосредотачивается на том, чтобы держать стакан прямо. Однако он вздрагивает, и немного пива проливается на стойку.

– Странно, – продолжает Анни, уставившись на лужицу золотистого пива, – но я уже с этим смирилась. Никуда не денешься, скажешь ты. Зато... я никак не могу привыкнуть к мысли, что он похоронен так далеко от моей матери, мне это невыносимо. По разные стороны Средиземного моря... Он, думаю, так себе и не простил, что оставил ее там, под квадратиком белого мрамора. Он всегда об этом думал. Искал друзей, надежных людей, оставшихся там, чтобы всегда иметь возможность попросить их сходить на могилу, положить цветы, убедиться, что ее не снесли. И эти тревоги он передал мне. Мне плевать, что я не увижу больше родного дома. Но что не увижу ее могилу – нет, с этим я не могу смириться. Это глупо. Ты когда-нибудь играл в игру «Что бы ты взял с собой на необитаемый остров?».

– Разумеется.

– Насколько я знаю, никто никогда не отвечал: «Моих покойников». А ведь, с тех пор как мы вернулись сюда, нам больше всего не хватает их.

Хамид кивает, но не говорит ей, что никогда не думал о могилах в горах, даже о могилке маленького братца, которого не успел узнать, – иногда ему кажется, что он его выдумал или путает с Далилой или Кадером. Он не хочет исключать себя из этого «мы», произнесенного Анни, лучше уж солгать умолчанием.

Снова движение в теплой массе посетителей. Спины с разных сторон сжимают их, заставляя склониться над стойкой. Из стакана Анни выплескивается немного пены и пузырьков. Извинения летят со всех сторон, никому не адресованные. Молодая женщина отмахивается от вызванных ею покойников, которые витают вокруг них. Рисуя круги на пролитом пиве, она рассказывает Хамиду о своих планах, о друзьях, с которыми уезжает, о людях, которые примут их там, о полях, которые они станут вместе возделывать. Она восторгается Аграрной революцией, которая пришла к нему в тонком коричневом конверте и стоила той последней затрецины. Она старательно выговаривает «Лахдария» каждый раз, когда название Палестро, переименованного после их отъезда, просится на язык.

– А ты не хочешь поехать? – вдруг спрашивает она, уже в восторге от своей идеи.

Он, улыбаясь, качает головой:

– Не думаю, что я там нужен.

– Откуда тебе знать?

– Страна, которая тебя прогнала, больше не твоя страна.

– Они нас не прогоняли, Хамид. Мы сами уехали. Наши родители уехали, потому что им было страшно. Мы оказались в Пикардии... Если безопасность похожа на Пикардию, я, наверно, предпочла бы страх.

Он смеется и говорит:

– У меня это был Орн.

Она морщится и заявляет с наигранным акцентом черноногих:

– Я хочу вернуться к своим корням.

– Мои здесь, – отвечает Хамид. – Я взял их с собой. Чувшь это все про корни. Ты когда-нибудь видела, чтобы дерево росло за тысячи километров от своих корней? Я вырос здесь, и мои корни здесь.

– Но ты помнишь, как там было красиво?

Она широко раскрывает глаза, словно хочет впустить все пейзажи, которые помнит, или впустить его, Хамида, чтобы он вошел в страну ее воспоминаний через два иллюминатора-глаза. И он ненадолго замечтался... Перед ним встают горы, долина, высокие травы в брызгах маков, темные деревья с кривыми стволами; он видит большой белый дом с плоской крышей, поля, полные молодых людей, которые работают вместе, а потом делят хлеб в тени раскидистого фигового дерева, под стрекот цикад, видит Анни в летнем платье, она бежит под оливами, оборачивается к нему, улыбаясь, зовет его по имени, нота взмывает на несколько секунд, растет, становится пронзительной, невыносимой, это уже множество криков, мужчины, женщины надрывают горло, и горят оливы, черные штрихи на фоне неба, запах горелой шины, горелой плоти, человек-огонь спотыкается, человек-железо падает наземь под улюлюканье, мы вернемся за тобой, за твоим отцом, мы вернемся.

– Я не могу, – говорит он. – И потом... я даже не помню языка.

Через несколько минут к Анни присоединяется группа друзей, и Хамид быстро уходит. Он покидает бар с чувством, что совершенно

пьян, пьян от стакана пива и годов воспоминаний, взрывающихся в его мозгу.

В следующие месяцы он будет получать от Анни открытки, сначала из Алжира, потом из Митиджи [\[73\]](#), первые восторженные, следующие все сдержаннее.

На одну из них он ответит, сообщив Анни, что станет отцом. Кларисса беременна.

На эхографии они узнают, что будет девочка, и, покидая больницу, Кларисса не смеет признаться, что разочарована: ей хотелось, чтобы ее ребенок был копией Хамида в миниатюре. Девочка интересуется ее меньше, она слишком хорошо знает себя и представляет себе малышку как вторую Клариссу, которая повторит ее развитие. Хамид же ликует. До сих пор он не хотел этого признавать, но теперь знает: было бы слишком сложно растить мальчика, передавать независимые ценности системы, как передавали ему, не думать о роли старшего сына, которую ему вдолбили с младенчества, не делать все с оглядкой на свое детство, зная, что получится по большей части наоборот. Девочка – другое дело. В его семье, в горных деревнях отцы ими не занимаются. Так что все на его усмотрение.

Узнав новость по телефону, Йема поздравляет Клариссу и желает, чтобы следующим был мальчик. Ее желание никогда не исполнится: Кларисса будет рожать только девочек, четырех дочерей – насмешка природы над патриархальными традициями.

Вскоре Кларисса, Хамид и маленькая Мирием уедут из Парижа и поселятся в деревне. Там родятся Полина, Наима и Аглая. Такая разноголосица четырех имен – это еще что по сравнению с тем, как причудливо распорядилась природа их генами; это не перестает удивлять родителей, ибо у Мирием и Полины волосы пепельные и курчавые, у Наимы черные глаза и черная шевелюра, Аглая унаследовала африканские кудри отца и умелые руки матери, нос у Мирием ничей, Полине следовало бы родиться мальчиком, Аглая болтушка, а Наима лунатик, все они еще в детстве попросили Йему научить их родному языку, но забавно коверкают арабский с единственной целью насмешить, Полина будет утверждать сестрам, что ее удочерили – из-за родинки, которая у нее одной красуется в

уголке рта, – и придумает себе русскую семью, а Наима с годами станет точным портретом матери, только написанным не теми красками. Хамид и Кларисса будут смотреть, как они растут, такие разные, и подбадривать их веселые и робкие шаги. И поскольку с этого дня они станут родителями, то есть фигурами незыблемыми, всецело поглощенными постоянным вниманием, какого требуют дети, – то Наима и помыслить не может, что у них есть еще история, которую можно рассказать. Когда их дочери делали первые шаги по зеленому ковру лужайки – сами они застыли в лоне этого дома, стали своими портретами, стоп-кадрами, неизменными образами.

Часть третья

Праздничный Париж

*После долгих разъездов с удачей
Возвратился премудрый Улисс
Там восторг его встретил собачий
Пряха справилась с мудрой задачей
И они наконец обнялись [\[74\]](#).*

*ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР. «Песня несчастно
влюбленного»*

*Условия еще не созданы для визитов харки, вот
что я должен сказать. Это в точности то же
самое, что просить француза из Сопротивления
пожать руку коллаборационисту.*

*АБДЕЛЬ АЗИЗ БУТЕФЛИКА, Президент
Алжира, 14 июня 2000 г.*



Издали, если отступить, не натолкнувшись на витрину галереи или белую стену в глубине – что невозможно в такой вечер, как сегодня, вечер вернисажа, – видна только зыбкая масса черных платьев и твидовых пиджаков, антрацитовых джинсов над ботиночками на каблуках, рубашек в крупную клетку, фужеров с шампанским, полных и полупустых, со следами губной помады и без, очков в широкой оправе, тщательно подстриженных бород и белых или голубоватых экранов смартфонов. Можно разглядеть, что движение определяют две спирали, аккуратно вставленные друг в друга, одна концентрическая, другая центростремительная, – две медленнодвигающиеся линии: толпа, рассматривающая картины, – и толпа, осаждающая буфет.

Еще попятившись и оставив гостей вернисажа за широкой витриной галереи, можно охватить взглядом тихую улицу 6-го округа, бутики одежды, в которых продавщицы одна за другой гасят свет, кондитерскую с уже опущенными миндально-зелеными шторами из плотного полотна, и в полумраке даже разглядеть Наиму – она, прислонившись к машине и не сводя глаз с публики в галерее, докуривает сигарету.

Здесь она работает уже почти три года. По окончании учебы сначала провела пару лет в редакции литературного журнала, где растяжимый график работы, сперва повызывав всплески адреналина, под конец вымотал ее так, как никогда прежде. И вот она уволилась и очень стыдилась своей слабости, но Соль подбадривала ее, повторяя, что Трудовой кодекс существует не зря. Несколько месяцев она сидела без работы, то в тревоге, то в апатии, а потом приземлилась здесь. Наима и не представляла, что когда-нибудь будет работать в этой галерее, которую хорошо знала. Она видела здесь много выставок, и они привели ее в восторг, особенно фотографии: голые, связанные японки Араки [\[75\]](#), выставляющие напоказ цветы своей вульвы и своих кимоно, величавость их надменных лиц, автопортреты Рафаэля Нила на фоне затерянных земель Исландии и работы голландца Пьерса Янсена на тему усталости – круги под глазами сняты так близко, что на фото напоминают лунные кратеры... Наима могла бы назвать

добрый десяток выставок, когда пришла на собеседование с Кристофом; она так и рассыпалась в комплиментах, полных подлинного, но – она сама это сознавала – чрезмерного пыла, приводила в пример снимки с восторженной точностью, вдруг вспоминала другую серию и, мысленно приказывая себе замолчать, немедленно прекратить монолог, описывала и их тоже и повторяла, что это ее мечта работать здесь – правда, это ее мечта. Кристоф, сидя напротив, только улыбался: он уже решил, что возьмет ее. Ему понравились:

– ее аура, скажет он своим служащим, клиентам, жене;

– ее улыбка и ее грудь, скажет он друзьям.

Вот уже два года они спят вместе. Она и не помнит толком, как это началось.

Между двадцатью и двадцатью пятью годами, после первых романов, похожих на все те, что обещал ей глянец – которые она, возможно, бессознательно сама лепила похожими на них, – Наима решила, что предпочитает спать с незнакомцами. Это не значит, что со случайными. Эти мужчины всегда ей нравятся. Просто они нравятся ей с первого взгляда, и нет нужды оправдывать простую тягу взаимным и часто лживым пересказом своего CV [\[76\]](#).

Иногда, подшучивая над своей семейной историей, она говорит:

– Моя бабушка вышла замуж в четырнадцать лет. Моя мать встретила отца, когда ей было восемнадцать. Должна же хоть одна женщина в этой семье жить по закону больших чисел.

В двадцать пять лет, однако, она решилась притормозить. Не то чтобы желание пошло на спад или ее вдруг настигла в какой-то форме мораль предков, но ей вдруг показалось, что ее поведение было до того заштамповано американскими сериалами – и в частности «Сексом в большом городе», – что стало нормой. Нет больше удивления в глазах мужчин, которым она после нескольких бокалов предлагает пойти к ней, и нет даже уверенности, что им этого на самом деле хочется: они идут, потому что теперь так *принято*, и, наверно, думают, что она приглашает их по той же причине. Ее желание опошлено или, может быть, замарано этой новой обязателькой, распространившейся повсюду. Как будто кто-то требует от женщин (рассматриваемых как целое), чтобы они доказали, что равны

мужчинам (тоже в целом), подражая сексуальному поведению последних, то есть устанавливая отношения хищник – жертва уже даже не в охоте, а в масштабной облаве. Она больше не свободна выбирать, наоборот, должна влиться в ряды тех, кто не выбирает, а хватается все, что подвернется. Наима также неловко от осознания того факта, что, возведя женщин в ранг потребительниц секса, современное общество сделало их просто-напросто потребительницами. В барах и ресторанах, где они больше не гости, которым подают меню без цен, наверно, поняли это первыми: женщины платят по счету. За ними последовали продавцы секс-игрушек, косметички, предлагающие поминутную оплату (обнови твой бразильский купальник в обед, не теряй времени!), и фармацевтические лаборатории, продающие по бешеным ценам курсы лечения, призванные отсрочить менопаузу или, по крайней мере, ее побочки, чтобы «женщины» могли потреблять несколько лишних лет и секс, и его продукцию. И теперь, когда каждая афиша на парижских улицах, каждая статья в журнале призывает ее быть сексуальной хищницей и тратить на это соответствующие суммы, Наима почти потеряла вкус к приключениям на один вечер.

Последние два года она спит в основном с Кристофом. Иногда она встречается с другими мужчинами, но, как ни странно, именно связь с ним стала главной. Ему сорок лет, женат, двое детей. Наима не понимает, почему это продолжается так долго. Однажды, когда она поделилась с Элизой (Кристофа-то она по-прежнему убеждает, что никто в галерее ничего не знает), та ответила – не очень оригинально, но она была в тот день немного рассеянна, – что такие типы все одинаковы: обещают уйти от жены, но уходить и не думают. Тогда до Наимы дошло, что Кристоф никогда ей этого и не обещал. Никогда не делал вид, что их связь может перерасти во что-то большее. Она сказала себе, что прекратит это. Но не прекратила. Она не знает, влюблена ли в него или ею движет только желание, чтобы он в конце концов влюбился в нее, эго ли борется, решив взять этого мужчину измором, или бьется сердце. Может быть, и то и другое.

Наима знает, что ведет себя в этом плане как многие другие: не желает не иметь права хоть на что-нибудь. За свою жизнь она толкала много дверей только для того, чтобы убедиться, что они открыты, это были и двери учреждений, и двери спален. Она боялась, что школы, галереи, музеи, фонды ей откажут, и точно так же боялась, что

мужчины – выходцы из более высокой культурной среды не увидят в ней женщины. И так же, как принцип квоты ей претит, потому что обесценивает ее работу, она не считает себя принятой в их круг, когда думает, что для этих мужчин является лишь экзотикой. Так она и живет, с тоской и тревогой. Спит с мужчинами в ожидании знака, что они ее презирают, а найдя такой знак, презирает их в ответ. Именно презрение сгубило ее последние романы.

Йема сказала ей однажды:

– Я никогда не увижу тебя замужней женщиной, если так будет продолжаться. Найди хорошего человека. Это самое главное. Такого, чтобы не позволял тебе убиваться домашним хозяйством.

– Мне нужен такой, который бы меня понимал, Йема, – рассмеялась Наима, сжимая в руках стакан с горячим чаем.

– Это все равно что искать корни тумана...

Когда одна из ее кузин сообщила ей, что выходит замуж за алжирца из Драа-эль-Мизана, Наима поняла, что у нее никогда не было отношений – сексуальных или иных – с магрибинцем. Хуже того: ни один ее никогда не привлекал. Она задумалась, не развился ли в ней своеобразный расизм, свойственный потомкам иммигрантов: она не может представить себе связь с уроженцем тех же мест, что и ее семья. Это противоречило бы логике интеграции, которая еще и, только более скрытно, является логикой восхождения по социальной лестнице и требует заводить потомство с представителями доминирующего большинства как доказательство своего успеха. Этим сомнением она никогда ни с кем не делилась. И если кто-нибудь когда-нибудь предположит, что она может быть расисткой, она с гневом ответит – ввернув пару арабских слов, – что это невозможно, только не она, нет, с ее-то двойной культурой.

Двойная культура, как же. В десять лет она пекла с бабушкой печенье *макруд*. И она умеет говорить: спасибо, я тебя люблю, ты красивая, как дела – и практически обязательный ответ: спасибо, слава Аллаху, хорошо, – уйди, не понимаю, ешь, пей, ты воняешь, книга, собака, дверь. На этом все, хоть она и не хочет этого признать.

– Иногда ты такая же дура, как мои ученики, – сказал ей Ромен. – Я целыми днями только это и слышу: «М’сье, я не могу быть расисткой, я черная!», «Я не могу быть расистом, я араб!» При этом

они издеваются над азиатами, христианами, цыганами... Но убеждены, что вакцинированы против расизма своим цветом кожи, и вообще, этой болезнью болеют только другие.

– Пошел ты на хрен, *руми*, – ответила ему Наима с широкой улыбкой.

Как обычно, они поссорились, а закончили вечер заверениями во взаимной любви. С первых лет в Париже Наима создала вокруг себя новую семью, которой всегда была верна, а Ромен и Соль – ее незыблемые столпы. В этом, думает Кларисса, хоть и никогда об этом не говорит, дочь до ужаса похожа на своего отца: она унаследовала его потребность все создавать заново, чтобы чувствовать, что живет полной жизнью. И Кларисса вздыхает, потому что выбор Хамида сделал ее центром всего, а выбор Наимы так же неотвратимо удалил мать из центра ее жизни.

Со своими друзьями Наима разработала теорию, согласно которой люди делятся на два племени, племя Грусти и племя Гнева, – и пусть им не говорят, что есть на свете счастливые люди, это не в счет: только когда счастье кончается, их можно распознать, увидеть их истинную суть. Настанет момент, когда каждый рухнет, надо только немного подождать. Бывают дни, когда вам кажется, что все хорошо, – думает Наима, или Ромен, или Соль, – а потом нагнетесь и видите, что шнурок развязался. И вдруг ощущение счастья исчезает, улыбка обваливается, как здание от взрыва: обрушивается, как многоэтажный дом. Вообще-то, вы только этого и ждали, шнурка, пустячной мелочи. Каждому втайне хочется быть злым или несчастным. Это добавляет интереса.

Ромен из семейства Грусти. Соль, как и Наима, дочь Гнева. Они живут вместе много лет, и поначалу случались трудные моменты, гнев восставал против гнева. Иногда они не разговаривали неделями, в квартире словно выростала Берлинская стена. Но в конце концов одна из них непременно сдавалась. Они устраивали международное перемирие и, чтобы отметить событие, пили водку из горлышка. Теперь, когда журналистская карьера Соль так часто держит ее вдали от дома, между ними больше нет этих эпических ссор.

Наима никогда не понимала, откуда берется ярость Соль. Подруга мало говорит о своих родителях, но, кажется, она сбежала из дома, а не просто уехала учиться. Соль защищает свою независимость так, что

можно подумать, будто она помогла ей пережить страшную юность, будто эта независимость – старый швейцарский ножик, который всегда был с нею и не раз спасал в беде. Когда Наима познакомилась с ее семьей, она не увидела ничего, что оправдывало бы поведение Соль, и была озадачена. Ее родители очаровательны, младшая сестренка – воплощенная Златовласка, дом открытый и дружелюбный. Невозможно докопаться до источника ее гнева.

– А твой откуда берется?

– Я ботирияла май корни, – говорит Наима, подражая акценту бабушки.

– А за холодильником искала? – спрашивает Соль (реплика Эвана Мак-Грегора из «Неглубокой могилы», одного из их культовых фильмов).

Она нигде не искала, разве что в немногих книгах, потому что долго думала, что на самом деле ничего не потеряла.



– Ты знаешь Алжир? Бывала там? – спросил ее Кристоф однажды ночью.

Он лежит голый, вытянувшись, глаза полузакрыты. Пах и лобок покрыты золотистой или рыжей порослью, на ней медленно опадает член, сдувается, как под действием невидимой и непоправимой утечки. Извилистое сложное движение натягивает тестикулы. Как будто зверек вертится под кожей, перед тем как уснуть. Кристоф молча ждет, когда его тело изойдет из желания и ликвидирует все его следы.

Поначалу, когда она видела его лежащим на ее кровати после любви, совершенно опустошенным, Наима думала, что он, пожалуй, здесь и уснет. Но расслабленность его тела – это только видимость. После долгих минут неподвижности он встает, одевается и уходит. Ни разу они не провели вместе ночь. Кристоф говорит, что до Наимы он никогда не изменял жене. Ей трудно в это поверить.

– Нет, – отвечает она.

После того как они переспали, дар речи возвращается с трудом, и паузы между фразами затягиваются. Иногда Наима приписывает их смущению, иногда блаженству или застигнутому их сну, но, наверно, просто нелегко вернуться к разговору после таких долгих стонов и всхлипов.

– Почему?

Это какой-то очень медленный пинг-понг: слово, пауза, слово. Однако следующий ответ – готовая песня. Привычный куплет приходит сам, не надо даже задумываться:

– Отец ждал, когда мы с сестрами подрастем, чтобы отвезти нас туда всех четверых. Но в тысяча девятьсот девяносто седьмом, в «Черное десятилетие», моего кузена с женой убили на фальшивом блокпосту, и тогда отец передумал. Он сказал, что никогда не вернется на родину.

Куплет спасителен, можно не барахтаться в мутных водах Истории, которую Наима знает лишь урывками: дед-харки, отъезд в одночасье, отец, воспитанный в страхе перед Алжиром. Куплет практичен, в нем ровно столько трагедии, сколько нужно, чтобы не

было больше вопросов, и у него преимущество: это – чистая правда. До тех пор, пока Аззедин – сын Омара и внук Хамзы, о котором Наима ничего не знает, – не погиб, пробитый автоматными пулями в окрестностях Цбарбара, Хамид давал понять своим четырем дочерям, что однажды они увидят страну, где он родился. Они ждали, разочаровываясь каждый год, когда на школьные каникулы их отправляли к Пьеру и Мадлен в Дижон, а не на ту сторону Средиземного моря. Терпение, говорил Хамид, терпение, вы еще слишком малы. В каком возрасте уже имеют право на Алжир? Этим вопросом задавались иногда Наима и ее сестры, пересекая Бургундию в машине деда и бабушки со стороны матери. Может быть, Хамид действительно думал, что однажды совершит это путешествие, а может быть, просто ждал предлога, чтобы заявить, что это невозможно, тут Наима не уверена. Но с 1997 года он наложил категорическое вето на любой план путешествия, какой бы ни предлагали дочери. Мирием смирилась быстро, заменив потерянную родину отца более далекой и блестящей Америкой, где она живет уже несколько лет. Полина пять раз ездила в Марокко, терлась о границу, как старый кот о диванную подушку. Аглая говорит, что ей все равно: она интернационалистка. Фальшиво распевая Брассенса, она смеется над счастливыми глупцами, которые где-то родились. Только Наима немного настаивала, но как-то вяло. В университетские годы она учила арабский, пока не поняла, что литературный язык, на котором она еле мямлила, очень мало похож на диалект Йемы. Несмотря на то что они такие разные, Наима знает, что ее сестры дают тот же ответ, который она только что отбарабанила Кристофу, когда им приходится объяснять, почему они ничего не знают об Алжире. Куплет – часть их воспитания, точно так же они научены не говорить с полным ртом и не класть локти на стол.

– Мой отец возил меня в Типазу, когда я был маленьким, – мечтательно шепчет Кристоф.

Его член теперь такой крошечный, что не выступает за треугольник волос на лобке. Беззащитный, свернувшийся, он спрятался в поросли. Наима не очень любит его таким. Одна из причин, по которым ей нравится Кристоф, в том, что его эрегированный член похож на него самого: прямой, длинный, может быть, чуточку тонковатый. Он нравится ей не в ней, но в сходстве

между телом и характером человека, к которому она привязана. Соль написала в прошлом году статью о том, как порно придало единообразию детородным органам и мужчин, и женщин: определенный размер, определенная цветовая вариация, фиксированные пропорции. Наима думает, что это абсурд. Мужчины, волновавшие ее, всегда имели члены, похожие на них, – поэтому постель казалась ей продолжением диалога.

– Было море под солнцем, – вздыхает Кристоф, – блестящее, как щит, и стела с цитатой из Камю...

Наима почти машинально продолжает:

– «Здесь я понимаю, что зовется славой: право любить без меры...»

Она немного жалеет, что произнесла эти слова при нем. Ей не хочется, чтобы он подумал, будто это требование. Для нее вопрос чести не просить больше того, что есть. Сейчас, например, она думает: хорошо бы он здесь уснул, а ранним утром они бы снова занялись любовью. Но она ничего не говорит.

– Ты бы хотела когда-нибудь поехать туда? – спрашивает Кристоф.

Он смотрит на нее и улыбается. У него настоящая мальчишеская улыбка, похожая на гримаску, одновременно лукавая и наивная. Ее сердце бьется чаще, потому что она представляет себе, что, возможно, да – они поедут туда вместе. Он скажет жене: деловая поездка или еще что-нибудь, что говорят женатые люди, у которых не хватает честности признаться, что желание склоняется во множественном числе, – и они уплывут за море. Она отвечает торжественно, как будто речь идет о предложении руки и сердца:

– Да.

Но он больше ничего не говорит. Снова улыбается, гладит ее по лицу, потом встает и одевается.



Галерея Кристофа Рейни показывает современное искусство, так написано на витрине. В ней много фотовыставок, но еще скульптура, инсталляции, живопись («Только фигуративное искусство, – требует Кристоф, – абстрактным я сыт по горло. Мне нужны люди, которые умеют что-то делать руками, а не такие, что нашли концепт»), немного меньше видео («Это плохо идет»). Здесь выставляются творцы со всего мира и всех возрастов. Это и нравится Наиме: дом не принадлежит никакому поколению, никакой школе, это не логово, где специфическая группа художников могла бы спрятаться, не высовываясь наружу и упиваясь тем, что она – самая передовая или, наоборот, нарочно в арьергарде, – последний бастион общества, после их бегства утратившего душу.

Однако у Кристофа есть особая страсть – сам он предпочитает говорить о «фирменном блюде». Его интересуют произведения, созданные в бывших колониях в годы деколонизации (кровавой или нет). Он называет это «невыровненной эстетикой». В его кабинете на втором этаже галереи есть Фанон [\[77\]](#) и Глиссан [\[78\]](#).

– Полагаю, ты их читала, – сказал он однажды Наиме.

Она пожала плечами.

– Не понимаю, с какой стати.

Ей-то в ее семье не дали книг, читанных Кристофом в юности, – тех, *исходя из которых* он смог впоследствии обратиться к этим. Хамид читает только газеты и время от времени биографии великих людей. Кларисса читает книги хиппи об окружающей среде и воспитании. На обложках – кусты, сложные стежки вышивки и улыбающиеся лица. Ребенком Наима никогда не бывала в художественной галерее. Ни разу не была она и в театре. Она много лет пыталась присоединиться к доминирующей культуре (которую долго называла просто «культурой», пока не встретила Соль и Ромена и не политизировалась, почти ничего для этого не сделав, просто общаясь с ними, в силу капиллярности), боясь, что ей недостает некоторых ее кодов. Внедрившись в культуру-хозяйку, можно, наверно, взорвать ее изнутри, сказала она себе в университете, не зная, кого

имеет в виду – женщин, молодежь, детей иммигрантов или просто невнятную еще личность, которой предстояло стать ей самой. Но доминирующая культура оказалась много шире, и она оставила свои подрывные мысли. Познать ее до возможности в ней жить, быть в ней как рыба в воде – это цель, на достижение которой нужна целая жизнь.

Наима горда, что окончила факультет, который не дал ей ничего, кроме интеллектуальной пищи, не подготовил к профессии и, записанный в ее CV, никогда никого не впечатлял. Когда она и ее сестры были детьми, Хамид нервно просматривал их дневники и всегда уговаривал учиться лучше. Он мечтал о невыносимой нагрузке, которая, казалось девочкам, растягивала время обучения до старости или смерти. Ни одна из его дочерей так и не поступила ни в Политехнический, ни в Высшую нормальную школу. С годами одержимость отца стала у них шуткой, рефреном, которого они больше не слышали. Мирием и Полина, старшенькие, окончили торговое училище, а младшая, Аглая, с прошлого года преподает в лицее. Наима пять лет изучала в университете историю искусств. По ее словам, она хотела, чтобы в ее нагрузке была бесполезная красота: полезная учеба – это мания бедняков, страхи иммигрантов. Она не желала слушать насчет этого советов отца.

Кристоф учился на том же факультете, что и она, хотя и не так долго: он остановился на лицензиате, как сам сказал ей на собеседовании. Ей хотелось ему ответить, что при этом между их жизнями нет ничего общего. Кристоф унаследовал дом, в котором его отец основал галерею примитивного искусства, и превратил ее в галерею современного искусства. Кристоф вырос в квартире в двух шагах отсюда, среди античного мрамора и африканских статуй, успевших покрасоваться в гостиной его родителей, прежде чем приземлиться в витрине. Он выбирал свой лицензиат, как, наверно, выбирает рубашку утром: из огромного набора возможностей и зная, что любую легче легкого заменить на другую.

– Ты хоть знаешь, что сам есть воплощение всего того, с чем борются эти ребята? – задает она провокационный вопрос, показывая пальцем на книги.

(Реальнее для нее другой вопрос, которого она не задает: ты хоть знаешь, что воплощаешь все то, с чем борюсь я?)

– Из принципа, – отвечает Кристоф, ничуть не смутившись, – а может – чтобы насолить моим родителям, или потому, что для меня каждый всегда имеет право на самостоятельное суждение... я решил, что буду на стороне угнетенных.

Глядя на него, сидящего в роскошном кресле за письменным столом, Наима не может выразить словами того, что у нее на душе. Разве борьба принадлежит кому-то? Разве она принадлежит больше – например – непосредственно угнетенным, чем их вожакам, никогда не подвергавшимся угнетению? Разве бунт Кристофа – что-то серьезное под красивым покрытием салонного лака? Она в сомнениях.

– Ты бы все-таки попробовала почитать, – решает он и протягивает ей «Проклятьем заклейменных» Франца Фанона, прежде чем вызвать такси.

Она смотрит вслед черной блестящей машине и думает о Кристофе: он столько времени проводит в такси, что в нем развилось некое равнодушие к окружающему миру. Он получает все новости (личные, национальные и международные) в уютном, темном и душистом коконе автомобиля. Ни одна из этих новостей не может поколебать спокойствия, царящего на заднем сиденье, шофер все так же будет крутить руль, а под рукой будет все та же кожа. Из этого родилось ощущение собственной непоколебимости, он кажется себе сильным и наделенным душевным равновесием, значительно больше того, что есть на самом деле, потому что дело не в нем, а в салоне машины, это компания умело создала их на заднем сиденье такси, чтобы клиентам было хорошо.

– Я ничего не боюсь, – говорит он иногда с ноткой сожаления.

Наима хотела бы ничего не бояться. Но это не для нее. Ей кажется, что она боится вдвойне. Она унаследовала страхи отца и развила собственные. Только Кларисса, ее мать, не передала ей ни одного. Клариссе, кажется, ничего не страшно, и Наима иногда думает, что жизнь похожа на собаку: когда она чувствует, что человек ее не боится, то и не нападет. Жизнь ласкова к Клариссе, и она в ней как сыр в масле.

В порядке упражнения перед сном Наиме случается составлять списки страхов, и ее собственных, и унаследованных. В страхи Хамида она записывает:

– страх делать ошибки во французском;

- страх называть свое имя и фамилию некоторым людям, особенно тем, кому больше семидесяти лет;
- страх, что ее спросят, в каком году ее семья приехала во Францию;
- страх, что ее запишут в террористы.

Последний явно хуже всех, но Наима осознала его лишь несколько лет назад, в марте 2012-го – начиная с этой даты страх будет неуклонно расти. В пору первых убийств, совершенных Мохаммедом Мера [79], когда еще никто не знал имени убийцы и журналисты терялись в догадках, исламист он или же крайне правый фанатик-радикал, она приходила домой, включала телевизор и весь вечер смотрела канал ВFM («Спасибо, что оскорбляешь мою работу», – говорила Соль), скрестив пальцы и моля: только бы виновный оказался из Белого большинства. И знала, что в нескольких сотнях километров от ее парижской квартиры так же делает Хамид. Да, это он ей передал ощущение, что она заплатит за все, что делают другие иммигранты во Франции. Наима воспринимает как личное все их выверты – от сожженных без причины машин до расстрелов из автоматов. То, что она сделала, думается ей, дорога, которую прошла, ее жизненный путь таков, каким он мог бы быть у всех и каждого. И ей плевать на сострадательные речи, оправдывающие детей иммигрантов, ставших преступниками. И ей плевать на речи матерых консерваторов, раздувающих из этого скандалы, но заканчивающихся тем же: дети иммигрантов становятся преступниками.

Седьмого, восьмого, девятого января 2015 года, когда за расстрелом редакции «Шарли Эбдо» последовал захват заложников в кошерном супермаркете и страшная гонка преследования [80], Соль выворачивало до кишок в ванной комнате, а Наима, застыв, всхлипывала от ярости перед телевизором. После этих трех дней ужаса она замечала, как люди все подозрительней поглядывают на Камеля, сотрудника галереи, и на тунисца – продавца в газетном киоске рядом с ее домом. Она представляет такие же взгляды, устремленные на ее отца, на Йему, на дядей, тетей и кузенов, которым она потеряла счет. Если такие взгляды направлены на знакомых ей людей – они ей невыносимы; но при этом и она невольно побаивается, если в вагон метро входит бородатый мужчина со слишком тяжелой спортивной сумкой через плечо.

Вечером 13 ноября Наима пошла в кино. Она смотрела последнего Джеймса Бонда, и этот выбор задним числом покажется ей почти непристойным по своему легкомыслию. Один ее бывший коллега из литературного журнала погиб в «Батаклане» [81]. Узнав об этом рано утром, она просто рухнула на холодный плиточный пол кухни. Она оплакивала его смерть, а потом, коря себя за эгоизм, оплакивала себя или, вернее, свое место – она уж думала, что прочно заняла его во французском обществе, но террористы уничтожили его с грохотом, подхваченным всеми СМИ в стране и даже за ее пределами.

Она наивно полагает, что виновники терактов не понимают, до чего же невозможной делают жизнь изрядной части французского населения – этого расплывчатого меньшинства, о котором Саркози сказал в конце марта 2012 года, что оно *мусульманское с виду*. Наима злится на них за то, что они якобы несут ему свободу, а на самом деле способствуют угнетению. Этим она продолжает историческую схему неверного толкования, начатую шестьдесят лет назад ее дедом. В начале Алжирской войны Али не понял плана борцов за независимость: репрессии французской армии виделись ему ужасными последствиями, о которых ФНО в своем ослеплении не соизволил даже подумать. Ему и в голову не приходило, что стратеги освобождения предвидели их и даже на них рассчитывали, зная, что они, эти последствия, сделают французское присутствие одиозным в глазах населения. Мыслящие головы Аль-Каиды и Исламского государства усвоили уроки прошлого и отлично знают, что, убивая во имя ислама, провоцируют ненависть к исламу и, шире, ненависть к любой смуглой коже, бороде и тюрбану, которая, в свою очередь, влечет бесчинства и насилие. Это не побочный ущерб, как думает Наима, это именно то, чего они добиваются: чтобы положение стало нестерпимым для всех смуглых в Европе и они были бы вынуждены к ним присоединиться.

Следующие недели после ноябрьских терактов Наима прожила в шоке, и сама не заметила, как наступил декабрь. Она ненавидит декабрь, потому что это месяц, съеденный ночью, наступающей внезапно, прежде чем успеешь проснуться, месяц, съеденный рождественскими праздниками, которые создают иллюзию, что он кончается 25-го, а предыдущие дни превращаются в долгое крещендо

гирлянд и светящихся шаров, месяц, съеденный погоней за подарками, как будто больше ничто не имеет значения, а в этом году для нее еще и месяц, съеденный и страхом перед террористами, и страхом быть так или иначе самой к ним причисленной.

Однажды в предвечерний час в декабре, когда за окном непроглядная тьма, холодно и свистит ветер, она листает журналы в компании Элизы в пустой, без единого посетителя, галерее. Ее коллега открыла «Шарли Эбдо» на стойке ресепшена – Кристоф оформил подписку в январе, как еще около двухсот тысяч человек.

– Все-таки мусульмане толком не осудили теракты, – замечает Элиза. – Можно понять, что остальное население думает, будто они солидарны.

У Элизы особый дар выглядеть такой хрупкой, что никто никогда на нее не сердится, какие бы гадости она ни говорила. Она из тех миниатюрных созданий с огромными глазами, у которых все, даже глупость, приобретает обезоруживающий детский шарм.

– А что, по-твоему, они должны делать? – спрашивает Наима, удивляясь, что не кричит. – Выходить с табличкой «Not in my name» [\[82\]](#)? Я, по-твоему, должна позвонить бабушке и передать ее тебе, чтобы она принесла свои извинения?

Элиза поднимает бровь и мягко отвечает:

– Я ляпнула чушь. Проехали.

Остаток дня они вяло обсуждают просмотренные статьи, старательно избегая тех, что касаются терактов. Наиму взволновало, что Элиза считает мусульман невидимым сообществом, которое может высказываться единым голосом, но еще больше взволновало то, как быстро она сама встала на их защиту, словно – если предположить, что это сообщество и впрямь существует, – она неизбежно входит в него или, по крайней мере, как-то с ним связана. Впрочем, тут дело отнюдь не только в Элизе – телевидение, радио, газеты и социальные сети так и пестрят словами «французские мусульмане» – этого выражения Наима прежде никогда не слышала. А в ходе споров об исламе, которые вспыхивают в разговорах внезапно, как лесной пожар, зачастую один из участников поворачивается к ней в поисках поддержки, ее мнения или пояснения. Твердо объясняя, что это не ее вера (потомок иммигрантов тоже имеет право на атеизм, спасибо), она невольно упоминает бабушку и тех дядей и тетей, кто еще исповедует

ислам, правда, в разной степени (и тогда ей вспоминаются слова Мохамеда: «Ваши дочери ведут себя как шлюхи, они забыли, откуда родом»). Она говорит, что не в том положении, чтобы высказывать мнение *изнутри*, и в то же время высказывает это мнение, да иногда еще как горячо. Она чувствует себя потерянной, этак недалеко и до раздвоения личности. Никогда она столько не думала о своем собственном отношении к религии. Ей вспоминается любопытство, которое она испытывала ребенком, когда видела, как молится Йема. Бабушка всегда делала это очень незаметно: удалялась, не говоря ни слова, и возвращалась через несколько минут. Наима обнаружила, что она делает, только случайно открыв дверь ее комнаты. Глухая тишина, царившая там, поразила ее. Йема стояла на коленях, уткнувшись лицом в пол, на маленьком молитвенном коврике. Она была всего лишь по ту сторону кровати, но Наиме показалось, что бабушка очень далеко.

– Что Йема делает? – спросила она Клариссу.

– Она молится, милая.

Наима не поняла, отчасти потому, что не услышала запятой и для нее мать произнесла что-то вроде «молицамилая» – незнакомое ей слово. Когда бабушка вернулась, она пристала к ней:

– Что ты делала, скажи?

Йема ответила по-арабски, и Далила перевела:

– Она была со своим Богом.

В детстве Наиме нравилась скромность отношений Йемы с Аллахом. Это было куда лучше, чем мессы, на которые водили ее иногда дедушка и бабушка со стороны матери и где она должна была говорить с Богом публично, в холодной церкви и очень долго. То, что делала Йема, было похоже на то, как Наима играла со своими куклами, думалось ей, это было путешествие в воображаемые миры, которое могло совершиться только в тишине комнаты. Она помнит, что после этого тоже пыталась молиться. Но ничего не происходило, и она перестала.

В конце 2015 года Наима составляет список новых страхов:

– страх, что на Йему нападут на улице, потому что она носит покрывало (на самом деле риска почти нет: она выходит все реже и не отходит далеко от дома);

- страх умереть, сидя за стаканчиком на террасе;
- страх, что все годы, пока она не видела своего дядю Мохамеда, он на самом деле учился в Сирии или Пакистане;
- страх поддаться смешению кровей, включив этот последний страх в свой список;
- страх, что число двадцать восемь – столько процентов французов утверждают, что понимают репрессии против мусульман после терактов, – будет еще расти;
- страх, что разразится гражданская война между «ними» и «нами», а Наима не сможет выбрать, с кем ей быть.



Наима готовит себе третью чашку кофе в надежде, что горячий напиток наконец разожмет тиски холода, пробравшего ее до костей, пока она шла от станции метро. За окном кружат снежные хлопья. Конференц-зал, совершенно белый, освещен мягким светом, как будто уже занесен снегом. Наима вздрагивает и садится поближе к батарее. За большим столом Элиза и Камель слегка флиртуют, рассказывая друг другу идеализированную версию своих рождественских каникул, пересыпанную фразами типа «Жаль, что тебя там не было».

Как всегда в начале года, Кристоф собирает свою команду, чтобы «подвести итоги» и «поговорить о дальнейшем» – упражнение, которое теоретически должно подталкивать к принятию благих решений, но на глазах Наимы раз-другой привело к сведению счетов. Но обычно именно подведение итогов ей больше всего нравится, потому что позволяет повторить прошедший год, перезаписать его с умолчаниями и преувеличениями (в этих двух процессах ей нет равных). Заново проигрываются лучшие моменты, провалы превращаются в приключения, выкраивается – попутно – костюм одному-двум особенно тягостным артистам. В этом году все немного иначе:

– Никто не пойдет в галерею сразу после теракта, это надо признать. Людям плевать на искусство.

Людям плевать на многое. Зато после 7 января, как и после 13 ноября, был отмечен взлет продаж раскрасок для взрослых. Итог неутешительный, и Кристоф сосредоточился на будущем.

– К следующему началу литературного года, в сентябре, – объявляет он, – думаю, нам надо сделать что-нибудь об Алжире. Считаю, так будет правильно. В последнее время СМИ рисуют плачевную картину арабского мира. Будь то уничтожение памятников Пальмиры, стрельба в музее Бардо [\[83\]](#) или здешние теракты... В конце концов и сам начинаешь верить, что все арабы ненавидят искусство, культуру, музыку, журналистику и все прочее. Вот я и подумал, что сейчас самое время пойти наперекор страхам и продвигать мощные художественные произведения оттуда. Нас, может быть, назовут

левыми исламистами или мягкотелыми, но это позволит мне осуществить мою мечту: первую ретроспективу Лаллы.

Команда за столом проявляет сдержанный энтузиазм. Лалла – кабийский художник, несколько его работ Кристоф выставлял десять лет назад на коллективной выставке под названием «Борьба льдов». Это были картины маслом большого формата, на которых терялись на охряном фоне здания цвета песка, похожие то ли на дворцы, то ли на надгробные камни. Наима посмотрела каталог, когда пришла в галерею, и они ее не впечатлили. Она сочла, что самой интересной частью каталога была биография художника. Лалла – не настоящее имя, это псевдоним, который он взял в 1960-х годах, сразу после провозглашения независимости Алжира, в честь Лаллы Фатмы Н'Сумер, «Жанны д'Арк из Джурджура» [\[84\]](#). Псевдоним с годами сократился и теперь означает просто Мадам, странное имя для человека, который на фотографии в углу страницы запечатлен стариком с тяжелыми, пожелтевшими от табака усами. Родившийся в 1940 году Лалла был, кстати, учеником и другом художника Иссиахема [\[85\]](#) и через него познакомился с писателем Катебом Ясином [\[86\]](#). Вот оно – сердце страсти Кристофа: искусство вне рамок, революционная эстетика. В «Черные годы» художнику угрожали и Исламский фронт спасения [\[87\]](#), и правительство, так что он, скрепя сердце, перебрался во Францию и сегодня умирает, источенный болезнью века, в домишке в Марн-ла-Валле. Лалла написал очень мало больших картин и, сказать по правде, они не исключительны, признает Кристоф перед своей командой. Зато мало кто знает, что он создал невероятное количество крошечных рисунков тушью, которые всю жизнь использовал как средства платежа, визитные карточки, подставки под стакан – и сегодня они рассеяны повсюду по обе стороны Средиземного моря. Кристоф навестил его в прошлом месяце и видел три десятка таких. Лалла сохранил привычку, закончив рисунки, использовать их в повседневной жизни, поэтому находились такие, что были перечеркнуты списками покупок, а другие, нарисованные на лоскутах цветных тканей, служили ему пыльными тряпками. Большинство оказалось в очень плохом состоянии, и их нельзя выставлять в галерее. Кристоф хочет раздобыть другие, собрать как можно больше. Он уже видит будущую выставку:

– Вывесим несколько больших картин по центру. Не те, не с «Борьбы льдов». Надо найти другие, более старые, те, что он написал, например, когда учился в алжирской Школе изящных искусств у Иссиахема. И не важно, если они не продаются. Мы можем просто взять их как бы напрокат у Алжира. А вокруг, повсюду, просто и грубо, выставить тушь, маленькие рисунки.

– Взять произведения напрокат? Но это же практически музейный ход! – протестует Камель. – Ты уверен, что мы существуем для этого, ведь мы галерея?

– Чтобы сделать то, чего никогда не сделают музеи? Да, мы именно для этого. Фотовыставки еще будут, не беспокойся. Хорошо бы китайца. Элиза, можешь посмотреть, не будет ли у Цзытао чего-нибудь на весну?

– А кореец, который работает со старыми диапозитивами, тебя больше не интересует?

Камель встревожен: это его проект, впервые Кристоф согласился выставить произведение, открытое не им самим. Вдобавок он не любит, когда галерея оказывает честь магрибинским художникам, потому что всегда находятся дамы, которые его поздравляют.

– Интересует, конечно, интересует. Продолжай с этим работать. Может быть, тут нужна коллективная выставка. Боюсь, что один он будет слабоват. Как ты думаешь, сможешь его убедить?

Еще не услышав ответа Камеля, Кристоф поворачивается к Наиме. Она не знает, от смущения ли или из страха обнаружить их связь, но на совещаниях он всегда обращается к ней в последнюю очередь.

– Наима, с Лаллой поработаешь ты. Представляешь, что можно найти в его окружении?

– Его координаты есть в библии?

Это огромная записная книжка в переплете из акульей кожи, священная книга галереи. Кристоф приносит ее с собой каждое утро и уносит каждый вечер, как будто адреса и телефоны художников всем позарез нужны. Наиме кажется, что он похож на ребенка, который принимает обкатанное морем стеклышко за драгоценный камень и уверен, что все – в том числе взрослые – так и норовят его у него украсть. Служащие сначала посмеивались над ним, но очень скоро тоже стали обращаться с библией с величайшей осторожностью.

Наима иногда думает, что потому-то Кристоф и патрон – не оттого, что унаследовал помещение, а потому, что его безумие заразительно. Иногда же, наоборот, она думает, что его безумие заразительно потому, что он всегда был у руля и ему никогда не приходилось обуздывать это безумие, чтобы вести себя как патрон. Кивнув, Кристоф добавляет:

– Тебе, наверно, надо будет связаться с его бывшей женой. По словам Лаллы, у нее сохранилось немало его произведений. Сам он не хочет с ней разговаривать, но думает, что она согласится избавиться от них, если потом получит что-то с продаж.

Наима морщится. Ей претят разводы в среде искусства. Эти истории всегда исключительно безобразны и часто ощетиняются статьями закона, которых ей не обойти. Она сосредоточилась на крошечной чашке кофе и вертит ее перед собой, чтобы не показать своего недовольства. Однажды, в прошлом году, она уже посетовала на одно из поручений Кристофа, а тот в ответ укорил ее – ей что, особого обращения надо, что ли? – нет, кажется, он даже сказал слово «принцесса»: «Тебе надо, чтобы я обращался с тобой как с принцессой». Ей был невыносим подтекст его фразы: ты неспособна просто спать со мной, требуешь, чтобы это было всем видно, хочешь быть особенной, выделяться из простых смертных, в сущности, ты романтична. Так что сегодня она молчит.

– А насчет командировочных постарайся обойтись минимумом. Нам сейчас надо немного прижаться.

– Каких командировочных? – спрашивает она мрачно. – На электричку Париж – Марн-ла-Валле?

– Очень смешно. В Тизи. Кому-то надо будет поехать в Тизи. Там большинство его рисунков. Я говорил с ним: он даст тебе список имен.

В кофе отражаются неоновые лампы конференц-зала, но тут вдруг Наима вздрагивает, и по темной жидкости пробегает волна. Напиток ничего больше не отражает, выплескивается из чашечки и растекается по столу. Она поднимает глаза, уверенная, что ослышалась. Кристоф улыбается широкой улыбкой Санта-Клауса: Наима, я возвращаю тебе Алжир. Алжир, я возвращаю тебе Наиму.

Конечно, Наиме случалось мечтать о таком путешествии, этого она не может отрицать. Арабский в университете она учила, надеясь применить его, если однажды выпадет шанс пересечь Средиземное

море. Но со временем привыкла к мысли, что «Речь о “Черном десятилетии”» как бы узаконила неосуществимость этой мечты, смирилась с тем, что Алжир слишком для нее опасен.

Уже много лет она больше не путешествует в экзотические края. Работа в галерее позволяет ей узнавать новые места через выставленные произведения или биографии художников, которые она пишет для каталога. Ей нравится западать поочередно на равнину Невады, линию японского неба, череду ржавых ангаров на периферии Манчестера и, разглядывая какой-нибудь пейзаж, чувствовать, что это чей-то дом. Быть может, это лишь прекрасное крайнее средство, быть может, ей еще чего-то не хватает, и корешки прорастают в ней, но она считает, что только ей решать, хочет ли она заполнить эти царапинки пустоты. Посылая ее в Тизи-Узу, Кристоф как будто беспардонно присвоил себе право писать ее историю за нее, или, вернее, он обязывает ее вновь вписаться в семейную историю, от которой она освободилась, чтобы написать свою собственную.

– Нет, ну мерзавец, каков мерзавец, – рвет и мечет она, кружа по слишком тесной и заставленной кухоньке.

– Ты не хочешь ехать? – спрашивает Соль из гостиной.

– Хочу! Но я всегда думала, что поеду попозже, когда буду готова.

– Ага, через десять или пятнадцать лет, – издевается Соль, – а может быть, тридцать или сорок. А если не доживешь, тоже ничего страшного.

– Вот именно, – честно признается Наима, присоединяясь к ней. – Примерно так я и думала.

– Что ты теряешь, если поедешь сейчас?

Наима не может ответить. Она потеряет, наверно, отсутствие Алжира, это отсутствие, вокруг которого строилась жизнь ее семьи с 1962 года. Придется заменить потерянную страну страной реальной. Это кажется ей потрясением основ.

– А если это опасно?

Соль поднимает брови, зажав во рту колпачок от ручки. Она ездила делать репортажи в Афганистан, Мали, Египет и еще в какие-то страны, названия которых Наима забыла и вряд ли сможет показать на карте. И, уезжая, никогда не выказывала страха.

– Страна опасна, только если у тебя не те контакты, – говорит она, выплюнув колпачок.

Наима ложится спать, двадцать раз, сто раз прокручивая в голове слова отказа, те, что скажет Кристофу. Чтобы не осталось ни малейшей лазейки, которая позволит ему утверждать, что это просто каприз, она обдумывает их снова и снова. Мелькает даже мысль рассказать ему об Али, но что тут расскажешь, кроме того, что он превратил Средиземное море в неприступную стену и ни один из его потомков ее так и не преодолел. Слишком быстро бегут оранжевые цифры на электронном будильнике у кровати. Они плывут в темноте спальни, сокращая время сна каждый раз, когда Наима на них смотрит. Она продолжает попытки подготовить речь, но складывать слова все труднее.

Пока сон все туже сковывает ее мысли, нелепые цветные картинки вторгаются в так трудно придуманные фразы, и те расплываются, превращаясь то в фиалки, то в динозавров, то в висячие мосты.



Большие окна пропускают продолговатый треугольник света, он дрожит на паркете и лижет кончиком дальнюю стену. Элиза стоит в нем, закрыв глаза, свесив руки. На другой стороне помещения, в тени, ступеньки узкой лестницы ведут на второй этаж, где, кажется, тихо.

– Кристоф не приходил?

Элиза потягивается, отвечая поначалу только тихим хрустом позвонков, потом поворачивается к Наиме:

– Пришел. Он что-то для тебя оставил на стойке.

Она продолжает тянуться, словно тщательно пересчитывая все мускулы, безразличная к взглядам прохожих – может быть, даже с радостью выставляя себя напоказ. Наима открывает пластиковую папку и достает фотографии рисунков, о которых Кристоф говорил вчера. Она рассыпает их на гладкой белой поверхности стола, смотрит на все сразу, потом разглядывает один за другим. Их качество ее поражает. В рисунках Лаллы есть и тонкость, и грубость одновременно: среди его работ нет безмятежных, даже в самых недавних рисунках. Наиме нравятся люди, которые, старея, не дрябнут. Это усилие и изрядный риск: тело с возрастом хуже переносит удары. Решиться стоять прямо, не сгибаясь, – значит подставиться под перелом костей или эго. Потому-то у большинства людей позвоночный столб с годами медленно сгибается, и это похоже на обретение какого-то покоя – что для Наимы сродни отречению и придает последним произведениям стареющих художников ностальгичность виньеток, совсем ей неинтересную.

Кристоф спускается из кабинета, и Наима смотрит, как он ходит по большому светлому залу, не заговаривая с ней, разве что бросив какую-то банальность. Прежде чем отказаться от поручения, она может сделать хотя бы первую часть работы: встретиться с Лаллой. Потом всегда можно будет уклониться, думает она. Но его ей хочется увидеть. Она хочет знать, кто еще рисует так в семьдесят с лишним лет.

Роясь в библиотеке в поисках телефона старого художника, она даже ухитряется убедить себя, что, если проявит смекалку во время их

встречи, то сможет проделать всю работу из Парижа: выбить достаточно контактов и связей, и тогда произведения сами придут к ней, чтобы не пришлось покидать уюта белых стен и широких окон.

– Приходите завтра, – предлагает женщина, ответившая по телефону.

Сидя в электричке, Наима не может отделаться от странного чувства, что ступает в западню. Она вспоминает сцены из фильмов, в которых маленькая группка медленно продвигается в теснине, очень подходящей для засады. В детстве они с сестрами кричали киногероям:

– Назад! Да назад же!

Тогда они были уверены, что надо обладать глупостью персонажей фильмов, чтобы продолжать путь, несмотря на глухое ощущение угрозы, и сами они вели бы себя в разы умнее. Однако она не выходит на следующей станции и не возвращается назад. Лишь усаживается поудобнее на сиденье и грызет ногти, глядя на пригороды, проносящиеся мимо между туннелями.

Приехав, она видит только оштукатуренные бежевые домишки и улицы с именами каких-то министров Третьей республики – никакой экзотики и никакой опасности. Она идет до тупика, указанного женщиной по телефону, он носит название, какие дают улицам только в коттеджных пригородах: тупик Парка Орешников или Больших Дубов – она толком и не запомнила, – неловкая и, может быть, чуть презрительная попытка внушить жителям, что они за городом. Дом художника как две капли воды похож на соседние и на другие, на окрестных улицах. Ничто не указывает на то, что в нем живет человек искусства, ни единого квадратного сантиметра красоты или безумства нет в этом практичном строении со следами наигранного кокетства. Ни больших дубов, ни орешника. Лалла открывает ей дверь и, коротко взглянув, говорит с улыбкой:

– Замечательно, они прислали арабку.

– Кабилку, – машинально поправляет Наима.

Лалла прыскает:

– Еще лучше! Входите же.

Внутри создается впечатление, что дом обставляли, не собираясь в нем жить. Все плоско и нейтрально, от цвета стен до мебели и

безделушек. Однако, если всмотреться, книги с загнутыми страницами, стопки писем, диски Айти Менгеллета [88], рисунки, валяющиеся среди журналов под стеклянной столешницей журнального столика, постепенно, мазками, дают понять, что это жилище Лаллы Фатмы Н'Сумера. Коттедж как будто делает шаг в сторону, вырываясь из типовой жизни французского пригорода, жизни, распятой между Парижем, почти недостижимым отсюда, и Евродиснеем.

Наима невольно сравнивает этот дом с квартирой своей бабушки, где Алжир на поверхности, бросающийся в глаза и кричащий: Алжир в настенных мусульманских календарях (которые бабушка не может прочесть, как она поняла много позже и к своему немалому удивлению), в медных подносах, украшенных арабскими буквами, в фотографии Мекки и ее золоченой рамке, инкрустированной фальшивыми драгоценными камнями, в чайном сервизе, в липких финиках, которыми полны шкафчики, и в коллекции кускусниц, гордости Йемы, занимающей все полки в чулане. Алжир на плоском экране огромного телевизора, всегда включенного, всегда на арабском. Алжир в украшениях на пальцах и запястьях, в красно-желтой косынке на волосах Йемы – и в них тоже Алжир, каждый месяц она тщательно красит их хной. Но копни поглубже – ничего. Семья Наимы кружит вокруг Алжира так давно, что они уже толком не понимают, вокруг чего кружат. Воспоминаний? Мечты? Лжи?

– Прости за прием, – извиняется Лалла, наливая ей кофе. – Просто – ты замечала эту склонность французов думать, будто все алжирцы понимают друг друга? Двадцать лет я здесь, и мне кажется, что всякий раз, когда приходится иметь дело с каким-нибудь учреждением, они непременно отыщут дежурного араба, чтобы прислать его ко мне.

– У Кристофа Рейни в кабинете есть все файлы биржи труда с классификацией по стране происхождения, – отвечает Наима. – И он нанимает нас на временную работу в зависимости от национальности художников, которых выставляет.

Лалла смеется, смех переходит в кашель. Наима находит, что он похож на Хемингуэя, с белой бородой, усами слегка противного цвета и черными глазами, которые не улыбаются – улыбка появляется в морщинках вокруг глаз, но никогда не согревает радужку.

Наима думала, что проведет с ним час или два, что они обменяются именами, телефонами, адресами, описанием произведений, которые ей нужны, и она сядет на обратную электричку. Она представляла себе результативный разговор, какие обычно бывают у нее с творцами, – речи о творчестве, мнения о мире и излияния души те приберегают для Кристофа, а к ней обращаются лишь за деталями обслуживания. Но Лалла говорит с ней вразброд обо всем и ни о чем (это просто фигура речи, он говорит о своей жизни) со словоохотливостью, которая удивляет ее и мешает направлять разговор. Он делится с ней своими чувствами: эта ретроспектива для него связана со скорой смертью (рак) и он страшится и одновременно желает ее. Он не знает, хочет ли прожить так долго, чтобы увидеть ее.

– Представь себе, – говорит он Наиме, – впервые я воочию увижу все, что сделал с шестидесятих годов до сегодняшнего дня, концентрат моей жизни в каракулях тушью и красками. А что, если я скажу себе в последний момент, когда создавать что-то новое уже поздно, что это все дерьмо? Я очень этого боюсь.

Она отвечает дежурными комплиментами, от которых старый художник со вздохом отмахивается. Чуть позже, высыпая на тарелочку печенье из пакета, он возвращается к своим страхам:

– Я смирился со смертью, это было не слишком трудно. Но не знаю, смогу ли смириться с тем, что прожил жизнь посредственности, и с этим умереть.

– Как можно смириться со смертью? – спрашивает Наима.

Она уверена, что это всего лишь слова, кокетство мужественного человека. Сидящий в бежево-сером кресле, одетый в широкий свитер с налипшей собачьей шерстью, художник кажется ей слишком старым и слишком уязвимым, чтобы не бояться близкого конца.

– Это вопрос долгих отношений со смертью, – отвечает Лалла, маленькими глоточками допивая кофе.

В молодости он несколько раз пытался покончить с собой. Было сложно, рассказывает он, пребывать в такой унынии в алжирской деревне 50-х годов, потому что старики твердили только, что это дело рук джинна, и никто не говорил с ним о его печали, ведь это все равно что беседовать с джином, а такого никто не хотел. А потом все изменилось – с началом войны, в конце 1954-го, когда реальная смерть вошла в его поле зрения. Ему было лет пятнадцать. Его старший брат

очень скоро ушел в горы, а он стал выполнять поручения ФНО. Это был удивительный поворот для Лаллы: когда жизнь была ему дана, он не хотел жить, но теперь, когда она оказалась под угрозой, – захотел жить как никогда. Были невероятно мощные всплески адреналина, когда на пути встречались патрули, и он помнит безумные гонки по лесам и смех, вырывающийся из груди, который он не мог сдержать, если понимал: он оторвался от преследователей. Никогда он так не любил жизнь, как в эти минуты, говорит Лалла, и никогда больше так не смеялся. И вот, когда вся страна начала дышать после семи лет кошмара, он испугался. Испугался, что с уходом риска вернется желание умереть. Так немного позже он оказался среди кабийских мятежников и в конечном счете восстановил против себя и правительство, и исламистов. По убеждению – да, конечно, но еще и для того, чтобы укрепить свою хрупкую жизнь. Лалла считает, что дозирует риск, как диабетик дозирует уровень инсулина. Мало – он хочет умереть, много – умирает на самом деле. Он бежал в 1995-м, потому что «Черное десятилетие» угрожало равновесию, которое он терпеливо выстраивал.

– Я экс-самоубийца, готовый стать бессмертным, лишь бы каждый день быть под угрозой, – говорит он.

Болезнь, в конце концов, тот же риск. Она тоже заставляет любить тот факт, что ты жив. А когда придет смерть, он уже достаточно наиграется с нею, чтобы она имела право забрать его с концами. Он это сознает: она должна быть разочарована, ведь он столько раз танцевал с ней и всегда рано или поздно убегал.

– Жизнь жестока. Моя, во всяком случае...

Эта последняя фраза вдруг отвлекает художника от рассуждений и возвращает к Наиме.

– Твоя семья пережила войну? Когда они приехали во Францию? – спрашивает он.

Хамид твердил дочерям, что ответ на этот вопрос предполагает не просто дату, но открывает дверь всей Истории, еще и сегодня вызывающей неадекватные реакции. Обычно Наима никогда не называет год, ограничивается десятилетием. Но ей так хорошо здесь, где пахнет старой псиной пополам с ароматом кофе, и еще, может быть, какая-то часть ее надеется, что если она поссорится с

художником, то отменится маячащая поездка в Алжир. И она говорит это:

– В шестьдесят втором.

Он едва приподнимает брови.

– Харки?

– Да.

Впервые Наима слышит это слово, произнесенное с арабским акцентом, и «х», такое раскатистое, прибавляет ему серьезности. Откинувшись в кресле, Лалла смотрит на нее с бесстрастным лицом.

– А ты сама что об этом думаешь?

– Не понимаю.

– О независимости что думаешь?

– Я – за, разумеется.

– Разумеется...

Больше он ничего не говорит. Звяканье ключей прерывает двусмысленное молчание. Входит Селина, нагруженная покупками, и весело здоровается. Это с ней Наима говорила по телефону. Она поймет во время будущих визитов, что, с тех пор как старый художник болен, Селина при нем одновременно любовница, медсестра, натурщица и ассистентка, многофункциональная и незаметная спутница, сероглазая и упрямо любящая. Когда она предлагает остаться ужинать, Наима понимает, что не заметила, как прошел день. Вскочив, она смахивает с юбки крошки от печенья.

– Приходи еще, – говорит Лалла, – сейчас я слишком устал, чтобы привести в порядок мысли. Слишком много говорил.

И при виде его тонкой улыбки Наима спрашивает себя, не нарочно ли он это сделал, не пытается ли оттянуть планирование выставки, утопив ее в потоке своих рассказов, как будто хочет в последний раз станцевать со смертью и ускользнуть, несмотря на свои слова о смирении.

На следующей неделе печенье в тарелке на журнальном столике другое – «Кошачьи язычки». Это коробка из супермаркета – таких, должно быть, продается тысячи по всему миру каждый день, – однако, надкусив «кошачий язычок», Наима снова вспоминает Йему. В какой-то момент ее детства – она точно не помнит, когда, бабушка решила включить западную пищу в свои рецепты и припасы, как будто хотела

показать внукам, что идет в ногу со временем, или боялась, что вкусовые бугорки маленьких французов склонят их к таким продуктам, каких у нее-то и не окажется, – Йема экспериментировала: кускус с жареной картошкой, пицца с бараниной, гамбургер из *кесры* и, разумеется, все сорта печенья из крупнейшего во Франции «Леклерка», который соседствовал с «зоной». Она так гордилась своими покупками – целиком и полностью основанными на картинках с упаковки, – что никогда Наима и ее сестры не посмели ей сказать, что сухое печенье из супермаркета безвкусно и они ждут возвращения сладостей на меду. Наима сбилась со счета, сколько «кошачьих язычков», в точности таких же, как те, которыми угощает ее старый художник, она съела, улыбаясь бабушке, чтобы не огорчать ее. Она доедает печенье – вкус, а вернее сказать, полное его отсутствие, не изменился.

На этот раз Лалла одет в бледно-желтую рубашку и грубый старомодный пиджак. Он похож на старого дядюшку со свадебной фотографии или на одного из этих допотопных господ, что надевают лучший костюм, чтобы пойти выпить по стаканчику на городском тотализаторе в воскресенье – не ради тотализатора и пьяных рож, с которыми они там встретятся, нет – а просто потому, что сегодня воскресенье, день костюма и лаковых штиблет. Наима, желая успеть побольше, чем в прошлый раз, с порога заводит разговор о рисунках, которые хочет раздобыть Кристоф:

– В какой момент вы начали работать с этой формой? Самые давние – они какого года?

Лалла защебил нижнюю губу двумя пальцами:

– В шестьдесят пятом или чуть раньше. Точно не помню. Во всяком случае, через несколько лет после независимости...

Он мечтательно улыбается этому слову и, не обращая внимания на настойчивые (может быть, даже панические) взгляды Наимы, продолжает рассказ о своей жизни с того места, на котором прервал его в прошлый раз, как будто это книга с закладкой, которую он спрятал под журнальным столиком, чтобы она, когда вернется, могла открыть ее сразу, без усилий, на нужном месте.

– Независимость – это было... Это был чудный и трагический бардак, вот что. Были хорошие моменты, очень хорошие. Благодаря социализму у нас вдруг появилась масса новых друзей. Столица была

полна иностранцев, они говорили на языках, какие нам раньше и в голову не приходили. Интеллектуалы, мастера из далеких и холодных стран приехали преподавать. Нас учили пользоваться техникой. Во всех областях, будь то сельское хозяйство, угольная промышленность или пластические искусства, техника была царицей, или, вернее, нам говорили, что это мы можем быть ее царями. Поначалу я учился на курсах фотографии и кино. Я несколько раз встречал Рене Вотье ^[89]– тебе это что-нибудь говорит? – с его одержимостью снимать вживую, ловить каждый кадр того, что он называл «наш народ на марше». Он однажды послал меня снимать военный парад, я видел бывших муджахидов, на костылях, с торчащими культями, смотрел, вытаращив глаза, но не снял ни одного кадра. Я забыл, что у меня есть камера.

Он смеется, и белесые усы над верхней губой подрагивают, как маленький зверек.

– Я думаю, что техника – это всегда было не мое. Вообще-то, мечтать о технике – мне это всегда казалось делом крестьянским. Вспоминался отец, как он говорил мне, что однажды, может быть, у нас будет трактор, как будто это была самоцель жизни. А я вот занялся живописью и рисунком. Это мне нравилось. Я поступил в Школу изящных искусств в Алжире и там познакомился с Иссиахемом. Он меня впечатлял, конечно же, но не по причинам художественного толка – я не знал, что такое быть хорошим или плохим художником, не уверен, что и сегодня знаю, нет, – он впечатлял меня, потому что я знал: это он нарисовал банкноты в пять динаров, а мне это казалось абсолютным успехом. Я хочу сказать: вот пишешь ты картину, которую повесят в такой-то галерее или в музее, это хорошо для тебя, прекрасно для твоего CV. Но банкноты в пять динаров! Они ходят из рук в руки целый день. Все их видят. Твоя живопись выпадает из бумажников, из платков и носков, звяк-звяк, твоя живопись лежит в кассе магазина, твоя живопись возвращается в банки, прячется под матрасами. Думаю, я потому и большие формы писать никогда не любил, что уж слишком впечатлили меня эти чертовы пятидинаровые банкноты Иссиахема.

На этот раз Наима смеется вместе с ним. В дверном проеме появляется Селина. Она не спрашивает, что их рассмешило, не пытается вступить в разговор. Она только смотрит на два озаренных

смехом лица, недолго, и возвращается к своей работе, чуть нахмурив брови. Наима спрашивает себя, сознает ли Селина, что непрерывные излияния художника, на первый взгляд спонтанные и невнятные, – этот старческий рефрен, похожий на лодку с разбитым рулем, – в конечном счете выстраивают крепкую стену из слов, не дающую ей приступить к своей теме. А может быть, он на самом деле и не строит эту стену из слов – другой вариант, – а это она, Наима, превращает бессвязный разговор в горячий монолог, потому что ее собственные реплики кажутся ей столь незначительными, что она забывает их, едва произнеся, а рассказы Лаллы не дают перевести дух, как будто он Шахерезада, а она султан – впрочем, если последний и прерывал множеством реплик рассказчицу в своем дворце с арабесками и фонтанами, то в разных версиях «Тысячи и одной ночи» это никак не отражено, сказки не пересыпаны их диалогами, – и Наима, как султан, стирает себя из своих воспоминаний, чтобы сохранить лишь пьянящий сок историй. Художник смотрит в дверной проем, опустевший после ухода Селины, и продолжает:

– Да... беда в том, что нам понадобилось немного времени, чтобы понять: независимость – это еще не все. Кто это сказал – кажется, Шекспир? – власть не бывает невинной. Почему же мы продолжаем мечтать о хороших правителях? У тех, кто хочет власти достаточно сильно, чтобы ее получить, чудовищное эго, непомерные амбиции, все они потенциальные тираны. Иначе не метили бы на это место... Когда избрали Бен Беллу – уже звучали глухие голоса, что все подтасовано, что он не должен был оказаться на этом посту, что он закоротил внутренние переговоры. Я их не слушал, потому что хотел, чтобы независимость была прекрасна. Но в шестьдесят пятом уже стало трудно верить, что мы живем в демократии... Про переворот Бумедьена тебе кто-нибудь рассказывал?

Наима качает головой, и глаза Лаллы загораются, уже полные удовольствия рассказать. Он наклоняется вперед:

– Ты художник, тебе это понравится. Представь себе, что как раз тогда Понтекорво снимал в городе «Битву за Алжир» [\[90\]](#), и мы привыкли видеть солдат, танки и весь карнавал войны. Увидев людей Бумедьена, мы подумали, что это Понтекорво снимает в тот день большую сцену. Говорили: «Ну силен, во дает!» Да и солдаты сумели воспользоваться путаницей. Они говорили нам: «Не надо паниковать.

Просто кино». А на самом деле это был настоящий государственный переворот, и на завтра они напустили танки на оппозицию. И все началось сызнова: аресты, исчезновения... Вот так исчезнуть ужасно. Я писал как одержимый, надеясь, что это не даст мне исчезнуть. Я хотел прославиться, чтобы хоть мое имя осталось после меня, если ничего не останется от тела.

Он снова протягивает ей тарелку с печеньем, и Наима, еще перекатывая во рту липкие крошки, послушно берет. Она ест «кошачьи язычки», слушая истории из иных времен, и ей кажется, что она на несколько часов вернулась в детство.

– В те годы так или иначе все творили, – продолжает Лалла, – искусство в нас, можно сказать, зудело. Театр в Алжире, например, буквально кипел. Спектакли были каждый вечер, трупп появлялось так много, что маков в поле, была труппа Катеба, конечно, но...

Что-то, похоже, приходит ему в голову, и он осекается на середине фразы. И говорит с сокрушенной улыбкой другим, угасшим, голосом:

– Прости, если я повторяюсь, ты наверняка ведь уже все знаешь.

В этот миг – именно в этот, хотя это в то же время и финальная точка долгой череды других мелких мгновений, начавшейся десять или пятнадцать лет назад, – Наима поняла, до какой степени ничего не знает об Алжире – историческом, политическом и географическом, о том, что она назовет настоящим Алжиром в противовес Йеме и Пон-Ферону, которые были для нее Алжиром личным и пережитым как опыт.

Вернувшись домой, Наима берет словарь Ларусса [\[91\]](#), валяющийся в углу (она регулярно заглядывает в него, несмотря на появление Интернета, по привычке, унаследованной от отца). Открывает его на букве *x* и читает:

Харки, *сущ. м.*:

Военнослужащий в формировании харки.

харки, *сущ. и прил.*:

Член семьи харки или потомок харки.

– Нет, – говорит она словарю. – Об этом не может быть и речи.

В этот вечер Наима звонит Клариссе и сообщает, что собирается навестить их в конце недели. По голосу матери она понимает, что та

встревожена: Наима обычно приезжает только в случае любовных горестей, временной безработицы и – реже – на национальные праздники, когда выпадают длинные выходные. Наима уверяет, что все хорошо, просто надо поговорить. Сама вслушавшись в то, что сказала, она понимает, как угрожающе звучат ее слова. Эта фраза предшествует разрывам, это ложь злодея в фильмах-экшен, чтобы ему открыли дверь... Неужели так трудно *просто поговорить*? Неужели, когда изъявляют это желание, хотят всегда другого? Неужели это не обманка – заключает наконец Наима, – потому что хотят-то на самом деле «вызвать на разговор» – а это еще более тревожная формулировка, к тому же чаще всего с немецким акцентом?



Дом детства, кажется, с каждым ее визитом все меньше. Он давно не похож на домину, окруженную бескрайним лугом, по которому она когда-то бегала с сестрами. Пруд за садом, замерзавший зимой и служивший им катком, стал маленькой лужицей. Наима удивляется каждый раз, когда приезжает к родителям: как непохожи размеры картинки на то, что сохранили ее воспоминания.

Заноса чемодан на второй этаж, она в который раз рассматривает висящие на лестнице семейные портреты. На них запечатлены поколения, предшествовавшие Клариссе, и многочисленные ветви семьи. Семья же Хамида представлена только одной фотографией Али времен Второй мировой войны и еще одной, на которой он позирует с Йемой в кухоньке в Пон-Фероне, отпечатанной в черно-белом варианте, чтобы было похоже на архивный снимок. С отцовской стороны у Наимы никогда не было ни прадедов, ни двоюродных дедов, позирующих на фоне шелковых цветов и пестрых тканей.

В первые часы по приезде она ведет себя как обычно: выходит прогуляться в сад, несмотря на колючий холод, помогает матери разморозить яблоки для пирога, делится с родителями последними новостями о сестрах. Она не спешит приступить к тому, зачем приехала. Разговорить Хамида – дело нелегкое, Наима это знает. В разговоре у него только две ипостаси – он или пламенный трибун, или Пьеро, то есть уходит в молчание. Когда он хочет говорить, он говорит – даже слишком много, толкает речуги, его не прервешь и не перебьешь. Если же тема не интересует его, пугает, огорчает или сердит, он забивается в угол своего сознания и прикидывается дурачком.

Наима ждет, когда они останутся вдвоем в кухне, чтобы осторожно изложить ему замысел Кристофа. Рассказывает о первых встречах с Лаллой, пытается рассмешить отца, повторяя анекдоты старого художника, упоминает о рисунках, оставшихся по ту сторону моря. Говоря, то и дело повторяет название страны, где находятся рисунки, сначала робко, потом все громче, но Хамид на это слово не реагирует, оно как любое другое, как если бы она сказала «стол», или

«квартира», или, например, «пион», а она все равно продолжает хлестать им наотмашь, надеясь, что будет повторять и повторять его, и он в конце концов выдаст себя. Отец расставляет на подносе аперитивы и молчит, будто ждет, чтобы она перешла к делу, будто знает – но может быть, у нее уже паранойя? – что все это лишь долгая преамбула. Наима говорит в пустоту, снова и снова, без конца и без помощи, ей кажется, что она теряет почву под ногами, и, сбиваясь и злясь все больше, она выпаливает:

– Я еду туда. В Алжир.

Она думает, что сказала это, только чтобы он среагировал, но, бросив ему слова, понимает, что не лжет: она поедет туда. Она не знает, когда приняла решение, может быть, с самого начала, не отказавшись сразу от предложения Кристофа, а может быть – в гостиной Лаллы несколько дней назад, или секундой раньше, поняв, что молчание отца не оставляет ей иного выбора.

Он тщательно режет колбасу, и сухой и частый стук ножа напоминает звук маятника, который, отмеряя время, удлиняет его. Закончив, он кладет тонкие кружочки в фарфоровую миску и наконец решается посмотреть на Наиму:

– Я могу тебе запретить?

– Нет.

Хамид пожимает плечами, давая понять, что в таком случае ей не надо было ему об этом говорить.

– Я бы хотела, чтобы ты мне помог.

– Не понимаю как.

– Ты мне никогда ничего не говорил об Алжире, – вздыхает Наима.

Представляя себе этот разговор, она думала, что эта фраза вольется в непринужденную беседу летним вечером, воображала легкость слов, окутывавших кружевами бокалы с белым вином и кружочки колбасы. (Алкоголь + свинина, иногда ей кажется, что ее отец считает своим долгом на каждом шагу доказывать, что можно быть магрибинцем, не будучи мусульманином.) Но реплика зла, полна упрека, а сад за окном гостиной покрыт январским инеем.

– Что я, по-твоему, должен тебе сказать? – отвечает Хамид, не глядя на нее. – Я узнал, какой он формы, когда увидел карту мира во Франции. Я впервые увидел столицу, когда мы бежали из страны.

Так что я могу тебе рассказать? Какого цвета были стены в спальне? Я ничего не знаю об Алжире.

– Но твое детство?

– Дети везде одинаковы.

Чтобы он не замкнулся в обиженном молчании, Наима не настаивает. Она предпочитает перевести разговор на фильмы о супергероях; эта страсть, которую она издавна делит с Хамидом, иногда кажется ей смутной потребностью, чтобы кто-нибудь их спас, хоть она и не знает толком от чего. Весь остаток обеда они классифицируют людей X по предпочтениям, смеются над Суперменом, слишком непобедимым и всегда плохо причесанным, зато превозносят Человека-паука с его вечными нравственными терзаниями и смеются над Клариссой, которая так и не сумела полюбить этих героев и вечно всех путает.

Назавтра она соглашается на утреннюю прогулку, хотя раскисающие с ноября по март дороги под голыми деревьями всегда наводили на нее тоску. Все трое идут в тишине по лесу, который тоже меньше, чем жил в ее памяти, и потерял свои тайные драгоценные местечки: поляну Фей, тропу Ланей. Когда Кларисса отстает в поисках нарисованных на стволах знаков, указывающих будущие зоны вырубki, Наима решает задать отцу вопрос, который не дает ей покоя:

– Что делал Али во время войны?

В голове Хамида взрывается ощущение, которого он не испытывал с отрочества. Словно кто-то скребет ногтями по черной доске. И звук кажется ему таким громким, что и Наима его слышит, он передается из его черепной коробки в голову дочери, ввинчивается ей в ухо.

– Я не знаю, – признается он наконец. – Думаю, ничего особенного.

Она видит по его глазам, что это надежда, которую ему хочется превратить в истину.

– Тебе, наверно, надо спросить у бабушки, – добавляет он, – а то я ничего не помню.

– Очень смешно, – отвечает Наима.

Он отлично знает, что она не может вести такие разговоры с бабушкой. В конце концов, это он не захотел учить своих детей арабскому. Когда дочери спрашивали его – почему? – он отвечал, как и почти всегда, если разговор касался Алжира, что ничего не помнит и уж точно забыл грамматику этого языка, на котором, однако, продолжает говорить, правда, все хуже, с матерью, братьями и сестрами. Чтобы учить языку, утверждал он, надо знать, как он функционирует, как строится. Наиме его ответы никогда не казались убедительными. Ей кажется, что он перепутал интеграцию с политикой выжженной земли, почти не оставив дочерям пространства для дискуссии с жалким уровнем французского у Йемы и маловразумительными переводами дядей и тетей, еще оставшихся при матери. Она заканчивает прогулку, нарочно волоча ноги, как обиженный ребенок.

Когда они снимают грязную обувь у двери, Наима без особой надежды задает тот же вопрос матери.

– Никто не знает, я думаю, – отвечает та. – Но одно могу сказать наверняка: твой отец до конца жизни не простит себе, что не знает.

И Наима слышит за этой фразой другую, невысказанную: *может быть, тебе лучше оставить его с этим в покое*. Но она не может повиноваться, вот так легко и просто, как в ту пору, когда родители казались ей если не героями, то, по крайней мере, наделенными полной властью, которой она должна была подчиняться, потому что глубинный смысл от нее ускользал, и она доверяла им, ведь они его постигли за нее. Она бормочет сквозь зубы ироничное «спасибо».

В доме звонит телефон, и Кларисса бежит ответить в полуспущенных носках. Хамид же, сидя в кресле в гостиной, даже не потянулся к аппарату. Вот уже несколько лет он не подходит к телефону, он решил – Наима не помнит точно когда, наверно, вскоре после выступлений Мохамеда и его печали в родительском саду, – что никогда больше не удосужится или не рискнет поговорить с братьями и сестрами. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое, в его сжимающемся доме, с женой и дочерьми, – сперва их все прибывало, потом долго было четыре, а теперь становится все меньше, по мере того как учеба зовет их из дома, – в покое с его женой, с его садом и

мыслями о дочерях, живущих своей жизнью в больших городах, далеких и не очень.

В детстве Наима часто видела его говорящим по телефону и согнувшимся под тяжестью того, что они с Клариссой со смехом называли (она со смехом, а он с кривой ухмылкой) его семейной жалобной книгой. В ней были истории с косяками и пивом Мохамеда, из которого Йема отчаялась когда-нибудь сделать мужчину, проблемы со здоровьем Салима – этот, как и полагается последышу, оставался самым слабеньким, всегда новые и всегда несчастные любовные неурядицы Фатихи, искавшей любящего и верного мужа среди мужчин, по определению неверных и, скорее всего, нелюбящих, и, разумеется, были долгие звонки Далилы, которая поносила, почти не переводя дыхания, жилищную контору, обкрадывающую семью, врачей, не умеющих лечить ее брата, экономику, прогнившую и погрязшую в безработице, правительство лжесоциалистов, никогда и бедняков-то в глаза не видевших, и Далила распалялась все больше, сваливая в одну кучу небеса, хозяев, свою семью, богатых, бедных, землю, воздух, воду, придурков, фашистов и, в первую очередь, соседку Йемы, эту старую ведьму с лавандовыми волосами: однажды она меня доведет, *уалла* [\[92\]](#), однажды я с ней расправлюсь. Хамид вздыхал и повторял:

– Да, да, успокойся, что я могу сделать, ну не разговаривай с ней, успокойся, не настраивай их друг против друга, да, нет, ладно, ладно.

Битвам Далилы с соседкой могла бы позавидовать участницы Троянской войны, с которой Наима знакомилась в ту пору в адаптированных версиях для детей. Она казалась такой же долгой и почти столь же кровопролитной. Соседка снизу – может быть, она теперь уже умерла, говорит себе Наима, почему-то думая о ней в прошедшем времени, хоть и не уверена, – была француженкой, опомниться не могла от того, что пришлось осесть в Пон-Фероне, по словам Далилы, и из кожи вон лезла, доказывая, что она лучше всех квартиросъемщиков-арабов в «зоне» и, главное, что публичное пространство принадлежит ей с правом приоритета, потому что она коренная француженка.

– Ну зачем ты наговариваешь на нее? – спрашивал Хамид. – Она тебе что-то такое говорила?

– Нет, – отвечала Далила, – но это и так видно. Она выпускает свою собаку на детскую площадку, и та повсюду гадит и роет под цветами, зато стоит туда сунуться малышам, как она выходит и кричит, что от них слишком шумно. Будто у ее собаки, даже не у ее внука – но к ней все равно никто никогда не приходит, – больше прав, чем у маленьких буньюлей из Пон-Ферона. И потом, она постоянно пишет доносы: то мы-де шумим, то нельзя вывешивать белье на окна. Это мне знакомая из мэрии сказала. Она говорит, что в следующий рамадан, если мы начнем *ифтар* слишком поздно, она подожжет дом. Подожжет, Хамид! И после этого мы плохие квартиросъемщики?

– Это просто страхи, – уверял Хамид. – Когда она поймет, что бояться нечего, смягчится.

Но война шла без перемирий.

– Это такие люди, как она, – рвала и метала Далила, – распространяют плохое мнение о «зонах» по всей Франции, они рассказывают корреспондентам газет или просто друзьям, что здесь джунгли и все систематически портят, обкрадывают, грабят.

Иногда Хамид пытался внушить сестре, что старушка имела основания жаловаться, и Наима видела, как он лихорадочно старается втиснуть, как рожок в обувь, свои несколько слов между пространными фразами сестры, которая ничего не слышала и не желала слышать. Наима, хоть ей и хотелось тогда принять сторону тетки, тоже находила, что в конце 90-х годов «зона» была местом удручающе безобразным, неприветливым к чужакам и вполне способным напугать старушку. Чувствуя, что брат больше не может слышать о ведьме с нижнего этажа, Далила резко переключалась и пересыпала разговор названиями лионских пригородов, которые воспламенялись один за другим: Во-ан-Велен, Живор, Менгетт, Венисьё, Рийё-ла-Пап, а еще Брон, Виллёрбан, Сен-Приест, – мятежи распространялись концентрическими кругами среди возмущенной молодежи всякий раз, когда мальчишку из «зоны» избивала полиция, и все эти мятежи как будто проходили сквозь тело Далилы, завязывая в нем новый узел, не дававший ей спать, или высыпая сухими пятнами на коже, и она кричала, что все сволочи, не зная толком, о ком говорит, о молодежи или о полицейских, наверно, о тех и других, – почему же ты молчишь?

– Какое мне дело, – говорил Хамид, – меня это не касается.

Когда телевидение передавало репортажи из «горячих» пригородов – а передавало оно их часто и как будто с удовольствием, – он поспешно выключал телевизор, чтобы дочери не видели шокирующих кадров, но стоило им усесться в машину, как эстафету тут же подхватывало радио. СМИ стали регулярно говорить о «проблеме пригородов» (и этому не будет конца), словно вдруг оказалось, что все эти пригороды, многочисленные и разнообразные, слились в одно-единственное царство бесправия и, послушать их, ответственность за насилие лежала одновременно на урбанизме и нравах жителей. Корреспонденты говорили задушевно, почти сочувственно – *«проблема пригородов»*, – и может быть, сами того не сознавая, на внутреннем подъеме добрых чувств клеймили тем самым целый народ, чье главное несчастье было в том, что он жил на обочине истинной жизни, жизни имущих классов. Кадры стычек между молодежью из многоквартирных домов и республиканскими ротами безопасности множились в теленовостях. Шипение горящих машин вырывалось из колонок авторадия.

– Почему это должно меня касаться? – спрашивал Хамид усталым голосом.

И – наверно, чтобы доказать себе, что это его не касается никаким боком, думает теперь Наима, – он перестал подходить к телефону. И с таким же упрямым чувством отказа он отвозит ее на вокзал в воскресенье вечером. Алжир его не касается.



Свет ранней весны способен все преобразить, даже Марн-ла-Валле – обочины дорог зазеленели, а домики скрылись за купами деревьев нежного цвета. Под робкими солнечными лучами в воздухе дрожит золотистая пыль. Во время бесед с Лаллой Наима часто записывает то имя, то адрес, но прежде всего она слушает и смотрит в окно на похорошевший городок. Иногда к ним присоединяется Селина и тоже слушает, как этот человек, которого она узнала уже старым и потрепанным жизнью, рассказывает о времени, кажущемся таким же давним, как в волшебных сказках. Бывает, что Наима оставляет их разговаривать вдвоем, как тактично удаляющаяся шекспировская сводня, с той лишь разницей, что она остается в комнате и замороженно смотрит на улицу. Ей уже приятно, что из дома Лаллы она видит только такие же коттеджи, как будто вместо окон у них зеркала.

– Ты заметила, сколько спутниковых антенн в этом квартале? – спрашивает Лалла. – Раньше их не было. И вдруг все сразу появились. И с ними религиозные каналы из Саудовской Аравии, из Катара, бог весть еще откуда. Ислам вошел в дома через спутниковые антенны... Даже мой сын, самый младший, вдруг стал ходить в мечеть. Отрастил бороду. Я ничего не говорил, не хотел посягать на его личное пространство. И однажды на рынке увидел, как он побирается. Я не мог поверить своим глазам. Он просил денег на свою мечеть, преспокойно, ни от кого не таясь. Впервые в жизни мне захотелось его ударить. Я хоть их не краду, сказал он мне. А я подумал, лучше бы крал. Твои деньги, сказал он, это *харам* ^[93], как живопись, как вся твоя жизнь, я никогда к ним не притронусь! Веришь, Наима, веришь? За это мы боролись? Мы хотели дать нашим детям свободную страну, сражались с французами, сражались с фанатиками из Исламского фронта спасения, передрались между собой, а наши дети отвернулись от нас, они стали придурками, которым я не отдал бы и десяти евро, а уж страну и подавно.

Он тербит кончики своих усов. Наиме даже на миг кажется, что он их сейчас оторвет.

– Разумеется, – добавляет он недобрым тоном, – Аллаха он любил столько же времени, сколько в детстве хомячка или собаку. Полгода – и переключился на другое. Только меня он ненавидит по-настоящему. Я единственная постоянная величина в его жизни.

Он машет руками, словно отгоняя тучу мух. *Халас*. Довольно. На его руках взъерошились седые волоски, старческие пятна образуют причудливый узор, который Наима рассматривает краем глаза, замороженно и чуть брезгливо.

– Ты оформила бумаги к отъезду? – спрашивает он.

– Нет.

Она ждет официального письма из музея в Тизи-Узу, которое удостоверит ее миссию на месте и позволит вкупе с поручением, которое Кристоф составил еще в январе, – оно лежит в ящичке его стола, Наима так и не достала его оттуда, – запросить деловую визу. Музей несколько раз обещал прислать документ, но галерея пока ничего не получила. Иногда Наима надеется, что письмо никогда не придет. Она где-то читала, что есть черный список, список харки, и что некоторым, изъявившим желание вернуться в страну, запретили въезд. Она боится, что ее фамилия тоже фигурирует там, и признается в этом старому художнику.

– Но что он, собственно, сделал, твой дед? – спрашивает Лалла, не подозревая, что тот же самый вопрос Наима задает своим родным вот уже несколько недель, но так и не добилась ответа.

Когда она обратилась за помощью к Далиле, та смогла сказать ей немногим больше, чем Хамид и Кларисса.

– Может быть, и ничего, – предположила она. – Может быть, это был его брат. Я сама не помню, но знаю, что брата *баба́* убили после того, как мы уехали. Твоему отцу еще долго снились кошмары...

Чтобы не отвечать художнику, Наима сосредоточилась на виде из окна.

О жизни Али она знала лишь молчание и никогда не думала, что ей чего-то не хватает, но теперь, когда поездка стала реальностью, оно кажется ей дырой внутри собственного тела – не раной, нет, просто обширным пространством, похожим на снятые телескопами кадры из космоса, такие иногда помещают на обложках научных журналов. Она жалеет, что никогда с ним толком не говорила, и злится на себя за это,

совершенно иррационально, ведь он умер слишком рано, она еще не могла попросить его рассказать историю своей жизни. Ей было восемь-девять лет – она точно не помнит, – когда он угас в своей постели. Она плохо его помнит и, когда пытается упорядочить свои воспоминания, приходит в ужас, понимая, что большинство из них имеет отношение к его долгой агонии.

В памяти Наимы Али болен. Он лежит в постели много недель. Он покрыт струпьями. Боль невыносимая. Он кричит. Кричит по-арабски. Он забыл французский. Тетки переводят Клариссе, и Наима ловит обрывки их разговоров. Али кричит, что ФНО здесь. Кричит, что его убьют, перережут горло, что надо остерегаться колючей проволоки. Кричит, что дома потеряны, потеряны поля, потеряны горы. Просит не жечь оливы. Он зовет Джамеля с разбитой головой. Зовет Акли с перерезанным горлом. А потом погружается еще глубже в слои памяти, которую болезнь сделала пористой, проваливается в нее в жару, как будто ступает по гнилым доскам. Немцы идут, предупреждает он. Говорит о лагере военнопленных на востоке Франции. Он видит нацистские формы, присыпанные снегом, как сахаром. Кричит, что надо прятаться. Ругает Наиму за то, что открыла дверь: теперь их позицию обнаружат. И с этого момента только брань вырывается большими пузырями из его рта вместе с густой пеной. Брань, когда ему меняют повязки, когда его пытаются напоить, брань, когда шевелится занавеска, когда скрипит кровать, когда танцуют тени на потолке...

И Йема говорит своим тонким голоском:

– Он обезумел, бедняга, это потому что ему больно.

Но, может быть, Али не обезумел, думает Наима теперь, вспоминая это. Может быть, боль дала ему право кричать, то право, которого он никогда не имел раньше. Может быть, потому что болит его гниющее тело, он волен наконец выкричать, что ему невыносимо ни то, что с ним случилось, ни это место, куда он попал. Может быть, Али никогда не мыслил так здраво, как сейчас, когда он бранит тех, кто открывает его дверь. Может быть, его крики подавлялись сорок лет, потому что он чувствовал, что обязан как-нибудь оправдать отъезд, обустройство во Франции, обязан скрыть свой стыд, быть сильным и гордым перед своей семьей, обязан быть патриархом для тех, кто, однако, лучше него понимал французский. Теперь ему больше нечего

терять, он может орать сколько влезет. За дверью его спальни четыре маленькие дочки Хамида спрашивают, можно ли им пойти играть на улицу. Они не хотят больше слышать криков.

– Я не была на его похоронах, – вдруг говорит она Лалле.

Ей вдруг вспомнилось это.

– Женщин туда не пускали. Я осталась в квартире с бабушкой, матерью, тетками, сестрами, кузинами... Я не видела, как его предали земле. Я ничего не знаю о его жизни и пропустила его смерть.

Художник медленно поворачивается к Селине:

– Ты-то не станешь увиливать, а? Я хочу, чтобы ты была там и плакала за десятерых. Моя посмертная репутация будет основана на твоих слезах.

– Я буду так плакать, – отвечает Селина, – что весь Марн-ла-Валле подумает, будто ты был замечательным любовником, даже на старости лет.

– Хорошо, – тихо говорит Лалла, улыбаясь, – хорошо. Наима?

Она улыбается ему в ответ.

– Ты тоже приходи, будешь порукой моим талантам.



Ее ноутбук открыт на журнальном столике, в квадрате сероголубого света в квартире с погашенными лампами. Она уставилась в него, допивая чашку супа, и оттягивает момент, когда склонится над клавиатурой, прихлебывая горячую жидкость теперь уже глотками помельче.

Поскольку семья отгородилась от нее смертью, молчанием и благочестивыми обетами, Наима остаются щупальца Интернета, чтобы постичь историю харки. Введя имя деда в Гугл, она не узнает ничего нового, что уже приносит облегчение, – ведь сайты об Алжирской войне полны персональных обличений и поименных обвинений. Судя по всему, никто не счел нужным ни назвать ее деда Атласским Мясником или Гиеной Палестро, ни посвятить страницу перечню его злодеяний.

Она вводит одно за другим ключевые слова:

Харки

Действия харки в Алжирской войне

Роль харки

Репрессии харки Алжир

Харки кабилы

Отъезд харки 62

Они тотчас отсылают ее к тысячам картинок, страницам и страницам текста – беспорядочной информации, расцвеченной орфографическими ошибками, – на которые она кликает, не уверенная в том, что ищет, на которых спотыкается в этот вечер, как и в следующие.

Все ее ночи теперь похожи: Наима не остается выпить с Камелем и Элизой после работы, никому не звонит и не отвечает на эсэмэски Кристофа, которые, хоть и по-прежнему лапидарны, становятся все настойчивей. Она сидит дома и смотрит документальные фильмы на «Ютубе», подкрепляясь китайской едой, купленной в ресторанчике напротив, спасителе стольких дней похмелья. Она просматривает

подряд три части «Ближних врагов» Патрика Ротмана, ковыряя холодную лапшу в лотке, и засыпает на рассвете, не вставая с кресла, с головой, полной рассказов о пытках и постепенном подчинении окружающему насилию. Она слушает, как ведущие и гости, чинно сидя кружком в футуристических креслах, твердят, что Алжирская война продолжается и сегодня – в виде войны памяти. Она слышит их слова – «открытая рана», «разрыв», «травма», «слепое насилие», – и, несмотря на сочувствие, которое каждый пытается выказать к рассказам других, у Наимы часто создается впечатление, что они вот-вот вцепятся друг другу в глотку, хоть и выглядят так чопорно в этих креслицах телестудии. Она смотрит, толком не понимая, видео о карательной операции французской армии против населения Айн-Абида после убийства семи европейцев, снятое в августе 1955 года. Странные кадры, на которых жертвы не бегут, не суеются. Спокойно подходят солдаты, целятся и стреляют. По любопытному совпадению все на видео падают лицом в землю. Это похоже на сцены из документальных фильмов о животных, для которых газель накачивают наркотиками для пущей уверенности, что львицы поймают ее и оторвут первый кусок мяса прямо перед камерой.

Наима очень скоро заинтересовалась цепью комментариев, разматывающейся под каждым видео. Ни один кадр Алжирской войны не может быть выложен онлайн, не вызвав череду реакций, которая неизбежно приводит, с той или иной быстротой – это зависит от сайта, – к оскорблениям в адрес харки. С чего бы ни начался спор, он всегда выходит на взрыв целенаправленной ненависти. Эта вариация закона Годвина, согласно которому «по мере разрастания дискуссии вероятность сравнения, в котором упоминается нацизм или Гитлер, стремится к единице», повергает ее в ужас и оторопь.

«Ты говоришь что мечтаешь вирнуться в Алжир грязный харки. Давай! Я тебе жду чтобы зарезат».

«Харки, ублюдки и коллаборационисты: аллах вас ненавидит, и я тоже».

И еще вот это, которое кажется адресованным лично ей или почти:

«французы боролись чтобы сохранить алжир им есть чем гордиться черноногие хотели сохранить богатства и фермы им есть чем гордиться алжирцы боролись за свою независимость им есть чем

гордиться но сука дочь харки с ней проблема она должна стыдиться своего отца предателя и я говорю ей что мы алжирский народ хотим истребить потомков харки».

Среди этих оскорблений и угроз она находит иногда комментарии, авторы которых защищают бывших военнослужащих местных формирований французской армии – в такой же ядовитой манере, как и их оппоненты. Но полемисты, опровергающие уравнение «харки = предатель», как и другое, по которому «хороший предатель – мертвый предатель», хоть и могут ненадолго разжать тиски страха и отвращения, стиснувшие горло Наимы, зачастую оказываются также защитниками методов десантников и даже 33-й гренадерской дивизии СС «Шарлемань». Быстро просматривая страницу, она мельком видит под их комментариями картинки и слоганы:

ТЫ НАС ПОЙМЕШЬ



ОАС НЕ ДРЕМЛЕТ

ОАС БЬЕТ КУДА ХОЧЕТ КОГДА ХОЧЕТ

Ей кажется, что под ее компьютером разверзлась огромная подземная пещера, где мечутся чудовища с перекошенными от ненависти рожами, и фибровые провода, должно быть, погружены непосредственно в нее, чтобы выплескивать на каждый сайт эти ушаты оскорблений и насилия. Отделить достоверную информацию от той, что порождена гневом и печалью, от того, что пишут как будто рыгают или плюют, слишком затратно по времени. Она предпочитает обратиться к ресурсу более спокойному, не столь яростно сопричастному – к книгам.

С желтых, красных, черных и белых обложек заказанных ею книг беззастенчиво смотрит слово харки – то, которое в словаре якобы обозначает ее, то, что Интернет затушевывает как ругательство. Наима осознает, до какой степени повлияли на нее комментарии онлайн, поймав себя на том, что, читая эти книги в метро или в кафе, прикрывает рукой название. Она даже не уверена, что не понизила

голос, когда заказывала их в книжном. Она не знает в точности, чего опасается, но уже понимает, какое невообразимое множество людей и по сей день придерживается безапелляционных и противоречивых мнений о пути харки. Вечером в постели она глотает книги, как опрокидывают залпом стакан бормотухи.

Бывшие харки и их потомки, стараясь привлечь внимание к своим страданиям, прибегли к статистике. Количество – вот что в их свидетельствах говорило о желании быть принятыми всерьез. Но они не в силах выдавать эти цифры с холодной точностью. Они выкрикивают их, выплакивают, выбрызгивают вместе со слюной. Цифры не созданы для этого. Они – для подсчета. Они портят пафос, а пафос в свою очередь пятнает их. Наима видит, как пляшут эти цифры боли диким хороводом – ничего не означающим хороводом.

Цифры, выложенные харки, присовокупляются к перечню бесчинств французской армии – ей их одинаково пересказывают книги по общей истории. Она понимает, что есть авторы, которым хотелось бы аннулировать эти цифры, но ведь из этого ничего не выйдет: при любом масштабе репрессий бойня – она и есть бойня; закон «око за око, зуб за зуб», как его ни толкуй, может лишь множить кривых и беззубых, и никогда оставшийся целым глаз первой жертвы не составит пару с глазом второй. Количество жертв по мере прочитанных страниц так стремительно растет, что Наима вязнет в арифметике, в подсчетах, глотает десятки, давится сотнями, тысячи застревают в горле и не проходят внутрь, а числа все больше, все выше от главы к главе, и она уже не может ни мыслить цифрами, ни пытаться увидеть за ними людей; она только читает их, а потом и просто на них смотрит – они больше ни о чем ей не говорят.



В галерею наконец-то пришло официальное приглашение из Тизи-Узу. Наима, однако, до сих пор не запросила визу. Она зарылась в книги, их все больше – громоздятся кипами по всей квартире, как пирамидки, обозначающие продвижение ее поисков. Раздраженный Кристоф несколько раз делал ей замечания, мол, пора предпринимать необходимые шаги для ее поездки, и она бормотала, не обращая на него внимания, что все сделает, конечно, может быть, завтра, в понедельник, скоро. С тех пор как она с ним больше не спит, он говорит с ней холодно, ей хотелось бы игнорировать это, но лестно, что он огорчен прекращением их сексуальных отношений. (Будь она честна с собой – признала бы, что тоже огорчена. Она нервно улыбается всякий раз, когда он обращается к ней. Он выше ее, и ей приходится задирать голову, слегка, чтобы поймать его взгляд. С тех пор как они больше не спят вместе, в этом движении, кажется ей, есть опасный риск стать машинальным.) Завтра, в понедельник, скоро, повторяет Наима: откладывая получение визы, она держит и Кристофа с его желанием на расстоянии. Возвращаясь к шатким колонкам книг, ожидающих ее в гостиной, она все-таки говорит себе, что он прав: невозможно – как бы ей этого ни хотелось – ждать, пока она проглотит всю современную историю Алжира, чтобы туда отправиться.

Она снова открывает свой ноутбук – медленными, боязливыми движениями, как будто комментарии, прочитанные до этого, могут броситься ей в лицо.

«Давай! Я тебе жду, чтобы зарезат».

Вздохая, она трясет головой и старается об этом не думать. Надо сосредоточиться на практическом вопросе: если харки и их потомкам так трудно вернуться на родину, возможно ли – но Гугл никогда не даст *прямого* ответа на этот вопрос, хотя только он и имеет значение, – что Наима не сможет поехать в Алжир из-за прошлого своего деда?

Без особого удивления она читает, что многим бывшим харки недавно отказали в праве въезда в страну. Один человек был арестован на границе из-за деятельности его брата, что тревожит ее еще сильнее, ведь надо понимать, что ответственность, вина и кара

распространяются на всех членов семьи без различия. На ум приходит двоюродный дед, о котором упоминала Далила, тот, что умер в конце войны, тот, кому ФНО предъявил счет за что-то – но никто по эту сторону моря, кажется, не помнит за что. «Может быть, это не *баба*, может быть, это его брат». Утверждение, что пятидесятилетней давности действия ее деда или двоюродного деда рикошетом ударят по ней сегодня, кажется Наиме абсурдным – но она начинает понимать, до какой степени долговечен гнев, она ни в чем не уверена и упрямо ищет упоминания о детях и внуках, чтобы понять, на сколько поколений может распространиться клеймо.

В 1975-м, читает она наконец, Алжир не дал сыну харки выехать из страны. О таком она и помыслить не могла: въехать, но не иметь возможности выехать. Именно это, однако, произошло с Борзани Крадауи семи лет от роду, приехавшим в тот год на каникулы в Оран с матерью. Алжирские власти заявили, что у мальчика нет «разрешения от отца на поездку за границу, которого требует закон». По другим версиям, его матери, которую задерживать не стали, просто шепнули: «Скажешь своему мужу-харки, чтобы он сам за ним приехал». Было несколько похожих случаев в 70-е годы, но имя Крадауи чаще всего встречается в статьях, которые раскапывает понемногу Наима, потому что его дело сыграло важную роль в случившихся в то же время во Франции восстаниях в лагерях харки. Наима углубляется в это открытие, удаляющее ее от первоначального вопроса и возвращающее на сорок лет назад. Почти случайно она обнаруживает в архивах Национального института аудиовизуализации первые кадры лагерей холодной Франции, которые ее отец так и не захотел описать. Весной 1975-го, еще до дела Крадауи, дети харки просыпались, ворча, за колючей проволокой, и впервые с приезда родителей все телекамеры страны были направлены на них.

В мае, в Биасе, они взяли штурмом административные помещения и занимали их две недели, пока их не выкурили республиканские роты безопасности.

В Сен-Морисе вооруженные молодые люди превратили лагерь в укрепленный бастион. Они грабят конторы, жгут архивы.

В четверг 19 июня 1975 года, в шестнадцать часов, четверо детей харки, вооруженные винтовками, динамитом и бензином, взяли в заложники директора лагеря Сен-Морис-л'Ардуаз и заперлись с ним в

мэрии соседней деревни Сен-Лоран-дез-Арбр. «Мы не хотим ничего плохого господину Лангле. Но он олицетворяет для нас администрацию, против которой мы тщетно боремся, отстаивая наши права французских граждан». Они освободили его двадцать восемь часов спустя и вернулись в лагерь, где их встретили как героев. Журналист из «Нувель Обсерватер» ^[94] последовал за ними и обнаружил, к своему ужасу, «лагерь позора». «Конечно, – пишет он, – харки априори не вызывают симпатии, нашей симпатии, но все же!» Несколько секунд Наима неотрывно смотрит на это «конечно», спокойно расположившееся внизу первой колонки статьи, потом заставляет себя продолжить чтение.

Восстание растянулось на весь июнь, и внезапно на странице Интернета, которую просматривает Наима, появляется знакомое название: резиденты лесного поселения, именуемого «Дом Анны», захватили административные помещения и требуют в числе прочего отзыва военных охранников. Перед глазами мелькнула ржавая табличка, забытые среди сосен обветшавшие бунгало. Воображение рисует ей детскую фигурку Хамида – его фотографий она не видела.

Через несколько дней стены Пертюи покрылись афишами, призывающими харки продолжать борьбу.

В начале июля 1975 года CFMRAA (Chronologie des actes terroristes en France – Конфедерация французских мусульман, репатриированных из Алжира, и их друзей) через посредство своего президента М'хамеда Лараджи просит французских мусульман, несущих военную службу, и призывников «прекратить исполнять свой гражданский долг, пока Государство будет считать их семьи и их самих гражданами второго сорта, которые своей родине только должны». Насколько знает Наима, ее отец отслужил незадолго до этого. Интересно, приходило ли такое ему в голову?

В воскресенье 3 августа М'Хамед Лараджи требует «ропуска транзитных лагерей с трудоустройством и моральной и финансовой поддержкой семей, возвращения семей, удерживаемых в Алжире, справедливой и немедленной компенсации и назначения парламентской, а не административной комиссии по расследованию».

Наима смотрит на архивные снимки: молодые парни снуют между уныло одинаковыми бараками – и хотя, конечно, Хамида среди них нет, она не может отделаться от мысли, что каждый мог бы быть ее

отцом или что ее отец мог бы быть там. Некоторые юноши рассказывают, что ни разу не покидали лагерь за почти пятнадцать лет: «Всегда, всегда нам говорили: да что ты будешь делать снаружи? Там полно *феллага*. Они перережут тебе горло. И мы, как дураки, верили». Они рассказывают о годах, прожитых под гнетом администрации колониального типа, когда электричество отключали каждый вечер в десять часов, а иметь телевизор было запрещено, годах зависимости от Красного Креста, который приезжал раздавать порошковое молоко и картофель, годах топтания на месте. Некоторым хватило смелости проделать дыры в ограде и выйти в соседние поля – те, кого поймали, кончили в исправительном центре. На дрожащих картинках – черноволосые парни, свирепые юношеские лица и одежда стариков – эти вещи, кажется, из другой эпохи, задолго до 1970-х годов.

Не так давно Соль писала статью о лагерях под руководством Верховного комиссара ООН по делам беженцев и, подняв голову от ноутбука, спросила Наиму:

– Ты знаешь, сколько времени в среднем один беженец проводит в лагере?

Та покачала головой.

– Семнадцать лет, – ответила Соль и вновь погрузилась в работу.

Глядя, с какими удивлением и болью сыновья харки из Биаса и Сен-Морис-л'Ардуаз обличают бессрочность своей тюрьмы, Наима понимает и свое преимущество: она уже знает, что, несмотря на все официальные названия, нет ничего ни «транзитного», ни «временного» в сети этих приютов для беженцев.

В середине лета 1975 года, когда молодежь в лагерях уже кипит и бушует, Алжир, удерживающий Борзани Крадауи и тем самым показывающий, что готов спросить с сыновей за преступления и ошибки отцов, окончательно выводит ее из себя.

Шестого августа молодежь из Сен-Морис-л'Ардуаз берет в заложники алжирских рабочих из общежития заводов «Келлер» и «Лелё».

Назавтра четверо детей харки врываются с оружием в руках в кафе в Бурже и похищают хозяина и нескольких клиентов – все алжирцы. Три часа спустя они отпускают их.

Все похищения и захваты очень коротки, и это немного смущает Наиму. Она не знает, о чем это говорит: то ли бунтовщики, осознав масштаб содеянного, впадают в панику, то ли каждый раз наивно верят данным обещаниям, или же просто хотят, чтобы их наконец заметили.

«Раньше мы жили в неизвестности. Теперь Франция знает», – заявляет юноша с грустными глазами, заснятый каналом «Франс-3». Может быть, и так – но кто смотрит телевизор в эти жаркие дни августа 1975 года? – думает Наима. Рассеявшись по пляжам Ла-Манша, Атлантики и Средиземного моря, большинство французов строят замки из песка, не обращая внимания на газеты. Она быстро подсчитывает на пальцах: Кларисса в это время, кажется, была беременна Мирием. Видели ли ее родители, занятые подготовкой к появлению первого ребенка, хоть один кадр этого восстания? Узнал ли отец кого-нибудь?

В понедельник 11 августа группа молодежи снова захватила административные помещения лагеря в Биасе, в которых после майских событий, думается Наиме, стоило такого труда снова поднять тяжелые металлические шкафы и повесить на стены новые карты Франции с четко разграниченными цветными департаментами. Разница с предыдущим захватом в том, что на этот раз парни вооружены охотничьими винтовками. На рассвете префект соглашается принять их, «чтобы изложить министерству опеки их требования», и отряд покидает помещения.

В субботу 16 августа Джеллул Белфадель, глава Землячества алжирцев, похищен у своего дома четырьмя молодыми французскими мусульманами (трое мужчин и женщина, отмечает Наима с интересом: впервые она видит, чтобы женщина участвовала в операциях). Его отвели в лагерь в Биасе и потребовали свободного перемещения харки и их детей между Францией и Алжиром. Коммюнике Мусульманской конфедерации предостерегает французское государство против применения силы: «Если будет предпринята попытка освободить заложника силой, его убьют». Биас на осадном положении, его прочесывают республиканские роты безопасности и жандармы. В небе, как большие боевые стрекозы, урчат вертолеты. «Франс-3» расставил телекамеры вокруг лагеря и снимает крупным планом лица похитителей, которые и не думают скрываться, какими бы ни были новичками в искусстве партизанской войны. В понедельник 18 августа

в семнадцать тридцать заложник освобожден после переговоров между префектом департамента Лот-и-Гаронна и членами общины харки.

Это последнее восстание ознаменовало конец лагеря в Биасе, расформирование которого началось в том же году. Отныне харки, если хотят, могут селиться вне гетто. Но то ли слишком поздно вновь ощущать вкус свободы, то ли Франция слишком велика, а возможно, им просто надоело, что их перемещают с места на место, – но как бы то ни было, изрядное количество бывших военнослужащих местных формирований поселились вблизи лагеря, а иные и вовсе остались в своих домах, не выходя за его ограду.

Наима закрывает ноутбук и отодвигает его на середину журнального столика. В ванной подтекает колонка, и в глухой ночи все время слышен назойливый, но приятный стук капель. Она устала, глаза щиплет и жжет. Она смогла посмотреть снимки взбунтовавшихся мальчиков и выслушать их требования – но доказывает ли это, что им удалось, как они утверждают, прорвать окружавшее их жизнь молчание? Все, что она видела в прошедшие дни, было для нее открытием. Ничего ей известного, а между тем ее семья жила в лагерях. Она пытается вспомнить, говорилось ли в ее учебнике истории о существовании харки, когда она недолго изучала в лицее Алжирскую войну. Кажется, да, кажется, Наима помнит, что слово вторглось на страницу и она сначала улыбнулась, как будто упомянули ее деда, лично его, а потом ощутила неловкость, смутную, но цепкую, поняв, что он играл жалкую роль, о которой никто – ни авторы учебника, ни ее учитель, – похоже, не хотели распространяться.

История пишется победителями, думает Наима, засыпая. Это давно известный факт, он и позволяет ей существовать только в одной версии. Но когда побежденные отказывались признавать свое поражение, когда они, несмотря на поражение, продолжали писать Историю на свой лад до последней секунды, когда победители, со своей стороны, хотят написать свою Историю задним числом, чтобы доказать неизбежность своей победы, – тогда по обе стороны Средиземного моря параллельно существуют противоречивые версии, и это не История, но оправдания или требования, которые рядятся

в Историю, используя для этого даты. Возможно, это и удержало бывших обитателей Биаса вблизи от столь ненавистного лагеря: они не могли решиться распустить сообщество, в котором сошлись на той версии Истории, что устраивала их всех. Возможно, это и есть основа совместной жизни, о которой слишком часто забывают, но которая истинно необходима.



Проснувшись 22 марта, Наима слышит ругательства Соль и почти нечеловеческий голос по радио – передают новости. Камикадзе устроили два взрыва в зале вылета брюссельского аэропорта в Бельгии незадолго до восьми часов... Она встает и пьет кофе, вполуха слушая подробности. В Брюсселе она никого не знает. Ей не надо посылать сообщений. Погибший, которого не знаешь, не совсем погиб, думает она.

Наима – мне интересно это подчеркнуть, хоть я и не уверена, что стоит это делать, – первая за многие поколения не слышала того крика, какой издает человек, умирая насильственной смертью, этого крика, лишь бледную тень которого дают голливудские фильмы, лишь его усеченную грань (имеющую такое же отношение к реальному, как, к примеру, кусок говядины к пасущемуся животному), или ложь, потому что нельзя знать этот крик и тем более сыграть его, если только ты его не слышал или даже не издавал сам, а это значит, что узнать его можно всего на полсекунды, а потом не знать больше ничего.

Журналисты по радио обсуждают награду, якобы обещанную *шахидам*, погибшим в теракте: семьдесят или семьдесят две девственницы, кто как считает, но источник числа неясен, потому что в единственном сохранившемся тексте будто бы описано просто изобилие. Как бы то ни было, это ошибка в толковании Корана, утверждает один гость, ведь в Священной книге употребляется древнесирийское слово, на самом деле означающее виноград. Кажется, все они очарованы таким экзотическим и эротическим моментом веры в их дискуссии, но никто не задает вопросов, интересующих Наиму, а именно: вправду ли верят молодые террористы в рай, населенный семьюдесятью двумя девственницами, которые будут утолять их желания во веки веков? И если верят, то как они его себе воображают? Как большое помещение, в котором они все, тысячи бойцов ИГИЛ, и столько девственниц, сколько им требуется? Или они думают, что рай состоит из личных покоев, как студенческий дортуар, как публичный дом, и они смогут наслаждаться этими женщинами без надобности

терпеть бахвальство и выхлопы бывших собратьев по оружию? Она уносится в грезы, видит камеры, вырубленные в облаках, и в каждой порнографический фильм, где мужские члены осыпаны старинными цехинами.

Через несколько дней, выйдя из электрички и направляясь к Лалле, Наима видит на автобусной остановке – словно плесень, всплывшую из глубин Интернета:

СМЕРТЬ МУСУЛЬМАНАМ ЧЕМОДАН ИЛИ ГРОБ

Когда она упоминает об этом Селине, та говорит ей, что вчера молитвенный зал города был забаррикадирован салом и ломтями ветчины.

– Это гнев большой глупости, – вздыхает Селина, – гнев... свиной.

Она произносит эти слова мягко и медленно, и Наима думает, что Селина, наверно, дочь Грусти. Уже несколько лет она не вспоминала о своей старой системе классификации, но та по-прежнему действует. Художник же в скверном настроении, показывающем, что он принадлежит к другому семейству – уж его-то Наима знает лучше всех, – принадлежит к семейству Гнева.

– Расизм – чудовищная глупость, – ворчит Лалла, обращаясь к своей подруге. – Не говори мне, что это тебя удивляет. Он – извращенная и упадническая форма классовой борьбы, дурацкий тупик бунта.

Селина вздыхает, закатив глаза:

– Опять?

– Конечно, – гремит Лалла, – опять и всегда! Именно в этом вся беда: вам внушили, вам, молодым, что эти слова – пустые, пыльные, отжившие. Никто больше не хочет об этом говорить, потому что классовая борьба – это уже не секси. А в качестве современности, политического гламура что вам предложили – и хуже того, что вы приняли? Возвращение этнического. Вопрос сообщества вместо вопроса классов. Поэтому руководители думают, что могут снять любое напряжение, представив красивую витрину меньшинств – если

в верхах госаппарата встречается похожая физиономия, это-де должно успокоить людей в «зонах». Вот вам Фадела Амара^[95], Рашида Дати^[96], Наджид Валло-Белькасем^[97] в правительстве. Но смуглой кожи и арабского имени еще недостаточно. Конечно, хорошо, что им удалось – это было нелегко, – но в том-то вся и проблема: им удалось. Они не имеют никакого права говорить о неудачниках, изгнанниках, отчаявшихся, да просто о бедных. А магрибинское население Франции – это в большинстве своем бедняки. «Смотри, им удалось!» – но когда удастся, это все, чего они могут ожидать...

Жестом руки он показывает на маленькие домики пригорода, которые, кажется ему, подымают со скуки, стоя в ряд.

– А если этот же месседж посмотреть наоборот: «Такое возможно, раз это случилось со мной». И вот вывод: а если с вами этого не случилось – значит, вы не сделали того, что нужно. Только валят всю вину на бедных.

Приступ кашля прерывает его речь, и он сгибается пополам в кресле.

– Мой тоже, – задумчиво говорит Наима.

– Что?

– Это и мой месседж тоже.

– Тогда тебе лучше заткнуться.

Наима замирает, ошарашенная. Старик снова кашляет, еще сильнее. Жутковатый звук рвущихся тканей. Когда она подносит ему стоящий на столике стакан воды, он стонет, ворчит и жестом просит ее уйти. Немного мокроты неопределенного цвета висит каплей и сохнет на его нижней губе. Наима повинуетя без единого слова. Закрывая дверь, встретив сокрушенный взгляд Селины, она отвечает лишь пожатием плеч: ей придется расплатиться за обиду, нанесенную старым художником, что совершенно несправедливо, но – обиженно повторяет про себя Наима – слаб человек, в конце концов, это можно если не оправдать, то понять или, по крайней мере, извинить. Она широко шагает мимо домиков-клонов, цветущих кустов, вдоль железной дороги, над которой глухо урчат натянутые провода и кожухи на столбах. Может статься – Наима не уверена и не хочет знать наверняка, – Лалла сказал правду, и она уже несколько лет участвует в грандиозном надувательстве, имеющем целью создать стереотип «хорошего араба» (серьезный, трудолюбивый и увенчанный успехом,

атеист, говорящий без всякого акцента, европеизированный, современный, одним словом: успокаивающий, иначе говоря – как можно меньше араб), годный, чтобы предъявить окружающим (да ведь она сама тоже его предъявляет окружающим). Но если она так решительно пошла по этой дороге, то лишь во избежание того, что отец представлял ей как самый верный путь к катастрофе: походить на «плохого араба» (ленивый, себе на уме, вспыльчивый, говорящий на ломаном французском, верующий, архаичный и экзотичный вплоть до варварства, одним словом: пугающий). И она злится, чувствуя, как зажата меж двух стереотипов – один, по мнению Лаллы, предал дело бедных иммигрантов, которым повезло меньше, чем ей, а другой исключает ее из французского общества. Временами – вот как сейчас – ей кажется глубоко несправедливым, что она не имеет возможности быть просто Наимой, а должна мыслить себя точкой на графике интеграции, внизу которого – жупел плохого араба, а наверху – образец хорошего. В ярости она пинает ногой решетку, огораживающую рельсы, и та слабо, почти неслышно звякает от удара. От мелочности этого гневного жеста ее одолевает нервный смех – трепещи, Франция, я пнула носком ботинка твое общественное достояние.

Нескольких минут ходьбы хватает, чтобы улетучилось раздражение от резких слов Лаллы. Наима удивляется, обычно она более злопамятна. И говорит себе, что на старика трудно злиться по многим причинам. Во-первых, у него и так масса врагов, официальных и авторитетных, которым он обязан своим изгнанием: рядом с ними Наима имела бы бледный вид. И потом – очень может быть, что он прав. Наконец, резкие слова он произнес между двумя приступами кашля, а она не может злиться на человека, в котором туннелями рака терпеливо пробивает себе дорогу смерть.

Входя в здание вокзала, она впервые думает, что спешить ей некуда. Лалла не доживет до своей ретроспективы.



В первую неделю апреля она наконец идет в алжирское консульство, за Триумфальной аркой, в той части Парижа, где вообще-то никогда не бывает, потому что деньги прокладывают невидимые границы в столице и заблудиться в этом квартале или ждать здесь кого-нибудь означает иметь в кармане лишний десяток евро на чашку кофе, если только не готов присесть за идентичные столики «Макдоналдса» или «Старбакса» – то есть отвергнуть сам факт пребывания на Елисейских Полях и укрыться в сетевом кафе или ресторане из тех, что растут как грибы и везде одинаковые, не нанесены ни на какие карты и существуют лишь сами по себе: будь за окном широкий парижский проспект или маленькая площадь Каира, вы прежде всего у «Макдоналдса».

Наима ходит по кругу и никак не может сориентироваться, читая одно за другим названия улиц, расходящихся ровными лучами от площади Этуаль. «Да кто здесь живет?» – невольно думает она при виде кремовых домов за подстриженными и штаббованными деревьями. Здесь нет ничего для удобства жизни человека, особенно враждебно уличное движение. Любая попытка домашней жизни атакована, раздроблена, ампутирована и в конечном счете уничтожена – кажется Наиме – шириной улиц, полных ревущих грузовиков. Она сворачивает на авеню Гранд-Арме, кружит по улице Аргентины и проходит мимо мраморных рекламных щитов «Маленького матроса», которые обещают – и, наверно, давно – качественную одежду для охоты и парусного спорта. Потом входит в современное здание под номером одиннадцать, над которым реет алжирский флаг (а алжирский флаг всегда напоминает ей о футбольных матчах). Вежливо и с тревогой здороваются с охранниками, которые стоят по обе стороны металлоискателя и отвечают ей строгими кивками. На первом этаже у окошек толпятся только выходцы из Алжира, их там много, ждут, сидя на пластмассовых стульях, на чемоданах, а кое-кто прямо на полу. Большинство выглядят яростными терпеливцами, это терпение не смиряется, но сосредотачивается для грядущего взрыва. Служащая

бросает взгляд на французский паспорт Наимы и указывает ей на лестницу в подвал.

Наима встает в очередь, здесь царит бардак, какого она в жизни не видела, – и, подумав так, она запрещает себе так думать, потому что это расистское клише, а она не хочет быть расисткой. Но как не заметить, что люди торгуются за место в очереди, прорываются к окошкам, чтобы пожаловаться на слишком долгое ожидание, без церемоний передают друг другу кто сумку, кто ребенка, чтобы освободить на несколько минут руки. Наима участвует как может в этих колыханиях толпы, дающих ей хотя бы иллюзию продвижения вперед. Она отдает монетки для ксерокса в глубине зала, подбирает упавшие листки, следит за своим местом в извилистой линии. Когда наконец подходит ее очередь подать документы, женщина за стойкой бормочет усталым голосом, что она ошиблась, официальные визы оформляются наверху.

– Но меня направили сюда.

– Наверно, из-за вашей алжирской внешности, – отвечает женщина. – Они, видимо, подумали, что вы едете к семье.

Пара за Наимой, увидев, что она обратилась не в то окошко, обходит ее, не дав даже времени выругаться, и заводит со служащей разговор по-арабски, как будто ее здесь нет. Она нехотя покидает зал, в котором топталась попусту больше часа, и, когда поднимается по лестнице, у нее мелькает мысль бросить это дело – вот она дверь, слева, и сквозь матовое стекло виднеется улица. Она еще может уйти, скажет потом, что это вина алжирской администрации. Никуда не годные людишки. Вот как она скажет со скучающим видом. Но образ старого художника, согнувшегося пополам в потертом кресле, останавливает ее. Она поднимается на второй этаж, обещая себе, что уйдет, если придется снова ждать. Там, наверху, в белом зале, обставленном вычурной лакированной мебелью, нет никого, кроме служащего за стеклом окошка. Он делает ей знак взять в автомате талон, и Наиме достается номер 254, который тут же начинает мигать над стойкой. Она подходит.

– Кроме меня, никого?

Вопрос абсурдный, ведь зал пуст. Мужчина кивает.

– Странно, по сравнению с тем, что внизу... Почему вы попросили меня взять талон?

– Мне очень одиноко, – говорит алжирский служащий с какой-то театральной меланхолией. – Я вижу – сколько? – трех, четырех человек в день... Когда я ухожу и вижу, как бумажный язычок уменьшился на несколько номеров, все-таки есть ощущение, будто здесь что-то происходит. Чем могу помочь?

Неуверенной и нервной рукой она протягивает ему свои бумаги, вздрогнув от мысли: вот сейчас он введет ее имя в компьютер, и вдруг зазвучит сигнал тревоги, а на экране возникнет огромными буквами: РАЗЫСКИВАЕТСЯ. Но, прочитав в формуляре место рождения ее отца, он улыбается и говорит:

– Я тоже кабил. А вы уже бывали в Кабилии?

– Нет.

Он сочувственно качает головой, как будто она сообщила ему, что у нее не было детства или ее никогда не любили родители.

– Хорошо поехать туда весной, – говорит он, аккуратно открывая ее паспорт, – это мое любимое время года.

– Если я поеду в начале лета, тоже хорошо? – спрашивает Наима, не сводя глаз с компьютера.

– В Кабилии всегда хорошо, – кивает он. – Но ты умрешь от жары.

Наима не помнит, что ответила. Она ощущает себя шпионкой под прикрытием. С каждой его улыбкой она чувствует, что замечательно пускает пыль в глаза, что совсем не выглядит внучкой харки – хотя затруднилась бы описать, как они могут выглядеть. Она выходит из зала на втором этаже с чувством, что *хорошо его поимела*.

Через четырнадцать дней, как и рекомендует ей интернет-сайт, она снова в консульстве, и ей вручают пластиковую папку, а внутри – ее паспорт, с вклеенной новенькой визой по-арабски. Меланхоличного служащего сменила женщина зрелых лет с дряблыми щеками. Наима, не двигаясь с места, с растерянным видом рассматривает официальную печать, и та спрашивает:

– Что-то не так?

Наима неспособна ответить на этот вопрос. Алжир открывает ей свои двери на месяц. Она не знает, что сейчас чувствует – облегчение, разочарование или ужас.

Выйдя из дома одиннадцать на улице Аргентины, она звонит Лалле, чтобы сообщить ему новость. Никто не отвечает. Охранник жестом велит ей не задерживаться перед зданием. Она быстро удаляется, сиюсь сдержать непонятное возбуждение, охватившее ее в консульстве. Перед тем как спуститься в метро, среди искалеченных деревьев и трапециевидных зданий снова пытается дозвониться старому художнику. Трубку снимает Селина, слабый и далекий голос несколько раз повторяет «Наима», очень медленно. Лаллу прошлой ночью увезли в больницу с дыхательной недостаточностью. Врачи говорят, что он уже вне опасности, но вернется домой не раньше конца недели, и потом, «вне опасности» – в его нынешнем состоянии так и говорить-то бессмысленно, у опасности нет внешних пределов, наоборот, заикается Селина, они внутри. После паузы она добавляет, что он составил список своих рисунков, как раз перед тем как случилось «это», чтобы дать его Наиме. Еще он сделал ксерокопии страниц своей адресной книжки. Голос у Селины такой грустный, что Наиме кажется, будто они говорят о завещании – может быть, отчасти это так и есть.

– Я могу заехать сейчас, – предлагает она.

– Нет, – вздыхает Селина, – встретимся в городе. В этом доме без него ужасно.

Наима ждет ее в кафе у площади Республики, мечтательно поигрывая страницами паспорта. Несмотря на искреннее беспокойство за Лаллу, она видит в резком обострении его болезни или, вернее, в таком его совпадении с получением ею визы, шанс, за который ей немного стыдно (ей даже хотелось бы подобрать другое слово, она ненавидит себя за то, что использует слово «шанс», но вариантов нет). Близкая смерть художника делает ее отъезд необходимым и по-новому важным, это по-человечески принадлежит только ей, не касается ее семьи и выходит за рамки простого повиновения Кристофу. Путешествие будет исполнено смысла, и Наиме не придется спрашивать себя, что же может быть *для нее* там, по ту сторону.

Селина входит в кафе с осунувшимся лицом и садится на банкетку.

– Как ты? – спрашивает Наима.

Она тотчас жалеет о своем вопросе, все эти формулы вежливости так банальны. Ей бы вести себя с Селиной, как сумела бы Йема. Обнять ее, как только она подошла к столику, прижать к груди и прошептать, точно ребенку, который ударился: *мескина, мескина...* Но она забыла, как противостоять боли без стены обыденных слов, тех, что держат ее на расстоянии и полагаются правилами хорошего поведения.

Селина достает из сумочки тоненькую стопку бумаг и протягивает ее Наиме. Пока та быстро их просматривает, она заказывает кофе, но не пьет его, играя с ручкой чашки. Она то и дело заглядывает в свой телефон, убеждается, что он ловит сеть, нервно постукивает кончиками ногтей по экрану. Несколько раз извиняется, говорит, что она *не совсем здесь*, потом заводит речь о больнице, о трубках и капельницах, о докторгах, которые ее в упор не видят, а медсестры обращаются с ней как с ребенком, а Лалла фаталист и уже отдает последние распоряжения.

– Он никогда в этом не признается, но ему хочется быть похороненным на родине. Я не знаю, почему он упрямится и настаивает, чтобы его могила была в Марн-ла-Валле. Он как будто думает, что может так наказать Алжир: раз вы не хотели меня живым, не получите и мертвым. Это ребячество. Плохо от этого только ему. Здесь, кроме меня и его сына, с которым он не разговаривает, у него никого нет. Он видится время от времени с такими же изгнанниками, донельзя несчастными, но пытающимися это скрыть. Они говорят, что здесь полная свобода самовыражения, и будто это чистый воздух, который они вдыхают полной грудью, но никто не признается, что эта свобода ничего им не дает, потому что французов не интересует, что делается в Алжире, и никто их не слушает.

Селина ушла, но Наима еще немного сидит в кафе. Оно заполняется, когда люди выходят с работы. Нарастающий гул разговоров вокруг, кажется, еще яснее обрисовывает вокруг столика Наимы зону молчания, которое ничто не может нарушить.

Она думает о Средиземном море, о невысоких волнах, лижущих Лазурный берег, об островах, всплывающих из полузабытых книг по мифологии: Родос, Лесбос и Крит с его чудовищами и лабиринтами. Думает о частицах микропластика, искрящихся как блески, о телах, засыпающих на дне после каждого кораблекрушения, о рыбах,

повидавших все на свете, о затонувших судах турецких корсаров и перевозчиков, о полиморфном море, которое – и мост и граница, и свалка и тигель. Пересечет ли она его на самолете или на корабле, увидит ли сверху маленьким, вклинившимся в сушу, каким его всегда показывали на картах, или впервые охватит взглядом его простор.

Самолетом она за два с небольшим часа доберется из Парижа в Алжир, или, вернее, – и эта мысль ее забавляет, потому что ей видится в этом противоречие с историческими книгами, в которые она зарылась, – из Руасси – Шарль де Голль в Хуари Бумедьен. Корабль куда медленнее – для ее работы это, конечно, потеря времени, – но путешествовать морем – значит проделать свой путь в компании бедных и обремененных, водителей нагруженных машин, которые фотографировал Томас Майландер, совершить долгое и тяжелое путешествие муравья в чреве стального кита. Ехать пароходом – значит вернуться в Алжир так же, как ее семья его покинула.

Думая об отъезде семьи 1962 года, она представляет его как сцену из «Войны миров»: Том Круз и двое его детей пытаются взойти на борт космического корабля, а впускают туда охранники в форме. На перроне толпа людей в темных пальто, шляпах и с потертыми чемоданами – исход как исход, как все такие исходы, ничего футуристического. В этой массе фетра и кожи попадаются светлые прогалы, это три лица: Рея Ферриера – персонажа Тома Круза, – его сына-подростка и маленькой дочери; они смотрят в другую сторону, не на корабль, который может их спасти, а на холм – угроза придет из-за него, он скрывает ее совсем ненадолго. Внезапно возникают инопланетные машины, совершенные в своей убийственной механике, и поднимается крик. Несмотря на давку, семье докера удастся взойти на корабль. Том Круз оборачивается – протянуть руку соседям, оставшимся на перроне. И тут он видит, что военные убрали трап, хотя корабль еще не полон. Он кричит до потери голоса: «Другие могут подняться! Мы можем взять больше людей! Места еще есть!» От несправедливости у него мутится в голове, он выкрикивает имена, но никто его не слушает, и корабль взлетает. Наима представляет себе, как Али разрывается от такого же крика. «Мы можем взять больше людей!» Тычки солдат, оттесняющих его от леера. «Места еще есть!» Удары прикладами. Сирена.

А что, если все было наоборот – на палубе корабля он вдруг онемел и, прижимая к себе жену и детей, испытывал только облегчение, что они вместе. Наима всегда видела это плавание только так: вся семья под небом на палубе, и все, обернувшись, смотрят на город и море. Она и представить не могла, что такое возможно – больше двадцати часов оставаться в бушующем море под проливным дождем. Не сходя с места. А впрочем, она ведь и понятия не имеет, сколько нужно времени, чтобы морем добраться из Алжира в Марсель.



Рано утром в слишком белом свете, от которого выглядит плоским город Марсель, Наима идет вдоль металлических барьеров, змеящихся от парадного зала порта до сходней парома. Она поднимается на борт, крепко держась за перила, черноватое море, зажатое между набережной и паромом, плещется под ногами узкой полоской. Она идет по старомодно выкрашенным коридорам, через огромные залы, где полно кресел, а сидят в них лишь редкие пассажиры, поднимается и спускается по лестницам, пахнущим жавелевой водой, и входит в свою каюту. Ей хотелось думать, что будет иллюминатор, но стена глухая. Должно быть, ниже уровня моря. Металлические стены отражают все шумы. Она ложится на узкую койку и закрывает глаза.

Наима выбрала путешествие на корабле, в последний раз силясь оттянуть свой приезд, чтобы за эти двадцать часов свыкнуться с мыслью, что она скоро будет по ту сторону. Самолет просто разбил бы годы молчания.

В сумке, раскрытой на полу каюты, лежит список имен, телефонов и адресов, полученный от Лаллы, карта страны, еще одна – региона, антибактериальный гель, крем от солнца, туники с длинными рукавами, купленные наобум, две широкие юбки, сохранившиеся с периода хиппи и извлеченные из дальнего угла стенного шкафа, и шарф, которым можно повязывать волосы. Тщательно складывая свой набор «подходящей» одежды, она почувствовала себя как Дюпон и Дюпон в комиксах про Тинтина [\[98\]](#), когда они приезжают в Китай, переодетые мандаринами, или в вымышленную Силдавию в костюмах греческих фольклорных танцоров. В последний момент она добавила джинсы и свитер с капюшоном. Приклеенный к свитеру, как жвачка к подошве, с таким видом, будто не хочет быть здесь, болтается желтый стикер, а на нем наискось написан единственный номер телефона. Это номер Ясина, дальнего кузена, который живет в Тизи-Узу, тетя Далила чуть ли не насильно всучила его ей перед отъездом. Наима записала его, не задавая вопросов, и постаралась не забыть, когда укладывала сумку, но теперь, глядя на высывающийся желтый язычок, находит что-то абсурдное в этой нацарапанной строчке. Ее семья жила

в Алжире века – и вот теперь, когда она туда едет, весь ее нынешний дар уместился на крошечном клочке бумаги.

Накануне отъезда она наконец ответила на эсэмэски Кристофа. По своему обыкновению, он позвонил к ней в дверь через час после своего сообщения. Кристоф всегда пунктуален, Кристоф всегда эффективен. Когда он ушел, она посмотрела на голубоватый презерватив, оставленный на полу. И спросила себя, зачем она это сделала. Может быть, потому, что боится умереть. Чтобы развеяться. По привычке. Потому, что он ей все еще нравится.

Потому, что она понятия не имеет, что значит быть женщиной по ту сторону моря.

Огромный корабль вздымает над водой белые бока, к которым подвешены маленькие оранжевые шляпки, он как будто держит вне досягаемости волн своих деток. Несмотря на размер, его качает, и когда Наима выходит на палубу после ночи толчков и шорохов, там витает кислый запах рвоты. Сначала она видит только море, насколько хватает глаз, потом, несколько часов спустя, вырисовывается линия побережья, она как будто мигает, не страна, а скорее мираж. Когда паром входит в Алжирскую бухту, Наиме вспоминается фраза из сказок: «Я вижу только, как синее море и как белеют дома». В небе ни облачка, и морской простор отражает солнце, золотистое, серебристое и острое на каждом гребне волны. По мере того как глаза привыкают, она замечает, что Белый Алжир бел только на первом плане. Позади, там, где город карабкается на холм, он окрашивается охрой и желтым, а еще дальше красно-коричневые кирпичные здания высятся на едва различимой вершине.

Рыбачьи лодки с натянутыми сзади сетями плывут теперь навстречу парому, который с каждой секундой приближается к порту. Она различает обветренные любопытные лица рыбаков, а те маневрируют, избегая широкой волны, поднятой огромным кораблем.

Наима жалеет, что она одна, что не с кем разделить охватившие ее противоречивые чувства – словно ком стоит у нее в груди, это и не радость, и не страх, не облегчение и даже не равнодушие.

Она жалеет, что одна, но не представляет, кто мог бы с ней поехать. Призывает образ Кристофа, но он не хочет, он дразнит ее, ускользает.

У окошка таможни она открывает дорожную сумку перед служащей, которая, едва взглянув на содержимое, спрашивает ее, собирается ли она в пустыню.

– Нет, – отвечает Наима.

Вокруг нее узлы и корзины других пассажиров выплескивают на ленту транспортера всевозможные подарки, в которых, хмурясь, копаются военные. Чуть дальше, за пропускным пунктом, ей энергично машет какой-то человек. Это, должно быть, Ифрен, племянник Лаллы, которому старый художник поручил отвезти ее в Тизи-Узу. Закрыв сумку, Наима направляется к нему с широченной улыбкой – так она улыбается всегда, встречаясь с кем-то в первый раз. Таможенница, быстро семеня, опережает ее и встает перед Ифреном.

– Она собирается в пустыню? – спрашивает она.

– Нет, – отвечает он.

Женщина уходит к окошкам, куда продолжают выплескиваться коробки духов и блестящая одежда. Наима озадаченно смотрит ей вслед, потом поворачивается к Ифрену:

– Почему она хочет это знать?

– После захвата заложников в газовой компании, – объясняет он, – французам не рекомендуют ездить на юг. Жаль – это, наверно, последнее место, где у нас было что-то похожее на туризм.

Снаружи у здания порта, на залитой светом дороге, обнимаются семьи, трогаются машины, полные переплывших море корзин и коробок, ругаются водители. Воздух полон пыли, она сушит нос и горло. Сквозь тонкие подошвы сандалий Наима чувствует, как поднимается тепло от разбитого асфальта. Еще рано, а ей уже жарко в одежде с длинными рукавами, которую она надела, покидая корабль. На Ифрене только бермуды и пестрая тенниска. Она ждет, что он укажет ей, где припаркована его машина, но он так и стоит на тротуаре, подставив лицо солнцу.

– Я одолжил машину другу, которому надо было перевезти холодильник, – объясняет он. – Это должно было занять не больше часа, но он застрял в пробках.

Он пожимает плечами, как будто такие задержки – нормальный ритм жизни, и спрашивает:

– Хочешь посмотреть город, прежде чем ехать?

Наима кивает и поправляет на плечах тяжелый рюкзак.

Она идет по улицам за Ифреном, вертя головой то туда, то сюда. Алжир то и дело ускользает от ее взгляда множеством украшенных лестниц, они взбираются ломаными линиями на холмы, вершин которых ей не видно. Полосатые шторы висят на окнах и создают маленькие зоны тени и тайны на балконах из кованого железа. По обе стороны улицы электрические провода перепутались с бельевыми веревками и листьями редких пальм. Наима открывает новый континент и жалеет, что впервые увидела Алжир наперекосяк: правое плечо вывернуто слишком короткой лямкой.

– Лалла сказал мне, что ты тоже художник, – пыхтит она, стараясь поспевать за Ифреном.

Он улыбается и пожимает плечами:

– Неофициально.

– То есть? – спрашивает Наима.

– Я пишу на пленэре, – отвечает он – не то туманно, не то бессмысленно.

Они поднимаются к почтамту, прекрасному, как затерянный дворец халифа, с его девственной белизной, на которой выделяются три огромные двери. Минуют сад часов в цвету, где на скамейках спят чернокожие молодые люди, подложив под головы узелки, потом здание министерства внутренних дел, строгости которого не убавил даже стройный ряд ослепительно зеленых пальм. Улицы запружены живой гомонящей толпой. Наима то и дело останавливается, чтобы не налететь на прохожих, а в нескольких шагах от нее Ифрен как будто инстинктивно знает, в каком направлении перемещаться, избегая встречных тел, и ему-то замедлять шаги нет нужды. Она идет вслед за ним по Алжиру как старая китаянка – мелкими шажками.

Они свернули с широких проспектов на улицы, которые изгибаются под странными углами. За первыми рядами колоссальных сверкающих зданий город носит былое величие как старый потрепанный костюм. Здания обшарпаны, грубо утыканы телевизионными антеннами, и каждое по отдельности Наима

наверняка сочла бы безобразным. Но при всем их упадке они возвышаются над морем и над закругленной бухтой, а летящие ступеньки внезапно открывают панорамный вид, красота которого превышает все построенное человеком и лучами отсвечивает от каждого дома.

Шелест арабской речи окружает Наиму, он знаком ее слуху, но смысла уловить она не может. Ни дни, проведенные с Йемой в языковой среде, ни часы, потраченные за школьным учебником, не позволяют ей понять, что говорится на алжирских улицах. Она узнает звуки, как узнавала в детстве пение птички, которая свила гнездо у окна ее комнаты, но они ничего ей не говорят. Она пытается сосредоточиться и вычленить слова из потока фраз. Смысл мучительно ищет путь к ее мозгу и угасает, не дойдя до конца. Невнятные останки звуков ничего больше не значат. Разговоры, надписи на рекламных щитах – все это обращено не к ней. Ничего до нее не доходит, кроме редких французских слов, вдруг выскакивающих из быстрой арабской речи и буквально бьющих ее по ушам.

– Тебе надо поменять деньги? – спрашивает Ифрен.

При мысли о пачке банкнот в ее бумажнике Наима нервничает. Обычно она не носит с собой наличных. Ей нравится мысль, что карманник, укравший ее кошелек – а объявления в парижском метро часто предупреждают о такой опасности, – мало чем поживится.

Ифрен ведет ее по людным улочкам рынка, где фрукты и овощи под солнцем, припекающим все жарче, источают сладковатый запах гниения. Повсюду, стоя за прилавками или сидя на перевернутых ведрах, мужчины курят, резкими движениями поднося сигареты ко рту. Они ворочают ящики одной рукой, продолжая затягиваться, или зажимают тлеющий окурочок в зубах, чтобы освободить руки, и вынуждены при этом щурить глаза от дыма. Пепел сыплется на фрукты и овощи, в тазы, где на полурастаявшем льду разложены дары моря, в бочонки с маленькими клейкими кальмарами, и окурки плавают на поверхности серой воды.

Наиме тоже хочется закурить, но, когда она сует руку в сумку за пачкой сигарет, Ифрен с неодобрительной миной останавливает ее:

– Не здесь, не на улице.

– Я не имею права курить?

– Дело не в праве. Никто тебе не запрещает. Но косые взгляды, замечания...

– Мне на них плевать, – легкомысленно отвечает Наима, пожав плечами.

Она напускает на себя пресыщенный вид, мол, мы и не такое видали, и тут же сознает, что подражает Соль в ее прошлом, избыливающим опасными путешествиями.

– Ты уверена? – спрашивает Ифрен с задумчивой улыбкой. – Ты знаешь, что это такое – чувствовать, как вся улица тебя ненавидит? Как любой, представься ему случай, дал бы тебе пощечину? Хочешь попробовать?

Наима прячет пачку «Кэмела» на дно сумки.

– Подожди, вот приедем в Тизи, там к женщинам относятся немного иначе.

Под рынком, в глубинах площади, есть торговая галерея, но помещения для современных бутиков почти все пусты – слишком дорого для большинства торговцев, которые продолжают продавать свой товар на улице, на коробках и ящиках. Ифрен ведет ее в один из открытых магазинов, бутик кожи со светящимися стенами. Хозяин, думает Наима, точь-в-точь визирь из мультфильмов – борода острая, а под угольно-черными бровями усталые газельи глаза.

– Дай ему твои евро, – велит Ифрен. – У него лучший обменный курс во всем Алжире.

Банкноты в ее бумажнике сменяются новой пачкой, теперь на них изображены слоны, буйволы, антилопы и старинные корабли с надутыми ветром парусами. Наима ищет картинки, нарисованные Иссиахемом, о которых говорил Лалла, но те банкноты, наверно, больше не в ходу. Она испытывает короткое и острое разочарование, которое еще не раз посетит ее во время этого путешествия, при мысли, что Алжир, развиваясь и модернизируясь, за истекшие десятилетия избавился от того, что для нее, Наимы, представляло важную веху, один из редких ориентиров, почерпнутых из лаконичных рассказов.

Они встречаются с другом Ифрена на площади Эмира Абделькадера – раньше она называлась площадью маршала Бюжо. «Милк-бар» еще существует и продает прямо из настержь распахнутых огромных окон мороженое и содовую. Статуи же французского

маршала, губернатора Алжира с 1840 по 1847 год, прославившегося своими небанальными методами ведения войны, – он, например, окуривал дымом сотни укрывшихся в пещерах простых крестьян, чтобы те умерли от удушья, – больше нет. Ее вернули на родину в 1962-м и много позже установили в маленьком городке в Дордони. Строгая скульптура Бюжо с рукой на сердце уступила место конной статуе Абделькадера, держащего саблю наголо. Эмир, с которым французский маршал воевал почти десять лет и вынудил его сдаться, из побежденного в момент провозглашения независимости превратился в героя, и на привинченной под статуей табличке он называется «гуманистом, философом и отцом-основателем алжирского государства». Наима рассеянно читает эту надпись, ее внимание сосредоточено на облепленном скотчем автомобиле, багажник которого открывает Ифрен. Алжир для нее – лишь вступление, как те зоны между аэропортом и центром зарубежных столиц, на которые смотришь с заднего сиденья такси, смутно пытаясь угадать, а как же выглядит скрытая за ними страна. Знай Наима, что в конце лета 1956-го ее дед был здесь, всего в нескольких метрах от места, где стоит она сейчас, под дождем из стекла, гипса и крови, – наверно, с жадностью всматривалась бы в площадь, представляя на месте задевающих ее прохожих знакомые лица, и попросила бы у Ифрена несколько лишних минут, чтобы попытаться вообразить тогдашний грохот и страх. Но Наима знает так мало, что ей не терпится покинуть столицу, и она без сожаления садится в старую машину.

Когда они медленно выезжают из города на восток, Ифрен предлагает ей посмотреть фотографии его произведений. Она видит стены комиссариатов, мэрий, помещений политических партий, покрытые огромными лицами и берберскими символами. Дальше – фасады роскошных вилл, на которых нарисованы зыбкие тени, корчащиеся и кричащие между линиями тьмы. У Ифрена нет дядиной точности, думает она, просматривая картинки, но он явно лучше себя чувствует в большом формате. Его гигантские картины берут город в полон, заставляя забыть о слабости штриха. От некоторых просто захватывает дух.

– Ты спрашиваешь разрешения, прежде чем начать фреску? – интересуется она.

– Конечно нет, – улыбаясь, отвечает Ифрен. – Они просто появляются. И очень часто их стирают на следующий же день. Я не могу их подписать, не могу их показать, я, можно сказать, художник без картин.

Его это как будто очень забавляет.

– А полиция не пыталась тебя арестовать? – тревожится Наима.

– Еще как.

Он отвечает тем же веселым тоном, будто находит вполне нормальным, что полицейские его преследуют – известное дело, ведь у каждого своя работа. Он добавляет, что несколько раз недолго сидел в тюрьме, тоже без всякой *официальной* причины: художник без картин, зэк без приговора, все эти «без» ему нравятся. Он не вынес только психиатрическую лечебницу. Вот туда он не желает возвращаться.

– Мне казалось, я попал в старый русский фильм ужасов. А ведь, по словам Лаллы, в его время ничего подобного не было. Похоже, мне еще повезло...

Они говорят немного о старике, об его отъезде из Алжира и о двойственных отношениях, которые он с тех пор поддерживает с родиной.

– Он как будто отчаялся увидеть позитивные сдвиги, – говорит Наима.

Ифрен вздыхает: его дядя в этом не одинок. Он знает множество интеллектуалов и художников, которые уехали в конце гражданской войны, десять лет назад, потому что в то время, когда страна могла бы возродиться и двигаться вперед, увидели лишь регресс.

– Знаешь, многие не поняли, что Алжир еще строился, что все проблемы, которые мы унаследовали с независимостью, не навсегда. Сколько людей решило: если мы в дерьме – значит, в дерьме, и точка. Я в это не верю. Я считаю, что страна – это движение, или ей смерть.

Закончив смотреть фотографии, Наима украдкой наблюдает за Ифреном. Очень рослый, с тонкими и острыми чертами лица, дымной массой светлых волос, уже там и сям пересыпанной сединой, он похож на золотую статую воина. Она вспоминает все, что недавно читала о происхождении кабилов. Ифрен мог бы послужить живой рекламой для тех, кто утверждает: берберские племена генетически произошли от викингов или вандалов. Чувствуя, что его

рассматривают, он оборачивается, тоже уставившись прямо на нее и улыбаясь, забыв смотреть на дорогу – распространенная привычка, как вскоре убедится Наима. Смутившись, она опускает глаза.

Несколько раз, когда ожидание у светофора или на перекрестке кажется ему слишком долгим, Ифрен выходит из машины и ныряет в лавчонку или кружит вокруг прилавков, которых много на обочине. Он возвращается с бутылками воды, миндалем, сигаретами, завернутыми в пластиковые пакеты в несколько слоев, как луковица в шелуху. Мотор он не глушит.

– Бензин здесь ничего не стоит, – объясняет он в ответ на замечание Наимы. – Мы – королевство автомобилей, и это, наверно, единственная роскошь, которую большинство алжирцев могут себе позволить, так что, честно говоря, насчет экологии...

И тут, словно в подтверждение, улетевший пластиковый пакет повисает на выжженных солнцем листьях растущих на обочине пальм.

Похоже, Ифрен ведет машину, не смущаясь ни вездесущими сторожевыми будками, ни металлическими зубцами, иногда сужающими дорогу; Наима же с удивлением смотрит на это дефиле военной формы и оружия – как и на угрюмых мальчишек, то и дело пристающих к ним с отрешенным видом. Встречая в Париже военных во время операции «Часовой» [\[99\]](#), она всегда с тревогой всматривалась в их красные и синие кепи и черные стволы, вдруг превратившие улицы ее квартала в зоны боевых действий, существовавшие до недавнего времени только в кино или на других континентах. Видя, как они неловко улыбаются горожанам, она думала: эти люди знают, какое производят впечатление, и почти извиняются за свое присутствие. Они, как и она, похоже, были убеждены, что это только временно и к странному сосуществованию надо привыкнуть на то недолгое время, пока оно продлится. Алжирские же военные, которых машина то и дело обгоняет, наоборот, как будто возникли вместе с пейзажем, и угрюмо-скучающее выражение на их юношеских лицах словно говорит Наиме: мы знаем, что здесь на долгие годы, а может быть, и на века.

Они миновали Бордж-Менайель, где горели когда-то склады пробки и табака, и едут вдоль Уэд-Шендер [\[100\]](#). На минаретах,

телевизионных антеннах, недостроенных стенах и столбах сидят аисты – их черно-белое оперение элегантно, как вечерний костюм прошлого века. Наиме кажется, что от их огромных круглых гнезд – шляп из прутьев, нахлобученных на человеческие постройки, – исходит странное ощущение безмятежности. Она вытягивает шею, чтобы лучше их видеть, надеясь высмотреть яйца.

В документальном фильме Хассена Ферани «Карусель в моей голове», который она смотрела как-то ночью в прошлом месяце, работник алжирских боен рассказывает историю об аисте, восходящую к временам колонизации. Птица стащила французский флаг для гнезда. Солдаты, не найдя своего стяга, в ярости арестовали и пытали часть деревни, но безрезультатно. Только уголок трехцветного флага, торчащий из гнезда, изобличил истинного преступника. Французы арестовали аиста и несколько месяцев держали его в тюрьме. Они регулярно били его, но он ни в чем не признался. В конце концов его отпустили.

– Это чистая правда, – несколько раз повторяет рассказчик, гордо улыбаясь.

Ифрен высаживает Наиму у Дома ремесел в Тизи-Узу, и Мехди, ее гостеприимный хозяин на ближайшие несколько дней, выходит им навстречу, едва завидев автомобиль. Готовясь к поездке, Наима радовалась, что друзья и родные Лаллы с такой охотой готовы ее встретить. Теперь, на месте, она чувствует себя громоздким свертком, который передают из рук в руки. Она смотрит, как золотистый водитель удаляется за рулем старенькой машины, и машет рукой, пока она не скрывается за углом (так всегда делает Йема, когда от нее уходят дети, а поскольку для Наимы нет никакой разницы между Алжиром и бабушкой – Йема и *есть* Алжир Наимы, – для нее совершенно естественно повторять ее жесты теперь, когда она здесь).

Мехди – маленький человечек, чья нервозность как будто стирает возраст. Он движется как воробей или ребенок, часто щурит глаза (близорук, узнает она позже, но не выносит тяжести очков на носу). Мехди знал Лаллу в молодости, когда они вместе учились фотографии, и питает к нему братскую любовь с примесью беспокойства. Когда Наима сообщает ему о его здоровье, он вздыхает, неодобрительно качая головой, как будто Лалла нарочно умирает, как будто художник снова, в который раз, ищет неприятностей на свою голову. Он ведет

Наиму к себе домой и силой отбирает у нее багаж, хотя ростом ниже ее сантиметров на десять и верхушка рюкзака, раскачиваясь от его непрерывных движений, бьет его по голове там, где лысина обнажает белую, почти голубоватую кожу. Едва они переступают порог, как он задает тот же вопрос, что Ифрен:

– Хочешь посмотреть город?

Архитектура Тизи-Узу разочаровала Наиму. Центр состоит в основном из новых зданий, такие можно увидеть где угодно, и, несмотря на обещания в самом названии (Узу означает «дрок»), в городе больше проспектов и машин, чем цветущих кустарников. Наиме неинтересны фасады, она смотрит на прохожих. Улицы, похоже, принадлежат молодежи, лицеистам и студентам. Смех и брань доносятся от группок, собирающихся вокруг скамеек. Не в пример столице по улицам ходят девушки в коротких юбках, с непокрытой головой. М'духа, квартал в стороне от центра города, известен своим кампусом для девушек, объясняет Мехди. Он не знает, сколько их там в точности – тысяча, две, может, больше.

– Разумеется, – вздыхает он, – это привлекает извращенцев. Племянница моей жены жила там, но предпочла вернуться к родителям. Она говорила, что по ночам в кампусе бродят подозрительные мужчины.

Наима, однако, находит, что здесь мужские взгляды не так тягостны, как в Алжире. В них читаются скорее шутки или комплименты, чем неодобрение.

Музыка вездесуща, брызжет из машин, из радиоприемников, стоящих в шатком равновесии на подоконниках, из телефонов прохожих. В ответ на вопрос Наимы, что слушает молодежь Тизи, Мехди с гримасой пожимает плечами. Еще несколько метров – и он заводит ее в магазин дисков, в витрине выставлены сотни конвертов. Коротко переговорив с продавцом, он протягивает ей стопку дисков и уверяет:

– Вот это кабийская музыка.

Наима смотрит на лицо красивого черноволосого мужчины на обложке.

– Кто это? – спрашивает она.

Мехди и продавец смеются, ведь для них не узнать Матуба Лунеса так же абсурдно, как не узнать Че или Иисуса. Раненный в 1988 году

жандармом, выстрелившим в него пять раз, похищенный в 1995-м вооруженной исламистской группировкой, которая освободила его после всенародного возмущения, артист долго казался неуязвимым. Два десятилетия он записывал каждый год по новому альбому, не заботясь, судя по всему, о том, сколько врагов наживает своими песнями. И наконец, только гнусное и загадочное убийство на обочине дороги в 1998-м сможет заткнуть рот защитнику берберской культуры, борцу за свободу и светскость, герою – и теперь, почти двадцать лет после его смерти, тоже – большей части кабийского народа.

– Но вы во Франции не понимаете, – тут же с сожалением кивает продавец. – Как бишь называется эта газета, которую все читают?

– «Либерасьон», – подсказывает Мехди.

– Вот, – продолжает продавец, – в «Либерасьон» писали, что Матуб Лунес был фашистом, потому что не любил арабов. Франция ничего не понимает.

– А на самом деле... он любил арабов? – чуть растерявшись, спрашивает Наима.

– Нет, конечно, – отвечает продавец.

– Тут все непросто, – предпочитает добавить Мехди.

Когда они возвращаются в Дом ремесел, Наима совсем без сил, а ремешки сандалий больно врезаются в распухшие ноги. Но она мило улыбается Мехди, когда тот предлагает ей посмотреть коллекцию, и у витрин примеряет незнакомые украшения: *хальхаль*, *табзимт*. Наима повторяет названия как магические заклинания. Под тяжестью серебра более чем вековой давности она силится разглядеть, превращают ли ее драгоценности в берберскую принцессу, но видит в зеркале только свое привычное лицо, лицо смешно вырядившейся тридцатилетней парижанки. Она через силу соглашается, чтобы Мехди ее сфотографировал («для семьи», – говорит он) и, принимая позу, которая кажется ей восточной, снова вспоминает Дюпона и Дюпона из комиксов.



Назавтра она начинает тянуть за ниточки, которые должны привести ее к рисункам Лаллы. Мехди и его жена Рашида, издательница с красивым строгим лицом, помогают ей с непостижимым для нее энтузиазмом. Они дополняют полученную ею обрывочную информацию, возят ее по всему городу, иногда ведут за нее переговоры, так что она чувствует себя маленькой девочкой, присутствующей при разговорах взрослых, где все, что она могла бы сказать, не имеет значения или, вернее, – ведь слушают ее внимательно, улыбаясь, хмуря брови, издавая горлом тихие звуки, выражающие согласие, – где все, что она могла бы сказать, не будет иметь досадных последствий. Ее это успокаивает, и она послушно ходит из дома в дом, от одного их старого знакомого к другому, смотрит эскизы, которые ей показывают, и не пытается ускорить ход событий. Проводит первую сортировку рисунков тушью и карандашом, откладывая те, что кажутся ей наиболее интересными. Среди них – серия автопортретов Лаллы, которая ей особенно нравится: черты его лица смешиваются с написанными строчками и традиционными узорами, отбрасывающими на него лужицы тени. Тексты могут быть как фрагментами из газет и политическими слоганами, так и строфами старинных стихов, а иногда – крошечными буквами под глазом или вдоль носа – постыдными или жестокими воспоминаниями в несколько слов. Наима объясняет собеседникам, как работает галерея, уточняет, что приехала не покупать рисунки, а попросить предоставить их на время выставки, на которой они могут быть проданы. Дело это сложное, потому что хозяин рисунков тоже сортирует их, путая ее планы: забирает те, с которыми не хочет расставаться, и предлагает взамен другие. Переговоры напоминают Наиме партии в «Монополию», сыгранные с сестрами на каникулах. «Я отдам тебе Рю-де-ла-Пе за твои два апельсина. Бери мои вокзалы и пятьдесят тысяч сверху».

Теперь она лучше понимает, почему Камель противился проекту: это действительно музейный демарш, у галереи нет опыта в таких операциях. У экспонатов будущей выставки много хозяев, и каждый

норовит установить свою цену – либо же, в силу дружбы с Лаллой, готов отдать даром то, что у него в собственности («он мне подарил этот рисунок, не стану же я его продавать»), есть и те, кто в силу той же дружбы заламывают бешеные суммы («это великий художник»).

Бывает, что поиски по именам, которые дал ей старый художник, ведут в тупик: некоторые семьи переехали, не оставив адреса, и в конечном счете перебрались во Францию, Италию, Испанию или Марокко в 2000-х годах, с отвращением убедившись, что после «Черного десятилетия» свобода, как они надеялись, не вернулась. Иногда даже Мехди и Рашида удивляются, видя за открывшейся дверью незнакомое лицо. «От него я никак не ожидал, что он уедет», – роняет тогда кто-нибудь из них, Мехди с грустью, Рашида с гневом.

В основном, однако, поиски идут до странности легко. Друзья Лаллы милы, приветливы, и, главное, они, кажется, много лет ожидали, когда же его гений будет признан и ему посвятят ретроспективу, которую описывает им Наима.

– Долго же вы собирались, – вздыхают они, доставая из шкафа, из обувной коробки или из бумажника маленькие изящные рисунки тушью, полученные когда-то в подарок.

Ей нравятся все, кого она встречает в эти дни переговоров, и особенно Мехди и Рашида, окружившие ее постоянным вниманием. Они – часть целой вереницы типажей, которых Наима не ожидала найти здесь, – она ведь унаследовала лишь разрозненные воспоминания о сельском Алжире, где все занимались только оливами. В поиске, устроенном Лаллой, она встречает интеллектуалов, художников, активистов, журналистов, и с каждым их словом внутренний Алжир Наимы растет в неожиданных направлениях. Ее собеседники, похоже, все боролись за независимость, страны ли, Кабилии или артистов от власти. Общаясь с ними, она естественным образом старается скрыть прошлое своей семьи (представляется, с полуправдой и умолчаниями, как потомок эмигрантов). Наима не уверена, что это плохо: в конце концов она говорит себе, что свободна, и можно свалить все на словарный запас, что, пожалуй, упоительно. Вместо того чтобы идти по следам отца и деда, она, быть может, выстраивает свою личную связь с Алжиром, связь не

по необходимости и не по корням, но по дружбе и привходящим обстоятельствам. Она выбросила телефон Ясина, зная, что не позвонит ему.

– А Тассекурт?

Вопрос Мехди вырвал ее из оцепенения. Она откладывает толстый альбом, в который аккуратно подшила собранные рисунки, и смотрит на него, страдальчески морщась.

– Завтра...

Она отложила напоследок самый, на ее взгляд, деликатный этап работы: встречу с бывшей женой Лаллы. Художник никогда о ней не говорил, это линия молчания, вдоль которой он ходит с осторожностью. Рашида описала ее как гадину. Мехди только вздохнул, мол, «это было сложно». (Когда он смущен, к нему, чей французский обычно совершенно чист, вдруг возвращается произношение, напоминающее Наиме о том, как говорит Йема. Язык, в котором слова не разделены и куда-то исчезают гласные: *блослжно*.) На сей раз никто из них не захотел поехать с ней. Наима отправляется на встречу с «гадиной» одна, с комом в желудке.

Тассекурт живет в Верхнем городе, старом квартале Тизи-Узу. По словам Рашиды, у нее есть и более современная квартира в центре, но встречу Наиме она назначила в этом семейном доме. Кругом узкие улочки, домишки низкие, как традиционно бывает в деревнях – местечко так и осталось отчасти деревней. Каменные стены все в трещинах, а на маленьких красных крышах зачастую не хватает черепиц, но, несмотря на видимую разруху, Наима с удовольствием осматривает этот квартал с маленькими площадями, фонтаны на которых, почти все без воды, радуют прохладными цветными гротами.

Она прохаживается вокруг дома, оттягивая момент, когда позвонит в дверь, и вдруг замечает в окне второго этажа лицо Тассекурт: та молча наблюдает за ней из-за москитной сетки. Она выдерживает взгляд ее агатовых глаз, стараясь не краснеть.

Внутри свет, просачивающийся сквозь частые деревянные решетки, рисует кружева на плитке пола. Нет другого убранства, кроме созданного солнечными лучами, в комнатах, через которые Наима робко следует за женщиной с осанкой королевы. Дворик, где они

усаживаются, так утопает в тени широких листьев фигового дерева, будто уже вечер. Тассекурт подает кофе и курит длинные сигареты с ментолом – одну за а другой.

Она красива увядшей красотой больших цветов, ярких, раскрывшихся, которые кажутся в зените своего цветения, хотя на самом деле от легкого прикосновения опадут все их лепестки. От ее тела, от складок на шее – как и от всего ее дома – исходит сладковатый и пыльный запах старости, и ее окутывает смутный эротизм памятника, который вот-вот станет руинами. Ее белокуро-серые волосы связаны на макушке в замысловатый и объемистый узел, напоминающий Наиме прически Умм Кульсум на виниловых пластинках ее родителей.

Вопреки ее ожиданиям, Тассекурт спокойно рассказывает, похоже не думая критиковать бывшего мужа. Она даже не упоминает об их отношениях. Говорит о нем как о художнике, чьи картины купила случайно или по наитию на одной из его первых выставок в молодости. Она интересуется тем, что Наима рассказывает ей о ретроспективе, но так, будто от нее ждут советов, а не выставления на продажу хранящихся у нее произведений.

– Кто принял решение о выставке? Вы?

Наима рассказывает о Кристофе, о галерее, о видении арабского мира, об уникальности работ Лаллы, но Тассекурт задумчива и больше ее не слушает:

– Вы осознаете, что вы – я хочу сказать, ваш патрон, галерея, ваша среда в целом, – возможно, решаете, кто имеет право остаться для потомков, а кто – нет?

Наима мямлит, что никогда не смотрела на вещи под таким углом, что все наверняка куда сложнее. (Она невольно заговорила с интонациями Мехди – а это и интонации Йемы.)

– Что вы думаете о понятии заслуг? – спрашивает Тассекурт. – Все алжирцы во Франции, которых я знаю, помешаны на заслугах. Лично я нахожу эту идею отвратительной.

– Я... но... да... – начинает Наима, не зная, что сказать.

Ее впечатляет эта женщина с большими глазами, подведенными блестящей бирюзовой краской, толстым золотым браслетом на запястье и вычурной прической. Она похожа на актрису на закате карьеры, в последний раз исполняющую роль Клеопатры.

– Я не заслуживаю ничего из того, что имею, – говорит Тассекурт, не обращая внимания на ее лепет. – Лалла не заслуживает ретроспективы. Такие вещи случаются, вот и все, одних можно добиться, другие – просто смесь удачи и случая...

Она убирает чашки, прежде чем Наима допила густой и сладкий кофе, давая ей понять, что она свободна.

– Насчет рисунков я подумаю, – говорит она. – Не уверена, что хочу с ними расстаться.

Наима встает, ругая себя, что встала, что так легко повинуется безмолвным командам собеседницы. Ей хочется разбить величественную и холодную маску Тассекурт, хочется взволновать ее, и, наверно, поэтому она роняет, покидая террасу:

– Он в больнице. Он может не дожить до этой ретроспективы, если мы будем тянуть.

Она знает, что Лалле было бы невыносимо слышать такое, что она упоминает о его болезни лишь ради пафосности, дабы ускорить то, что в конечном счете всего лишь сделка. По тому, как медленно поднимается бровь Тассекурт, Наима видит, что та думает об этом в точности так же, как и старый художник. На долю секунды она вдруг представляет себе, какая это была потрясающая пара – без взаимных уступок, без условностей.



В этот вечер Мехди и Рашида пригласили ее в ресторан-гриль подальше от центра города. По ее просьбе они наперебой угощают ее анекдотами о бурной молодости Лаллы. Наима с удивлением узнает, что Рашида познакомилась с ним раньше Мехди. Художнику случилось рисовать обложки к книгам для первого издательства, в котором она работала. Алчная и ностальгическая улыбка мелькает у нее на губах, когда она об этом рассказывает, не оставляя сомнений в их былых отношениях. Наима думает, что и ей хотелось бы, чтобы какой-нибудь мужчина говорил о ней так, когда волосы ее побелеют, а кожа станет похожа на великоватый и помятый костюм. Мехди, кажется, не особо беспокоят взволновавшие жену воспоминания, он улыбается, щурит глаза, заказывает еще выпить. Когда он уходит в туалет, Наима признается Рашиде, что бесстыдство ее речей ошеломляет. Та заливается звонким горловым смехом, явно польщенная:

– Все эти игры в чистоту и в «моя жизнь началась с замужеством» очень мало для меня значат, – отвечает она. – Меня убивает, когда сегодняшние девчонки покупаются на эти глупости. Мы в этой стране сделали большой шаг назад.

Она смотрит вокруг и, заметив несколько чисто мужских групп, усмехается:

– Большинство из того, чего женщины не делают в этой стране, им даже не запрещено. Они просто свыклись с мыслью, что им этого нельзя. Ты видела, сколько в Алжире террас, на которых одни мужчины? Вход в эти бары женщинам не заказан, нет никакой таблички, и, если я туда зайду, персонал меня не выставит, однако ни одна женщина там не садится. Точно так же ни одна женщина не курит на улице – и уж не будем о спиртном. А я говорю, пока закон не запрещает мне того и сего, я буду это делать, пусть даже останусь последней алжиркой, которая пьет пиво с непокрытой головой.

Чуть позже она продолжает этот разговор, как будто темы, затронутые в промежутке, были лишь лирическим отступлением:

– Невозможно противостоять всему, уву. Я знаю, что они отчасти победили, потому что сумели вбить мне в голову, что я предпочла бы

быть мужчиной. Я ненавидела, так ненавидела половую зрелость, я очень хорошо это помню. Грудь у меня прорезались в тринадцать лет, и мне казалось, что это болезнь или какой-то безумный ученый привил их к моему телу ночью, пока я спала. Я уснула плоской, еще почти мальчиком, вроде двойника моего брата, а проснулась с этими горбами, превратившись в мать, став откровенно женщиной – хоть насилуй, хоть выдавай замуж, – да еще мягкой, вынужденной защищать грудь от ударов, неспособной бегать без бюстгалтера. А через несколько недель пришли месячные, и это было концом всего. Я плакала часами.

В ресторане на звонкий голос Рашиды оборачиваются едоки; Наима замечает, что время от времени муж мягко накрывает рукой ее руку – и тогда Рашида от прикосновения его кожи понижает тон, но не прерывается.

В конце ужина к ним присоединяется компания друзей, и усаживается снаружи за огромным столом, куда прибывают креманки с сорбетом и бутылки. Тем, кто еще с ней незнаком, Рашида и Мехди представляют свою гостью как посланницу Лаллы и как блудную дочь, вернувшуюся наконец на родину после долгого отсутствия. Наима принимает многочисленные одобрителльные кивки, уверенная, что не заслужила их (она никому не призналась, что долго хотела отказаться от этой поездки). Один из вновь прибывших спрашивает ее, откуда родом ее отец. Она называет деревню, цепочку из семи маленьких ферм на гребне горы, убежденная, что эти места никому не знакомы (никто никогда не реагировал, когда она произносила это название во Франции, даже перед кабилами).

– Это близ Цбарбара, да? – отзывается собеседник.

– Над плотинной, – добавляет его сосед.

Она не знает. Знает только одно (прочла в Интернете):

– Это в округе Буира.

– Да, но не совсем, – поправляет кто-то еще. – Это рядом с Палестро.

– Ты там была?

Она качает головой, признаваясь, что нет.

– Конечно, она там не была, – говорит Рашида. – Когда бы она могла там побывать? Это гнездо бородатых!

Тут Наима сочла уместным вставить свой куплет, оправдывающий тот факт, что она никогда не была в родительской деревне:

– Отец ждал, когда мы с сестрами подрастем, чтобы отвезти нас туда всех четверых. Но в тысяча девятьсот девяносто седьмом, в «Черное десятилетие», моего кузена с женой убили на фальшивом блокпосту, и тогда отец передумал. Он сказал, что никогда не вернется на родину.

Кто-то молча кивает, мол, знакомая ситуация. А Рашида говорит:

– Надо было всем им перерезать горло, этим псам, когда они спустились с гор. Вместо того чтобы давать им квартиры и открывать банковские счета.

Очень быстро разговор оживляется, и люди уже кричат. Вокруг маленькой площади, в центре которой стайка детишек со смехом гоняет разноцветный матч, на всех переполненных террасах одно и то же – пыльные и громогласные сотрапезники. Наима слушает пламенный разговор вокруг большого стола, но не может в нем поучаствовать, потому что «Черное десятилетие», выпавшее на долю Алжира, которое остальные здесь пережили, ее задело лишь рикошетом, слабым и коротким рикошетом Затверженных Речей. Она мысленно делает заметки, чтобы пересказать этот разговор по возвращении. Она видит – как говорит сама себе – срез алжирской жизни, сцену из тех, каким надо радоваться в поездке, потому что этот опыт, к которому простым туристам доступа нет, дает временное ощущение причастности к жителям страны. Она думает, что вопрос о ее деревне затерялся в потоке речей, что ее происхождение отмечено, но не имеет большого значения. В этом она ошибается.

– Они победили, потому что еще и сегодня люди боятся гор. Туристы – понятно. Они туда больше ни ногой. Но даже алжирцы боятся. Послушай себя – ты же говоришь девочке, что она не может поехать в свою деревню, потому что там опасно!

– Я не это сказала, – защищается Рашида.

– Именно это. Она впервые приезжает в страну, а ты ей говоришь: твоя родина – гнездо бородатых.

– В то же время Рашида права, – вступает за нее муж. – Я не знаю никого, кто согласился бы отвезти Наиму к ней на родину. Все отлично знают, что в этих местах опасно.

Все снова кричат, не слушая друг друга. Они разделились на два клана: одни думают, что места безопасны, другие считают, что это вертеп. Странно одно – никто, кажется, не сомневается, что Наима *хочет* в деревню и сейчас обсуждается возможность этой поездки.

– Лично я не боюсь, – говорит один из мужчин, – я часто бываю там по делам.

– И никогда не было проблем?

– Никогда.

– Отлично, – говорит Мехди, – вот завтра и отвези туда девочку.

Они ударили по рукам, даже не спросив мнения главного заинтересованного лица. Будущий «извозчик» поворачивается к ней и представляется: его зовут Нуреддин, он дальний родственник Мехди. Она пристально смотрит на него, но не слышит, что он ей говорит. Он победоносно улыбается, точно так же, как улыбался Кристоф, когда решил отправить ее в Тизи-Узу. Почему все эти люди так упорно хотят вернуть ее к корням? Наима благодарит его за предложение, но вынуждена его отклонить: извините, работа.

– Рисунки, которые остались у Тассекурт? – вмешивается Рашида. – Не переживай. Она помариновала тебя, получила удовольствие, а теперь все тебе отдаст. Она давно любит деньги больше, чем память о Лалле...

Ее лицо искажается презрением, когда она говорит о первой жене художника.

– Никто из нас так никогда и не понял, почему он ее любил.

Окружающие ее мужчины смотрят на свои ботинки, будто ни при чем. Есть раны, которых не зарубцуют и десятилетия.

– Но вы уверены, что это не слишком опасно? – настаивает Наима, выждав несколько секунд.

Остальные, кажется, с трудом понимают, о чем она. Они уже сменили тему разговора, Рашида ушла в воспоминания.

– О нет, – говорит Нуреддин, – террористы теперь уважительнее относятся к женщинам. Они предпочитают убивать полицейских.

Заставленный бутылками стол блестит под тусклой гирляндой разноцветных лампочек. Наима уже не знает, как воспротивиться этой поездке. Страх, терзающий ей нутро, лишь отчасти объясняется тем, что в горах террористы. Ее пугает перспектива ступить на землю, с 1962 года застывшую в воспоминаниях ее семьи, и тем самым

внезапно, грубо вернуть ее к жизни. Этот поступок кажется ей сравнимым с поступком легкомысленного ученого в «Машине времени», который раздавил бабочку юрского периода и тем самым разрушил настоящее, куда рассчитывал вернуться. Как ей разделить этот страх с компанией веселых выпивох, собравшихся вокруг? Как ей внятно выразить хотя бы его половину?

В эту ночь она спит плохо, голова полна механических шумов, населяющих тьму. Еще бродя по городу, она заметила эти вздутия, иногда сочащиеся влагой, ящики кондиционеров на домах, похожие на беспорядочные высыпания, – они и на офисных зданиях, и на жилых, а если прислушаться ночью, когда шум автомобилей и голоса прохожих затихают, – можно услышать глухой неумолчный гул моторов, дребезжащих с каждой остановкой и каждый раз когда их снова заводят, но никогда не в унисон. И Наима вздрагивает, ворочается, брыкается при каждом дребезжании на слишком тонком матрасе в своей спальне.



Настойчивый клаксон Нуреддина выдергивает Наиму из кухни, где она, обжигая губы, пила невесть какую по счету чашку кофе, оттягивая время выхода. Боясь, что он перебудит весь квартал, она быстро хватается за рюкзак, вспоминает, что так и не подтянула ляжку, значит, завтра опять будет болеть плечо, думает, что стареет, и если бородатые ее убьют, то стареть ей осталось недолго, и садится к нему в машину. Нуреддин рвет с места.

Как только они удаляются от главной городской артерии, он сразу начинает гнать как попало. На разбитых, полных выбоин дорогах, обвивающих скалы, он обезумел от нетерпения и, едва увидев несколько метров прямого и ровного шоссе, мчится, готовый кричать от радости, одна рука на руле, другую высовывает из окна, запускает себе в шевелюру или затягивается сигаретой. При каждом ускорении Наима цепляется за ручку над дверцей, и пластмасса так и выскальзывает из все сильнее потеющих пальцев.

Она заставляет себя сосредоточиться на пейзаже, чтобы не думать о риске аварии. Все те же вечно строящиеся дома, те же деревья, украшенные пластиковыми пакетами, те же казармы, вдоль которых она ходила в предыдущие дни, но теперь она знает, что они составляют часть обратного пути (в голове невольно крутятся эти слова, *обратный путь*, хотя она даже не ведает, куда едет), и смотрит на них с новой сосредоточенностью, как будто – может быть – могла бы их узнать.

По пути она замечает, что женщины встречаются все реже, а одежды на них все больше. Футболки и сланцы девушек Тизи превращаются в традиционные блузы и *фата* ^[101]. Еще дальше кабийский платок сменяется мусульманским покрывалом. На улицах Лахдари (бывшего Палестро) ни одной непокрытой головы. Наима просит Нуреддина остановиться, ей надо достать из багажника шарф, захваченный, чтобы прикрыться, который до сих пор мирно спал на дне сумки. Повязав на голову хлопковую ткань, она смотрится в зеркальце заднего вида и думает, что такой цветной тюрбан никак не позволит ей затеряться в массе женщин в *хиджабах*, а зачастую и

в *джеллаба* [\[102\]](#), которых она видит на улицах. По ее виду скорее скажешь, что она как будто не религиозную заповедь соблюдает, а собралась на пляж. Черные кудрявые пряди выбиваются на лбу и на затылке. Она отодвигается, насколько может, от окна, не в силах последовать вчерашним наставлениям Рашиды и гордо заявить о своем праве не прикрывать голову.

На перекрестке улицы 5 Июля и дороги к рынку осыпается на тротуар с бело-зеленой витрины маленького магазинчика высохшая краска. Хозяин, сидя перед витриной, задумчиво ковыряет зубочисткой в сильно разреженных передних зубах. Он продает помидоры, горох, оливки, лук. Все это не очень отличается от товаров Клода, только на полках внутри нет больше пастиса, пикона и фернет-бранка. Наима опускает голову, никто не упрекнет ее в том, что она бесстыдно посмотрела в глаза мужчине. Но и взгляни она на него – и тогда не смогла бы узнать Юсефа Таджера, товарища по играм и героя детства Хамида там, в горах. Она никогда о нем не слышала. Машина минует его, даже не сбросив скорости.

Что бы ни говорил Нуреддин в ресторане, он не знает точно, где находится деревня. На выезде из Лахдарики он несколько раз останавливается, чтобы спросить дорогу у солдат, и каждый раз ему отвечают:

– Что, едете к террористам?

Это смешит Нуреддина, и он одобрительно поднимает вверх большой палец. Наиме же совсем не смешно. И все-таки на нее накатывает радость, когда она вытягивает шею к вершинам. Впервые с приезда в Алжир она смотрит на то, что видела ее семья, она это знает. В приступе тревоги, смешанной с восторгом, она звонит отцу:

– Я на пути в деревню.

Он отвечает залпом вопросов:

– Зачем? С кем? Ты кого-нибудь предупредила? Они знают, что ты едешь?

– Все хорошо, – отвечает Наима голосом, который ей самой кажется до странного безмятежным. – Не беспокойся. Я только хотела спросить, можешь ли ты помочь мне найти дом.

– Я ничего не помню, Наима. Совсем ничего! В чем мне признаться тебе, чего ты от меня хочешь?

Она не знает. Может быть, пусть бы просто сказал ей спасибо.

Старая машина начинает подъем по узким горным дорогам к хребту, которого больше не видно – он теряется среди сосен, цветов и фиговых деревьев. Тридцать три километра отделяют Лахдарию от деревни, но у них уходит бесконечно много времени, чтобы проехать их по этой извилистой дороге. Нуреддин больше не выпускает руль. Он сосредоточился на крутых виражах, обещающих прыжок в бездну тому, кто не впишется в поворот. Теперь военных на пути нет – лишь иногда пастухи. Нуреддин замечает, что Наима съежилась на сиденье.

– Что не так? Я плохо веду?

– С тех пор как мы выехали из города, я не видела ни одной женщины, – тихо говорит она.

Он пожимает плечами с некоторой горечью.

– Это верно, здесь теперь в силе законы ислама...

Полчаса спустя они, однако, видят женщину, окруженную стадом коз. Они думают, что она стоит к ним спиной, но, проезжая мимо, понимают, что на ней черный *ситар*, такой плотный, что не определишь, с какой стороны лицо.

– Бэтмен в горах, – говорит Нуреддин, и оба прыскают со смеху.

Запах сосен, заполнивший тряскую машину, кажется таким же тяжелым и липким, как сама смола. Ближе к Цбарбару вновь появляются будки военных, а за ними внушительные сторожевые башни.

– Здесь действительно был вип-квартал бородатых в «Черное десятилетие», – лаконично комментирует Нуреддин. – Военные подожгли лес, чтобы их выкурить... Километры деревьев развеялись дымом.

Наима не может различить шрамов пожара: лес снова сомкнулся на горах. Природа поражает ее густой зеленью. Она всегда воображала эту часть света как цепь лысых гор, вертикальные пустыни, Сахару из обоев, наклеенную на стены скал, и все же есть что-то знакомое в том, что она видит. Наконец она понимает, что напоминает ей этот пейзаж: это не семейные воспоминания, но декорации фильма «Манон с источника» [\[103\]](#), крутые склоны, поросшие кривыми деревьями, и темные купы можжевельника и ладанника. Только вот Манон здесь

нет, в этом она уверена: никакая нагая женщина не танцует под прохладными струями близкого водопада.

Вот наконец и первые дома деревни, и Нуреддин останавливается, чтобы спросить у группы мужчин, сидящих на больших камнях чуть выше, знакома ли им фамилия Наимы.

Первая группа мужчин говорит «нет». Если честно, они этого даже не говорят. Просто делают знак рукой, давая понять, что машина может ехать дальше, мол, никакой информацией они не располагают, и Наима не знает, указывает ли этот жест водителю, что они ничего не могут ему сказать и он только даром потратит время и слюну, толкуя с ними, или, наоборот, что это они не желают напрасно тратить время на разговор.

Чуть дальше вторая группа мужчин утвердительно кивает, услышав фамилию. «У них продуктовый магазин в следующей деревне», – говорят они.

Третья группа мужчин поправляет: «Не этот магазин. Другой. Дальше, к ферме».

Наиме кажется, что ее отфутболивают, проверяя ее и без того зыбкое желание отыскать родню, но теперь, когда она здесь, какая-то электрическая энергия не дает ей отступить. Все тело напряжено, а лицо неумовимо приближается к ветровому стеклу, словно она может заставить машину ехать быстрее, передав ей свой порыв.

У следующей фермы Нуреддин останавливается перед маленькой лавкой, ее витрина заставлена ведрами с оливками всех размеров.

– Пошли, – говорит он.

Внутри магазина тоже повсюду стоят ведра, кувшины, банки. Прилавок сверкает блестящей фольгой, в которую завернуты шоколадные батончики. Только это здесь, кажется, и есть: оливки и сладости. Довольно толстый подросток смотрит на входящих с удивлением (должно быть, редко кто-то делает крюк, чтобы заехать в его лавчонку, а в обществе туристки и того реже). Нуреддин пускается в объяснения по-кабийски, Наима не понимает ни слова, кроме своей фамилии, упомянутой несколько раз. Подросток, переводя взгляд со своего собеседника на Наиму, повторяет с равнодушным видом:

– Зеккар?

– Зеккар, – сухо подтверждает Нуреддин, явно раздраженный его апатичностью.

– Зеккар – это я, – заявляет толстый мальчик, показывая на себя пальцем, чтобы наверняка поняла и Наима.

И она медленно, старательно и точно повторяет его жест и говорит:

– И я тоже.

Они глуповато улыбаются друг другу.

Мальчика зовут Реда. Наима затрудняется определить точную степень родства между ними, но он уже, восторженно тараторя, закрывает магазин.

– Поедем в дом твоих родных, – переводит Нуреддин, сядя за руль. – Он сказал, что его отец немного говорит по-французски и что он наверняка знает, кто ты.

Юный Реда дает указания водителю, одновременно делая ряд звонков. Наима не знает, что он говорит по телефону: очень быстро и без улыбки. Она понимает только (кажется, понимает), что он называет ее «француженкой». Ее это раздражает, без всякой весомой причины, как будто подчеркиваемая им инаковость ей оскорбительна.

Через несколько километров они останавливаются у огромных железных ворот, и Реда принимается колотить по ним кулаком. Вскоре ворота со скрипом открываются, и Наима видит три разноцветных дома, розовый, желтый и белый, стоящие неровным треугольником на участке голой земли, где бегают куры. Как только ворота закрываются, стайка детишек высыпает из домов им навстречу. В этой ватаге веселых оборванцев Наима вдруг различает лицо Мирием, своей старшей сестры, вернее, лицо, словно сошедшее с фотографии из семейных альбомов, где Мирием еще семь лет. У девочки, которая, смеясь, приближается к ней, в точности те же черты.

– Шемс, – односложно представляет ее Реда.

Услышав свое имя, малышка принимается что-то лепетать и тянет Наиму за руку, и для той в этом есть что-то абсурдное: лицо такое знакомое – а звуки такие чуждые? Не в силах оторвать глаз от Шемс, она думает: это моя плоть и кровь. Она представляет себе содрогания и слияния хромосом (всплывают далекие воспоминания о школьном учебнике по биологии), которые ухитрились, с разницей в тридцать лет

и по разные стороны моря, из тысячи возможных сочетаний создать Мирием и Шемс, таких до странного похожих. Никогда еще биология не была для нее столь наглядной.

Девочка ведет ее за руку в белый дом и усаживает на диванчик в старомодных узорах, который тянется вдоль трех стен. Здесь удушающая жара, сгустившаяся за закрытой дверью. Вскоре в комнату приходит старик, за ним пара лет по шестьдесят, женщина неопределимого возраста – наверно, потому, что голубизна ее глаз так цепляет взгляд, что всего остального за ними не видно, – и две молодые женщины, которые (с облегчением констатирует Наима) носят на голове лишь легкие цветные косынки. Дети, за исключением Шемс, стоят за дверью, хихикают и разглядывают незнакомую родственницу, подталкивая друг друга локтями.

Нуреддин остался снаружи, где, наверно, курит сигарету за сигаретой и смотрит на безуспешные попытки кур взлететь. Внутрь дома, в эту интимную зону, ему нет доступа как чужому семье. Ему остается небольшое пространство между воротами и дверью. Он даже не пытался последовать за Наимой, и она жалеет, что его тут нет. Невозможность поговорить с окружающими встала перед ней во весь рост, как только ее усадили. Не за что зацепиться взглядом, в комнате нет никакой мебели, а единственное окно слишком высоко, чтобы что-то из него увидеть. Наима не может притвориться, что молчит, потому что задумалась. Она смотрит на них. Они смотрят на нее. Смущение борется с бесконечной доброжелательностью. Старик не улыбается, возможно, боится, что от этого лопнет тонкая морщинистая кожа на его лице, но у всех остальных уголки губ подняты. А потом вдруг, как будто всем пришла одна мысль одновременно («Это молчание *решительно* невыносимо»), разговор завязывается сам собой на смеси языков. К удивлению Наимы звучит даже английский:

– Семья, all is [\[104\]](#) хорошо? – спрашивает одна из молодых женщин и смеется собственной фразе.

– All is хорошо, – подтверждает Наима.

И они заключают хором:

– *Альхамдулиллах*. Хвала Аллаху.

Очень скоро Наима уже изображает жестами свое генеалогическое древо, рисуя в воздухе кружки, обозначающие ее деда Али и бабушку Йему, черту, ведущую к ее отцу Хамиду, и, нарисовав

рядом с ним целую череду кружков, принимается перечислять своих дядей и тетей: Далила, Кадер, Клод, Хасен, Карима, Мохамед, Фатиха, Салим. Потом она возвращается к началу строки, тыча пальцем в кружок Хамида (как будто он так и остался там, когда закончилось движение ее руки), и проводит черту к себе и своим сестрам: Мирием, Аглая и Полина. Дети в дверях смеются и, подражая ей, пишут в воздухе имена, кружки и черточки. Но тут молодая женщина, говорившая на несуразном английском, встает и подходит к этому невидимому генеалогическому древу с боязливым почтением, какое внушают хрупкие вещи, те, что от малейшего неловкого жеста могут рассыпаться. Она показывает пальцем на верхний кружок, Али, и, проведя горизонтальную черту, добавляет имена братьев: Джамель – за его именем следует печальное молчание – и Хамза. Сморщенный старик, к которому устремляются все взгляды, медленно вертит в руке трость с набалдашником из слоновой кости и, кажется, ничуть не интересуется своим включением в воздушную схему. Молодая женщина продолжает суетиться рядом с Наимой: из кружка Хамзы она выводит еще два, Омара, сидящего здесь с женой и детьми – тот маленький мальчик, которого Али не любил за то, что он родился раньше Хамида, теперь почтенный отец семейства, – Амара, который отсутствует, но здесь его дочь, начинающий спец по генеалогии, Малика, и еще десяток кружков повисает рядом на невидимых нитях семейных уз. Среди них Ясин, тот незнакомый кузен, чей телефон она выбросила, и Фатхи, отец Реды. Услышав свое имя, толстый мальчик из лавки сам изображает от двери соединяющую их тонкую линию. Из кружка Джамеля выходят три: Азедин, голубоглазая Лейла без возраста и без мужа и Мустафа. Линия потомства Джамеля так коротка, что Наима понимает: он тот самый человек-кошмар, о котором говорила ей Далила, тот, кого арестовал ФНО в 1962-м, тот, что поставил финальную точку в рассказе об Алжире, стране смерти.

Все смотрят на нарисованное в воздухе ничто, как будто это собор из кружев. Наима и Малика переглядываются, улыбаясь, среди парящих кусочков семьи, которые им удалось собрать воедино, потом делают шаг навстречу друг другу и обнимаются. Лейла тоже встает, чтобы заключить в объятия вновь прибывшую, вслед за ней и жена Омара. Впервые, с тех пор как она вошла в ворота, Наиме хорошо. От этих объятий, которые заменяют все и, главное, отсутствие общего

языка. Здешние женщины обнимают ее, как это делала одна только Йема – не символическим жестом, а по-настоящему сгребают в охапку. Она чувствует, как расплющиваются о ее тело их груди, жемчужинки их бус оставляют на коже красные метки, она вдыхает запахи их плоти и пота.

Малика что-то говорит Шемс, и девочка приносит кипу старых фотографий, которые Малика властно вкладывает в руки Наимы:

– Тебе.

Та, краснея, благодарит. Она вдруг понимает, что не привезла ни фотографий, ни подарков, даже шоколадки детям. Йема прокляла бы ее за то, что посмела явиться к родне с пустыми руками (воспоминание Наимы: в тех редких случаях, когда Йема приезжала к ним, вернее, ее привозил кто-то из детей, она всегда брала с собой килограммы сладостей и миндаля – это не художественное преувеличение, действительно несколько килограммов, – и Хамид, хоть и вздыхал на эту архаичную традицию, всегда принимал пузатые сумки).

Чтобы хоть отчасти извиниться за свою невежливость, она показывает несколько снимков в телефоне: Хамид и Кларисса на прошлое Рождество (в руках у них бокалы с шампанским), Мирием в баре напротив своего дома в Бруклине (отчетливо видны пивные краны), Полина и Аглая на пикнике в Бютт-Шомон (бутылки красного вина в траве). Наима до сих пор не замечала, какой важной частью их повседневной жизни стал алкоголь. Она не знает, что думает на эту тему родня с гор, но ведь никто не предложил ей банку холодного пива с дороги (а она об этом мечтала). Следующий кадр с последнего вернисажа в галерее – она позирует с Камелем перед очертаниями дракона из ржавых гвоздей. Он обнимает ее за шею.

– Твой муж? – спрашивает Малика.

Она отвечает: «да», даже не задумываясь, в надежде, что положение замужней женщины заставит забыть вездесущий алкоголь. Она не хочет, чтобы после ее отъезда родня – о которой она ничего не знала до сегодняшнего дня и одобрения которой никогда не искала – описала бы ее словами Мохамеда: *иллюха, забывшая, откуда она родом*. И все же – от этой мысли на нее, словно глоток воздуха, вдруг накатывает гордость – это она стоит здесь, с ними, в душной гостиной. Она, а не Мохамед, который со всеми своими речами об Алжире никогда не выезжал за пределы департамента Орн.

Малика показывает пальцем то на телефон, то на людей в комнате: она предлагает сделать групповой снимок. Все поднялись и сгрудились вокруг Хамзы, двигаясь неловко, мелкими шажками, свесив руки. Дети встали на диванчик, остальные теснятся вокруг неподвижного старика. Наима готовится их сфотографировать, но Реда берет телефон у нее из рук и делает ей знак встать к родне. Проскользнув между Лейлой и женой Омара, она чувствует, как ручки Шемс ложатся ей на плечи, точно два маленьких зверька. Они стоят прямо, улыбающиеся, напряженные, ожидая освободительного щелчка, которого все нет. (Еще одно воспоминание Наимы – из первых видео, снятых Хамидом после покупки видеокамеры. В гостиной в Пон-Фероне ее дяди и тети кричат и гримасничают в объектив, только Йема сидит неподвижно и очень прямо, несмотря на смех Клариссы за кадром, повторяющей ей: «Это не фото, это фильм, вы можете двигаться».) Не нажав на кнопку, Реда кладет аппарат и, выбежав, что-то кричит во дворе. Из розового и желтого домов выходят трое мужчин и три женщины – Наима и не догадывалась, что они так близко, – и входят в комнату. В их носах, глазах, осанке есть что-то от Али, что-то от Хамида, что-то от Далилы – неуловимые детали, которые легко могли бы остаться незамеченными и еще больше подчеркивают неуместность лица Шемс-Мирием. Они присоединяются к группе, улыбаясь, и нарисованное в воздухе древо как будто становится реальным, каждый кружок заменяет лицо, каждая морщинка на руке ищет такую же у соседа. Не все жители трех домов здесь – кто-то работает, кто-то, может быть, не вышел, и потом, не хватая Аззедина, призрачного кузена, того, что погиб в 1997-м на фальшивом блокпосту и не раз упоминался в Затверженных Речах о невозможности возвращения, но Наима не замечает бреши из-за того, что его нет. Она чувствует только тепло, исходящее от множества тел в комнате, вдруг ставшей слишком тесной. Реда делает несколько снимков, и группа вновь рассеивается по дому.

И тут со двора слышится голос Нуреддина:

– Я уезжаю, Наима. Хочу вернуться до ночи. Ты как?

– Останься на ночь, – предлагает жена Омара так быстро, словно в ней сработал какой-то автоматизм.

Эти слова Наима поняла. Она столько раз слышала их от бабушки и теток, чаще всего сказанных напрасно, потому что Хамиду всегда

претило ночевать в квартире в Пон-Фероне, где он вырос. Она окидывает взглядом своих родных, которые ждут ответа, теплые улыбки женщин и детей, равнодушного Омара и суровое лицо старого Хамзы, который бормочет:

– Кто-нибудь видел, как ты сюда приехала?

Малика кое-как переводит вопрос старейшины, и Наима кивает. Все горы знают, что она здесь. Она чувствует, что он нервничает и недоволен. Он ничего не говорит, потому что не имеет права запретить оказать ей гостеприимство, но ясно, что сам он предпочел бы не предоставлять кров Наиме. Она может только догадываться, что его страшит, вернее, проецировать на него собственные страхи: вторжение вооруженных людей, похищение, убийство или побивание камнями. Здесь – так она предполагает, потому что изолированные деревни всегда представляли собой богатейшие архивы, где мало что забывается или прощается, – всем известно, какую сторону принял ее дед во время войны, и внезапно появившаяся на дороге молодая женщина с вопросом, где ее родня, может быть только отпрыском Али. Она француженка и внучка харки, и это, по ее мнению, делает ее идеальной кандидаткой на кровопускание.

и я говорю что мы алжирские народы хотим истребить потомков харки

Наима все же решает остаться – может быть, потому, что не хочет, чтобы создалось впечатление, будто она бежит от родни, которую только что нашла, или неодобрение старика она восприняла как вызов, или перспектива смерти, пусть ужасная, остается для нее нереальной, или в силу той же надежды, что заставляет ее оставаться до зари на парижских вечеринках: надежды, что может случиться что-то прекрасное, чему она будет свидетелем. Удаляющийся шум мотора автомобиля Нуреддина заставляет ее сердце забиться чаще, как бывает, когда она понимает, что опоздала на последний поезд метро: теперь она здесь *по-настоящему*.

Чуть позже пришел Фатхи, отец Реды, мужчина лет сорока, круглым добродушным лицом так похожий на сына, что разница в возрасте незаметна. Как гордо сообщил подросток, отец действительно

говорит по-французски лучше всех в семье. С ним Наима может побеседовать хоть и с запинками, но связно. Фатхи к тому же немного знаком с семьей Йемы и Али, ведь это он уже лет двадцать берет на себя редкие телефонные разговоры.

– Как зовут ту, что все время кричит? – спрашивает он с усталой улыбкой. – Я забыл...

– Далила, – подсказывает Наима, в последнюю секунду удержав слово, составляющее для нее вторую часть имени тети: Далила-Гнев.

Однако Фатхи все равно что услышал.

– Она сурова, – говорит он, – но все родня. Она из того же теста, что мой отец, и Омар, и Лейла. Эти люди ненавидят чужие слабости.

– Поэтому Хамза никогда не улыбается? – спрашивает Наима.

Фатхи, усмехаясь, качает головой:

– Ты не поняла, что он тебя боится?

– Почему?

– Он боится, что ты приехала забрать дом.

Наима хохочет. Ей и в голову не приходило, что ее приезд можно так истолковать. Но если хорошенько подумать – ведь и правда: она дочь старшего сына старшего сына и может предъявить права ветви Али на собственность. Глядя на дома, тщательно огороженные воротами и высокой стеной, ощетинившейся колючей проволокой, дома в горах, где не гуляет ни одна женщина, она размышляет, чем могла бы здесь заниматься. У нее нет никакого желания владеть ими и уж тем более в них жить.

Шемс и Малика расстилают ей матрас в комнате девочек в желтом доме. Ставя на пол сумку, Наима замечает, как блестят глаза малышки, и дает ей открыть молнию, достать одежду, которая ее немного разочаровывает, и косметичку, откуда она жестами хирурга извлекает тюбик помады, коробочку теней для век, гигиенический тампон – тут девочка хихикает – и наконец сережку без пары, застрявшую за подкладкой и забытую много лет назад. Это дешевая и потому уже потускневшая копия «Бриллиантового черепа Дэмьена Хёрста» [\[105\]](#), Наима помнит, что отыскала ее в Бобуре. Жалкое украшение, кажется, очень нравится Шемс, и Наима говорит:

– Можешь взять себе.

Девочка не нуждается в переводе. Она сует брелок в карман платья, сияя улыбкой. От ее радости Наима снова становится стыдно: она приехала с пустыми руками и, после шестидесяти с лишним лет молчания, оставит, наконец, обретенной семье только эту крошечную безделушку, символ того, что она больше всего ненавидит в современном искусстве. Она подарила маленький кусочек закона рынка.

Вечером она готовит с женщинами трех поколений кускус с орешками и картофелем. Мухи кружат вокруг малейших остатков пищи на кухонном столе и в раковине. Она с отвращением отгоняет их, и ее гримасы, когда насекомые садятся на нее, вызывают смешки у женщин.

– You don't have [\[106\]](#) бззззз Франция? – спрашивает Малика на своем вавилонском языке, на нем сейчас проходит все их общение.

Наима невольно улыбается при мысли, что, может быть, после ее приезда и из-за ее страха перед насекомыми жители дома в горах теперь будут представлять Францию страной без мух. Фантазия не абсурднее любой другой, думает она. В выпусках новостей два или три года снимают мигрантов, которые, приезжая, описывают Францию как родину прав человека. В коммюнике ИГИЛ после терактов 13 ноября ее называли скопищем «мерзостей и извращений». Наима встречала многих американских друзей сестры, для которых ее страна была страной курильщиков «Житан» и женщин, не бреющих подмышки. Если Малика когда-нибудь приедет во Францию, она наверняка никаких мух даже не увидит.

Ужин женщины подают мужчинам в общей комнате, а сами едят в кухне, как будто всеобщий сбор, вызванный приездом Наимы, остался в далеком прошлом и привычные границы вернулись с обыденными традициями трапезы. «Неужели только так и бывает?» – думает она. Чтобы семейные встречи в конечном счете служили лишь поводом сделать очередную групповую фотографию, после чего каждый возвращается к своей ничем не потревоженной жизни? Только девочек не касаются границы, они бегают из комнаты в комнату, щебеча как птички, а не как женщины, которыми еще станут. Глядя, как Шемс весело резвится на свободе, которой ей недолго осталось наслаждаться – коварно подкрадывается пубертат, то есть то самое, о

чем говорила вчера вечером Рашида, – Наима задает себе вопрос: что за жизнь будет после ее отъезда у этой маленькой кузины, так похожей на ее сестру. Станет ли она тоже Бэтменом в горах? Покинет ли эти места, чтобы жить в Лахдари, вдали от горных деревень, из которых бежит все больше молодежи? Лет через десять, она в этом уверена, чудо биологии исчезнет, и ничто больше в Шемс не будет напоминать Мирием. Жизнь вылепит ей другое лицо. Она снова достает из сумки телефон и несколько раз фотографирует девочку-мостик, ту, что протянула через время и море связующую их нить.

Наима легла в желтом доме, но уснуть не может. Спящие вокруг девочки дышат горячо и шумно. От каждого хруста ветки на улице, от каждого скрипа двери она вздрагивает и ждет нападения, но его нет. В этой комнате, полной детей, к ней возвращаются детские страхи, те, что населяют ночи легионов созданий человеческих, – чудовища с когтями, зубами и щупальцами. Темнота движется в ней, на ней – Наима не знает толком, как может двигаться тьма во тьме, но видит ее дрожь и угадывает то руку, то ногу, то лицо. Она так промокла от пота, что утром на футболке проступают белые соленые полоски, а на матрасе сохранился, как легкий призрак, смутный белесый контур ее тела.

Когда первые лучи света пробиваются в приоткрытые ставни, просыпаются мухи и носятся на брющем полете над самыми лицами спящих, над самым лицом Наимы, чьи глаза открыты. Они садятся на теплую кожу, ползают по кругу, взлетают снова.

Мухи из тех существ, что замирают, когда наступает темнота и приходят в движение со светом. Эта образцовая двухкомпонентность избавляет их от бессонницы, и Наима наблюдает за балетом их пробуждения с завистью: ей-то поспать не удалось.

Солнце едва встало, когда она выходит во двор, но куры уже снова так же бессмысленно ходят по кругу. На крыльце белого дома – Фатхи, он машет ей рукой, а у его ног стоит дымящаяся чашка кофе. Он улыбается, глядя, как солнце поднимается все выше в небе. Ничто не может подтвердить Наиме ее мысли – и все-таки она убеждена, что этой ночью он бодрствовал: на случай, если присутствие в его доме француженки повлечет гибельные последствия. Когда она будет потом

вспоминать эту сцену, ее память, богатая на фантазии, непременно подкинет и старое ружье, хотя она знает, что его не видела.

– Что ты хочешь делать сегодня?

– Не знаю... – отвечает Наима. – Мой пароход завтра. Мне, наверно, надо вернуться в Тизи-Узу...

Она осекается: не стоит рассказывать Фатхи про ожидающий ее последний торг по рисункам и про батарею бутылок, которые Мехди и Рашида поставили под кухонную раковину для ее отвальной вечеринки. Она знает, что надо вернуться в город, и не имеет особого желания задерживаться здесь, в этой зоне без языка и без женщин, но принимать решение не к спеху. Как будто в анклавe стен на горном хребте проходящее время не имеет ничего общего с чеканными двадцатью четырьмя часами официального дня. Она бросает взгляд на обожженное солнцем запястье Фатхи: он не носит часов. Ни у кого здесь – полагает она – их нет. Нет часов, ни настенных, ни напольных, и в двух домах, в которых она побывала. Время определяется иначе (по мухам, подъему, пению петухов, уходам, трапезам, смолкающим цикадам, плачущим детям, молитвам и деревьям, требующим воды), это гибкое и живое время, должно быть, смотрит на циферблат часов, как гора Сен-Мишель на свою пластмассовую копию в стеклянном шарике, где движение руки вызывает снежную бурю.

Мало-помалу семья со всеми ее невнятными разветвлениями просыпается, и двор оживает: самые маленькие с трудом выбирают из сонного оцепенения, их глаза и губы припухли, как будто на них остается еще немного ночных грез. Со скрипом открываются ворота, чтобы выпустить их в школу. Чуть позже отъезжает машина – за рулем Омар, он завезет Реду в магазин и поедет в Лахдарию. Рев мотора пугает рыжих и золотистых кур, они разбегаются во все стороны, даже под ноги Наиме и Фатхи, неподвижным наблюдателям возвращения к жизни. Наконец молодая женщина тоже стряхивает с себя оцепенение:

– Я уеду до полудня, – решает она.

– Без сожалений? – спрашивает Фатхи. – Ты уверена, что не хочешь вернуть себе дома?

Она поворачивается к нему, озадаченная, и он смеется. Театральным жестом обводит царство, которого ей не хочется завоевывать: три ярко выкрашенных дома, которые иссыхают под

солнцем на голом дворе. Наима, улыбаясь, качает головой: она оставляет их ему, пусть успокоит Хамзу.

Она крепко обнимает Малику с ее зачаточным английским, голубоглазую Лейлу, жену Омара и других женщин, чьих имен не запомнила (она не раз будет спрашивать себя, вернувшись во Францию, почему некоторые имена не запечатлелись в ее памяти, связано ли это со степенью родства, о которой она не знала, или вдруг какая-то часть ее мозга почувствовала или решила, что это лишь второстепенные персонажи). Приходится отказаться от коробок фиников, толстых румяных лепешек, пакетиков с сосновыми семечками и сушеной мятой, которые женщины всё суют и суют ей в руки, – никак не уместить все это в рюкзак. Но она знает, что нельзя отвергнуть все, что это будет крайне невежливо, и соглашается на мяту, самую легкую, чье название на арабском всегда приводило ее в восторг: *нахнах*.

Фатхи вызывается отвезти ее к Рашиде и Мехди, хотя дорога туда и обратно займет у него целый день. Нет ли автобуса из Лахдари, спрашивает она, но тихо, вполголоса, уже испуганная при одной мысли, что придется в него сесть. Снова она оказывается доверенным кому-то свертком, не зная, смущена ли потому, что ей не хватает независимости, или из-за разницы между посланными провидением шоферами и ею, парижанкой, которую ни один заблудившийся турист не мог заставить сделать крюк к Нотр-Дам или Сакре-Кёр, даже если показать ему дорогу означало бы пройти всего три квартала. Она спрашивает себя, как ей рассказать о гостеприимстве людей, которых она встретила, не создавая впечатления, что это речь в защиту третьего мира – а она такие речи ненавидит, слишком много их слышала, и в них обычно после похвал гостеприимству звучит замечание о врожденном чувстве ритма или о счастье в бедности, которое способны найти люди *там*. Такое великодушное гостеприимство – думает она, когда Фатхи садится за руль, – штука обоюдоострая: щедрость может обернуться против того, кто ее расточает. Жертвуя своим временем ради ближнего, он наводит того на мысль, что времени у него слишком много, и он целыми днями не знает, чем заняться; и тот, кому он помогает, может подумать, что сам спасает того, кто спас его от безделья. Большинство парижан – в числе которых и она, – оставляющих у иностранцев, туристов ли, нет ли,

пренеприятное впечатление невежливости, твердо знают, что у них всегда есть *дела поважнее*, чем помочь ближнему, даже если они просто вышли из дома на работу, где им тоскливо, или купить что-то в ближайшем супермаркете, или выпить с друзьями. Она спрашивает себя, как давно в последний раз позволила чужеродному вторжению сбить себя с пути – физического или символического. Не может вспомнить и думает, что, может быть, еще и за этим поехала с Нуреддином в горы: доказать, что все-таки может сама себя удивить, коль скоро не дает никому другому возможности сделать это.



В Тизи-Узу, куда ее доставил безмолвный Фатхи, похоже, исчерпавший запасы своего французского на долгой тряской дороге, Наима встречает Мехди и Рашиду с удивившей ее радостью. Она быстро понимает, что это отчасти облегчение – ее отпустило. Она снова в их доме, и ноги ее слабеют, плечи опускаются, от бывшего напряжения остался лишь маленький, но болезненный узелок между лопатками. Весь день в ожидании нападения как извне, так и изнутри ее тело, не знающее, как должно себя вести тело женщины в горах, было как натянутая струна. Наима боялась иметь вид слишком мальчишеский или слишком шлюховатый, быть слишком зажатой, слишком деятельной – все разом. И невольно пыталась понять, каков статус женщины и какое место она должна занимать – она-то не могла быть такой, как женщины гор, потому что приехала из Франции – но ведь приехала сказать, что тоже здешняя, что они одна семья.

У Мехди и Рашиды ее тело больше не настороже, и она крепко любит эту чету, которую так мало знает, за дарованную ими свободу быть самой собой – она сама смутно представляет себе, что это значит, но уверена, что прежде всего она Наима, а не просто женщина. На их вопросы о том, что они называют «ее вылазкой», она отвечает уклончиво, еще не зная, на что эта вылазка ее вдохновила. Чтобы посмешить их, она все же рассказывает, как дулся старик Хамза, уверенный, что она приехала предьявить свои права на дома.

– Зря ты не потребовала у них хоть один, – серьезно отвечает Рашида. – Было бы куда приезжать в отпуск.

Наима описывает в общих чертах атмосферу гор, этой зоны без женщин, где для безопасности ее простого визита понадобился дозорный на целую ночь. Нет, объясняет она, это не то место, куда ей хотелось бы вернуться во время отпуска. И не говорит этого вслух, но добавляет про себя: в такое место я, скорее всего, вообще никогда не вернусь.

– Значит, и тут бородатые победили, – гневается Рашида. – Им удалось вдолбить всем в голову, что на сотнях квадратных километров

этой страны правят не общие законы, а они, и что женщинам там не рады.

– Прекрати, пожалуйста, – ласково просит Мехди. – Ты же не хочешь, чтобы девочка включилась в твою войну, правда?

Она машет рукой в знак того, что сдается, но, когда закуривает сигарету, ее нервные, отрывистые жесты выдают внутреннее кипение.

В последний ее вечер в Алжире Мехди и Рашида пригласили друзей, с которыми Наима встречалась во время переговоров. Они собрались в саду за накрытым столом, на нем ягнятина на вертеле и вино из Тлемсена. Поют песни, которых она не знает, и жестами призывают ее подпевать по-кабийски. Она фотографирует гостей со стаканами в руках и за оживленным разговором, растрепанную, смеющуюся Рашиду, Мехди, щурящего глаза, расплывчатые силуэты в движении. Ей хочется написать поверх их лиц, как на автопортретах Лаллы, фразы, которые они говорят, когда она их щелкает. Ифрен, племянник художника, приходит, когда ужин уже в разгаре. Завтра он отвезет Наиму в Алжир, замкнув собою круг великодушных и любезных шоферов. Уже темно, когда он присоединяется к ним в саду, и Наима, не покидавшая стола с начала вечера, пьяна от вина и от солнца. Она видит его огромной золотистой статуей в дверном проеме. (Потом, рассказывая о своей поездке Соль, она расколется: Ифрен нравился ей немного больше, чем она могла себе признать, – и, сказав это, подумает, что, наверно, присочинила это чувство, чтобы добавить к рассказу о своем путешествии хоть немножко романтики.) Он садится за стол, где Мехди, Наима, Рашида и Хассен, публикующийся у нее автор, ведут оживленный разговор о вездесущих жизнеописаниях в современной литературе.

– Это нарциссическая терапия, – твердит Рашида. – Им всем надо к психоаналитику.

– Я не согласен, – гроыхает Хассен на повышенных тонах, но не развивает тему.

– Может быть, у них такая потребность, – говорит Мехди, – но это необязательно болезнь.

– А почему у них потребность? – почти кричит Рашида. – И главное – почему они воображают, что это кому-то интересно?

– Может быть, они боятся молчания, – предполагает Ифрен, подхватив на лету разговор и бутылку.

Рашида презрительно усмехается.

– Думаю, я это понимаю, – начинает Наима нерешительно (от присутствия Ифрена она вдруг оробела). – Никто не знает, что другие сделают с нашим молчанием. Жизнь моего деда, например, – будь она написана, выложена на страницы, а может быть, это и возможно, – моя бабушка сказала бы, что да, конечно, в зенице Бога, короче, если бы кто-то заглянул в нее через его слова, он различил бы два молчания, соответствующие двум войнам, которые он прошел. Из первой, войны тридцать девятого – сорок пятого, он вышел героем, и молчание только подчеркнуло его мужество и те тяготы, какие ему пришлось вынести. О его молчании можно говорить с уважением, как о стыдливости воина. Но из второй войны, алжирской, он вышел предателем, тут молчание лишь подчеркивало его низость, и создается впечатление, что стыд лишил его слов. Когда кто-то молчит, другие сочиняют и почти всегда ошибаются, так что я не знаю, может быть, писатели, о которых вы говорите, решили, что лучше все всегда всем объяснять, чем давать им пищу для фантазий молчанием.

В желтоватом свете лампы на стене дома в исступленном хороводе танцуют десятки крошечных комаров, их жужжание смешивается с шумом кондиционеров и последних машин. Ифрен, улыбаясь, описывает вымышленный мир, где каждый всегда говорит что думает, боясь, что молчание будет неверно истолковано.

– Но есть состояния, которые нельзя просто так описать, – вздыхает Мехди, – состояния, требующие сиюминутных и противоречивых высказываний.

Наима прекрасно понимает, что он хочет сказать. Она на собственной шкуре прямо сейчас испытала такое состояние.

Она не хочет уезжать отсюда. Она во что бы то ни стало хочет домой.



На пути к алжирскому порту чахлый и грязный пейзаж обочин неуловимо обретает достоинство почетных караулов в момент прощания. Прохожие, бродячие псы и даже пластиковые пакеты как будто отдают последний салют направляющейся в столицу машине. Ифрен спрашивает Наиму:

– Ты нашла здесь то, что хотела?

Очевидно, что он говорит не о рисунках, аккуратно убранных в альбом, который она увезет в Париж; вчера вечером она обнаружила лежавший на нем коричневый конверт от Тассекурт. (Я же тебе говорила, усмехнулась Рашида, она прислала кого-то передать их нам, пока тебя здесь не было.)

– Я не уверена, – искренне отвечает она.

– А ты хоть знала, чего хотела?

Она колеблется:

– Доказательства.

Ифрен смеется и кашляет. Выбросив сигарету в окно, он берет бутылку содовой, которая перекачивается за сиденьем. Машину заносит. Он этого как будто даже не замечает.

– Того, что ты отсюда?

– Полагаю, да. Я думала... если я почувствую что-то особенное в этой стране, значит, я алжирка. А если ничего не почувствую... это не имеет значения. Я смогу забыть Алжир. Продолжать жить.

– И что ты почувствовала?

– Я не могу это объяснить. Это было очень сильно. Но в то же время каждую секунду я готова была развернуться и уехать во Францию. Я думала: «Готово дело. Внутри вибрирует. А теперь домой».

– Ты можешь быть здешней, но не принадлежать стране, – говорит Ифрен. – Мы многое теряем... Можно потерять страну. Ты знаешь Элизабет Бишоп [\[107\]](#)?

Она смеется, имя американской поэтессы в этой машине, мчащейся на всех парах вдоль алжирского побережья, звучит как-то несурзно. Ифрен начинает читать:

*Научишься потерям без труда;
а что напрашивается теряться —
его потеря вовсе не беда.*

*Потери практикуй; но не всегда,
Однако, стоит сильно расслабляться:
ключи, вот, исчезают без следа.
Потом — теряй людей, и города,
в которых любишь с ними ты общаться, —
потеря эта тоже не беда.
Часы от мамы потеряла. Да
с последним домом мне пришлось расстаться.
Научишься потерям без труда.
Я многое теряла навсегда,
и даже материк; могу признаться,
и это, оказалось, — не беда [\[108\]](#).*

Наима молчит. Ифрен улыбается ей:

— Никто не передал тебе Алжир. А ты как думала? Что страна у тебя в крови? Что кабийский язык запрятан где-то в твоих хромосомах и проснется, как только ты ступишь на алжирскую землю?

Наима хохочет: именно на это она надеялась, так и не решившись сформулировать даже мысленно.

— Что нам не передают, то мы теряем, вот и все. Ты отсюда, но здесь не твой дом.

Она открывает было рот, но он тут же перебивает ее:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста. Не поступай как все эти французы, которые возвращаются в страну на каникулы, и поди им скажи, что они не алжирцы. Ты понимаешь, о каких людишках я говорю?

Наима вспоминает Мохамеда, выступающего хранителем потерянной страны, в которой он никогда не бывал, и кивает.

— Поди пойми, чего они хотят. Жалуются, что во Франции им не дают быть французами, что слишком силен расизм. Но стоит нам сказать им, что они французы, они так и взвываются: я, мол, такой же

алжирец, как и ты. И назовут тебе десять названий деревень, десять имен улиц.

Он прерывается, чтобы перевести дух, и продолжает мягче:

– Всем, о ком я говорю, на роду написано разрываться. Когда они рождаются, Алжир говорит: «Право крови: они алжирцы». А Франция говорит: «Право земли: они французы». Так что всю жизнь они сидят меж двух стульев, и это совершенно официально. Но ты... не строй из себя алжирку, если не хочешь вернуться в Алжир. К чему это?

Она молчит, умиротворенная, счастливая, что он сам догадался о том, чего она не смогла сказать Мехди и тем более Рашиде: что ей – по крайней мере, пока – не хочется возвращаться. Но ведь бывают состояния, которые можно выразить только противоречивыми и сиюминутными высказываниями, и она ловит себя на мысли, что ради него, золотистого человека, понимающего ее молчание, вернуться ей, может быть, однажды захочется.

Когда пароход покидает алжирский порт, она не знает, глядя на кажущийся таким белым город, прощается ли с ним навсегда или просто говорит «до свидания».



Пришли дяди и тети, и квартира, когда-то полнившаяся их детскими криками и беготней, кажется, уже не может вместить всех. Кухня на грани апоплексического удара, но что с того: все теснятся и толкаются, чтобы занять место за столом, поближе к Йеме. Они хотят быть на этой странной интимной церемонии – возвращении, только не Наимы, но Алжира. Через ее рассказы, ее фотографии, привезенные ею маленькие подарки вся страна вернулась в Пон-Ферон. Надо бы подправить карты: Средиземное море снова стало мостом, а не границей.

Здесь Кадер и Далила, те, что родились в горах, и здесь же изголодавшиеся по Алжиру и никогда его не видевшие: Фатиха, Клод, Хасен, Лейла. Здесь даже Мохамед, несколько лет избегавший гнезда дурных мусульман и отпетых неверных, каким считал свою семью. А вот Хамид не приехал. Наима послала ему по электронной почте несколько фотографий, и он ответил лаконичным: «Красиво».

Она поняла, что нельзя заставлять его вспоминать, что он навсегда заколотил что-то в себе и решил строить жизнь, не опираясь на первые годы детства. Для него Алжир не потерянная страна (больше не потерянная?), но страна отсутствующая или, по крайней мере, далекая. Он не имеет права вписывать ее в историю своего потомства, утверждая, что это для его блага. Это она хотела в Алжир, это в ней затянулась рана, о которой она и не подозревала, смутно, так смутно болевшая под солнцем.

Наима не ожидала амфитеатра, который образует теперь семья за ее спиной, когда фотографировала разные места своего путешествия. Она немного нервничает, открывает ноутбук и начинает прокручивать снимки. С каждым новым кадром все ждут комментариев Йемы, Кадера и Далилы. Узнают ли они что-нибудь? Знакомы ли им лица? Когда на экране появляется застывший и неловкий Омар, повисает пауза, потом слышен вздох Далилы:

– Невероятно, до чего он похож на *баба́*...

Все кивают.

– Как он постарел, бедняга, – говорит Йема.

Она покинула когда-то шумного мальчишку с растрепанной смоляной шевелюрой и исцарапанными ногами, а теперь видит пожилого, пузатого мужчину, деда. От этого резкого скачка течение времени кажется невыносимым, ведь для Йемы оно не текло медленно и плавно с 1962 года, а когда она увидела фотографию, вдруг рвануло на пятьдесят лет вперед. Она наклоняется к компьютеру и робко гладит пальцем лицо маленького мальчика, ставшего стариком в одночасье.

Наима не смеет ей мешать. Она предлагает Йеме самой листать снимки, и бабушка кладет свою пухлую, унизанную кольцами ручку на тактильную панель, сперва несколько раз испуганно отдернув ее. Дети смеются, глядя, как она впервые пользуется ноутбуком, а Фатиха достает телефон, чтобы ее сфотографировать. Она посылает результат Салиму, который не смог приехать, с подписью: «Маленькое путешествие на родину. Мы по тебе скучаем». Но то, что получит дядя, думает Наима, не имеет ничего общего с путешествием: это фотография Йемы, которая смотрит фотографии.

Старая женщина не реагирует на кадр с розовым домом, на желтый тоже, но увидев белый, останавливается и говорит:

– Этот, да. Этот я знаю. Это дом змеи.

Видя озадаченное лицо Наимы, она начинает рассказывать на арабском, пересыпанным французскими словами, который дети неуклюже пытаются перевести.

– Однажды я была в кухне другого дома, дома отца твоего деда, он, наверно, теперь развалился, и пекла печенье. Вдруг прибегает твой отец с криком и в слезах. Он спал после обеда вместе с Далилой. И вот он кричит: «Йемаааааа! Йемаааааа! Змея! Змея!» Тут я подумала: «О Аллах Всемогуший, змея укусила мою дочурку». И побежала, очень быстро побежала в другой дом. Вижу, Далила крепко спит в своей кровати. Лежит, вытянувшись. И змея тоже. Она спит, вытянувшись, рядом с ней. Не шелохнется. Но когда я закричала и замахнулась палкой, змея меня увидела да как прыгнет на шкаф и убежала через дыру в крыше.

– Но, Йема, змеи не прыгают, – возражает Фатиха.

– Да, дочка, – отвечает старуха со спокойной уверенностью. – Но эта прыгнула.

Далила смеется над таким эпизодом своего детства, которого ей никогда не рассказывали. И в ее смехе звучит гордость: змея не укусила ее, она мирно спала рядом с ней. Алжир Йемы похож на волшебную сказку, замешанную на архаичном символизме, в нем нет ничего того, что увидела Наима у друзей Лаллы, нет страны живой, страны в движении, зиждущейся на переменных исторических величинах, а не на необратимости рока. Алжир Йемы не просыпается при виде кадров, доказывающих ей, что он не уснул навсегда в хрустальном гробу памяти. Он остается далекой страной, застывшей в сказочном зачине «жили-были». Но Наима, если быть честной, должна признать, что в горах тоже ощутила утрату жизненных ориентиров, современных и эффективных, они уступили место воскресшим мифам, крепким, как скалы, сказкам, знакомым, как старый мотив: Фатхи был дозорным, Шемс – эльфом, Малика – перевозчицей через Стикс, старая Лейла – ведьмой, а Хамза – стареющим тираном Креоном.

Дойдя до групповой фотографии, на которой их добрый десяток в маленькой гостиной, Йема мстительно тычет пальцем прямо в Хамзу.

– Он еще жив?

Ей не нужен ответ внучки. Она вздыхает: какой срам, что такой плохой человек не встретил смерть раньше, а ее Али ушел уже так давно.

– Ты говорила с ним? Он знал, кто ты?

– Да.

– И он тебя не зарезал?

Наима закатывает глаза, а Йема, обхватив ее лицо ладонями, покрывает его поцелуями:

– Хвала Аллаху, ты вернулась живой, ты цела и невредима.

– Она всегда говорила, что нам опасно возвращаться туда, – азартно вмешивается Мохамед, – только по этой причине я и не поехал. Но, ясное дело, ты не разговариваешь с родственниками, откуда тебе было знать, что есть риск.

Он не смог удержаться от ядовитого упрека – очевидно, не может простить Наиме, что та раньше его побывала в исконных местах, а ведь он еще несколько лет назад решил, что они будут главной составляющей его идентичности. Далила устремляет на него самый гневный взгляд, на какой только способна, и он не настаивает.

На экране плывут теперь изображения Шемс, которая вертится то в темных коридорах дома, то во дворе среди мечущихся рыжих кур. Никто их не комментирует, как будто только одна Наима и узнает в этой девочке свою сестру. Потом идут оливы, покрытые крошечными плодами, они спускаются по крутым склонам за домами, и от их вида слезы наворачиваются на глаза Йемы, затем портрет Наимы в традиционных украшениях – эту фотографию она несколько раз хотела стереть, такой смешной себе на ней кажется, а вот бабушка на ней зависает. Она трогает пальцем на экране *табзимт*, украшающий лоб молодой женщины, и говорит с гордостью, голосом, дрожащим от слез:

– Мой был красивее.

– Ты хотела бы вернуться туда? – вдруг спрашивает Наима. – Хочешь, я возьму тебя с собой, если вернусь?

– Ох, *бинти, бинти* [\[109\]](#), детка... – печально шепчет Йема. – Я хотела бы умереть там, это точно. Но поехать просто так? На каникулы? Я никого больше не знаю.

И она бормочет еще что-то, чего Наима не понимает.

– Она говорит, – переводит Фатиха, – я не хочу вернуться домой и ночевать в гостинице.



В два часа ночи Наима заканчивает текст, который представит творчество Лаллы в каталоге выставки. Перед тем как перечитать в последний раз, чтобы выловить орфографические ошибки, говорит она себе, у нее есть время выкурить еще одну сигарету. Правда, глотку саднит, а окурки из переполненной пепельницы вот-вот посыплются на стол. Стоит ей вздохнуть, и пепел летит на клавиатуру. Но в этой картине – она курит сигарету в ночи, склонившись над текстом, – есть что-то фантастически прекрасное, то, что за все годы, когда она так же курила сигареты в ночи, склонившись над другими текстами, ничуть не потускнело и остается как самым мощным стимулом к работе, так и лучшей наградой. Она не верит, что есть люди, способные творить что угодно, не получая ни одобрения, ни поощрения. Те, чьей творческой независимостью и уединением мы восхищаемся, думает она, просто сумели взрастить это одобрение в самих себе. Они сами – свой взгляд извне, они хлопают себя по плечу и говорят «молодец». Образ ее самой, курящей в ночи, для нее одобрение больше, чем ее вера в нужность своего дела, – потому что, если даже поза и кажется простой, в ней все равно есть восторг свободы, ее свободы, а стало быть, инстинктивное желание продолжать ею пользоваться.

Наима закуривает и чувствует, как дым втекает в ее раздраженное горло. Она перечитывает:

«Творчество Лаллы отмечено детской склонностью к насилию, но слово “детской” не надо воспринимать здесь как прилагательное, смягчающее насилие. Напротив, речь идет о стадии, на которой насилие ужаснее всего, потому что не имеет никакого смысла. В его работах повторяются различные фигуры, возникшие одновременно из Истории Алжира и из кошмаров ребенка: человек-огонь и человек-железо, куски тел, обрывки веревок и колючей проволоки».

В этом месте Наима стирает фразу: *«Рисуя их, Лалла, кажется, творит, показывая, как взрываются, как умирают».*

Она продолжает чтение: *«Но в других сериях рисунков мы видим дружеские лица, приоткрытые двери, наброски животных,*

обнимающих античные руины, которые ласкает богатая дарами природа. На этих рисунках можно прочесть надписи, цитаты из стихов и песен, воспевающих радость любить, сражаться, штурмовать небеса, и они столь же сильны, как и первые.

Разные страны сталкиваются и накладываются друг на друга в работах Лаллы, или, может быть, это всего одна страна. Пятьдесят с лишним лет рисунков и живописи говорят нам, что страна никогда не бывает равна себе самой: она – нежные воспоминания детства и в то же время гражданская война, она и народ и племя, и деревня и город, волны иммиграции и эмиграции, она его прошлое, его настоящее и его будущее, она – то, что сбылось, и совокупность всего, что могло и еще может сбыться».

Третья часть этой истории заканчивается так же, как она началась. Издали, если отступить, не натолкнувшись на витрину галереи или на белую стену в глубине, – что невозможно в такой вечер, как сегодня, вечер вернисажа, – видна только зыбкая масса черных платьев и твидовых пиджаков, антрацитовых джинсов над ботиночками на каблуках, рубашек в крупную клетку, фужеров с шампанским, полных и полупустых, со следами губной помады и без, очков в широкой оправе, тщательно подстриженных бород и белых или голубоватых экранов смартфонов. Можно разглядеть, что движение определяют две спирали, аккуратно вставленные друг в друга, одна центробежная, другая центростремительная, и двигаются обе одинаково медленно, – люди у картин и толпа, осаждающая буфет.

Но если приблизиться к этой по-парижски элегантной толпе – можно рассмотреть сияющее лицо Наимы, которая пьет шампанское с Камелем, хрупкий и величественный силуэт сидящего на стуле Лаллы, рядом Селину – она положила руку ему на плечо, как телохранитель, что пытается защитить от всех превратностей судьбы и в первую очередь от подгрызающего его рака. Можно разглядеть золотистые глаза Ифрена, который в неравном бою с французским консульством все же был вознагражден туристической визой, – он беседует с Элизой о городских фресках, хотя та с трудом понимает его из-за акцента, а вот и насмешливое лицо Соль, она опирается о столик буфета и смотрит на гостей, как на зверей в цирке, занятых своими трюками, – а самый ловкий, самый гибкий среди них, конечно же,

Кристоф, и поэтому так трудно его не заметить и никак не получается добраться до финальной точки, как ни хочется Наиме поставить ее в их романе, который все длится, хоть и хиреет.

Третья часть заканчивается так же, как началась, ведь Наима говорит себе, что это путешествие ее успокоило и она нашла кое-какие ответы на свои вопросы, однако написать на эту тему телеологический текст в стиле романов воспитания – это отдавало бы фальшью. Она никуда *не пришла* сейчас, когда я решаю закончить эту книгу, она в движении, она еще идет.

Благодарности

Ромену, стоявшему рядом со мной на палубе парома, когда на горизонте показался Алжир;

Сильвену Патьё и Пьеру Стиассу – за их разумные советы, исполненные энтузиазма;

Соль, никогда не упускавшей случая поговорить со мной о книге, которая еще не родилась;

Мари и Элизе, моим сестрам;

моей издательнице Аликс Пенан, шаг за шагом наблюдавшей за построением этой рукописи с верой и теплотой, превосходящими мои ожидания, и Эмме Соден – за время, потраченное на вылавливание малейших неточностей этого текста;

историкам Сильви Тено и Дидье Гиньяру, быстро ответившим на мои вопросы при всей их неуклюжести и обширности;

тем, кто сделал возможными и увлекательными мои поездки в Алжир: прежде всего Жану, а также Мехди, Хассену, Ламину, Арезки, Хасену и Кариму, Аззедину, Рафику, Фариде, Хадидже, Массинисе и наконец Беа и Рафаэлю, весело отплывшим со мной в июле 2013 года;

Бену, терпеливо сидевшему у камина, пока я читала ему вслух сотни страниц, которые он комментировал – иногда построчно, – с беспощадной точностью, но и всегда – с улыбкой.

Наконец, этот текст никогда не увидел бы свет, не будь бесценных работ социологов и историков, чьи книги сопровождали меня на всем протяжении моих поисков. Было бы слишком долго перечислять их всех, но я хочу сказать им здесь огромное, хоть и общее спасибо.

notes

Примечания

Цитата из сказки Альфонса Доде «Козочка господина Сегена», повествующей о том, как домашняя козочка рвалась в горы, на свободу, и убежала, несмотря на уговоры доброго хозяина господина Сегена; всю ночь она дралась там с волком, думая про себя: «Ах, только бы продержаться до рассвета...» – и на рассвете волк съел ее. – *Здесь и далее примеч. ред.*

Мишель Дельпеш (1946–2016) – французский певец, композитор и актер.

Абдельмалек Саяд (1933–1998) – французский социолог, много лет занимавшийся проблемой миграции. Родился в Алжире в арабской семье, после обретения Алжиром независимости уехал во Францию.

Деи Алжира – наместники турков, управлявшие Алжиром с 1671 по 1830 г. В 1830 г. проиграли войну за Алжир французской армии. История с веером претендует на историческую достоверность и изложена в Википедии.

Эмир Абделькадер (Абд аль-Кадир бен Мухиеддин; 1808–1883) – боец за независимость Алжира, богослов, поэт и полководец, национальный герой Алжира.

6

Кабилля – область на севере совр. Алжира.

Восстание Мукрани, также известное на местном уровне как Французская война, вспыхнуло 16 марта 1871 г. и было крупнейшим восстанием против французской колониальной власти в Алжире со времени его завоевания в 1830 г. Взбунтовалось более 250 племен, то есть около трети населения страны. Его возглавляли кабилы (один из берберских народов), которыми командовали шейх Мухаммед Мукрани, а после его смерти его брат Ахмед Бу Мезарг, а также шейх Хаддад, глава дервишского ордена Рахмания.

Уэд (или вади) – арабское название сухих долин в пустынях Аравии и Северной Африки; заполняются водой обычно после сильных ливней.

Таджмаат – площадь собрания мужчин, расположенная в центре села (*араб.*)

Ахмед *Мессали Хадж* (1898–1974) – алжирский политик. Был близок к коммунистам, потом – к националистам; борец за независимость Алжира.

В ночь на 1 ноября 1954 г. началась война за независимость Алжира. Отряды повстанцев атаковали ряд французских объектов. Этот день во Франции называют Красным, или Кровавым, днем всех святых, так как 1 ноября празднуется католический День всех святых.

Столкновения местных жителей с европейцами в Сетифе в 1945 г. унесли порядка 100 жизней. В ответ французы провели карательную операцию, известную как Сетифская резня. Ее жертвами, как предполагают, стали от 6 до 8 тысяч местных жителей. Алжирский президент Абдель Азиз Бутефлика назвал Сетифскую операцию 1945 г. началом геноцида алжирского народа.

Жак Вержес (1925–2013) – французский адвокат, защищавший в 1950-е годы алжирскую террористку Джамили Бухиред, обвиненную в подготовке взрывов в кафе. Позднее прославился выступлениями в защиту террористов и военных преступников. Стал известен под прозвищем «Адвокат дьявола». «Адвокат террора» снят в 2007 г.

Крупнейшая военно-морская операция в Средиземноморье: речь идет о высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Южной Франции 15 августа 1944 г.

Амин – старшина селения (*араб.*).

Крим Белкасем (1922–1970) – алжирский борец за независимость и политический деятель, министр обороны Алжира (в изгнании; 1958–1960), министр иностранных дел (в изгнании; 1960–1961) и министр внутренних дел Алжира (в изгнании; 1961–1962).

STEN (акроним по именам разработчиков) – британский пистолет-пулемет, созданный в 1941 г. Находился на вооружении английской армии до начала 1960-х годов.

Си Моханд оу-Мханд н Ат Хмадуш, также известный как Си Мханд (ок. 1848–1905) – берберский поэт, уроженец Кабилии; во Франции его называли кабийским Верленом.

Рене Коти (1882–1962) – президентом Франции в 1954–1959 гг.; его сменил на этом посту Шарль де Голль.

Марсель Бижар (1916–2010) – французский военный и политический деятель, принимавший участие в войне в Индокитае и Алжирской войне.

Гомер «Одиссея», песнь XII. Перевод В. А. Жуковского.

Бог из машины (*лат.*) – выражение, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора.

Уэд-Иссер – река в Алжире, впадающая в Средиземное море.

Гражданская война в Алжире («Черное десятилетие», «Десятилетие террора», «Годы свинца», «Годы огня») – вооруженный конфликт между правительством Алжира и исламистскими группировками 1991–2002 гг.

Ниже описан эпизод Алжирской войны, известный как «Засада Палестро». Палестро – город примерно в 60 км от Алжира – столицы государства Алжир; не путать с итальянской коммуной Палестро.

Улед-Джерра – деревня в Кабилии.

«*Майкл Коллинз*» – военная драма ирландского режиссера Нила Джордана (1996).

Баб-эль-Уэд – коммуна в г. Алжир. Расположена к северу от центра города, на берегу залива.

Знаменитые французские актеры 1950–1960-х годов.

Улемы (алимы) – собирательное название знатоков теоретических и практических сторон ислама.

Из стихотворения Луи Арагона «Песня, чтобы забыть Дахау».

План Константина вступил в силу 3 октября 1958 г. после выступления де Голля в алжирском городе Константин. Был направлен на скорейшую индустриализацию Алжира, чтобы удержать его в составе Франции. План, как известно, не удался.

План ведения боевых действий назначенного при де Голле командующего войсками в Алжире генерала Мориса Шалля.

Здесь имеется в виду не знаменитый парижский театр Гранд-Гиньоль, закрывшийся в 1962 г., а кукольный театр гиньоль, в котором присутствовала кукла злого алжирца.

Гамаль Абдель *Насер* (1918–1970) – египетский революционер, возглавивший в 1952 г. восстание против короля Фарука; с 1958 по 1970 г. президент Объединенной Арабской Республики.

Эвианские соглашения – соглашения, заключенные между Францией и Алжиром 18 марта 1962 г. в городе Эвиан-ле-Бен и положившие конец Алжирской войне.

Харки – военнослужащие из местных формирований алжирских мусульман (арабов и берберов), принимавшие участие в 1954–1962 гг. во время Алжирской войны в сражениях на стороне Франции против сепаратистов.

Рауль Альбен Луи *Салан* (1899–1984) – французский генерал, ветеран двух мировых войн. Командующий французской армией в Индокитае, а затем в Алжире. Став на сторону франко-алжирского населения, Салан создал подпольную организацию ОАС, поставившую своей целью недопущение отделения Алжира от Франции.

Секретная вооруженная организация (ОАС – фр. *Organisation de l'Armée Secrète*) – ультраправая подпольная националистическая террористическая организация, действовавшая на территории Франции, Алжира и Испании в завершающий период Алжирской войны (1954–1962). Первоначально выступала против предоставления Алжиру независимости, а после подавления французскими властями путча ОАС в Алжире в апреле 1961 г. выступила за свержение республиканского строя во Франции и установление военно-фашистской диктатуры. Девиз организации – «Алжир принадлежит Франции – так будет и впредь». Организация была основана в Мадриде в феврале 1961 г. в ответ на референдум 8 января 1961 г. о самоопределении Алжира, объявленный генералом де Голлем.

Репортаж об условиях жизни алжирских беженцев в Жуке, департамент Буш-дю-Рон.

Трамонтана – холодный северный и северо-восточный ветер.

Хайек – традиционная одежда женщин в странах Магриба, изготавливается из прямоугольного куска ткани и покрывает все тело; обычно белого цвета.

Термин, введенный Жаном Фурастье в 1979 г. по аналогии с «Тремя славными днями» (27–29 июля) Июльской революции 1830 г. для обозначения периода с 1946 по 1975 г., когда в развитых капиталистических странах (главным образом членах Организации экономического сотрудничества и развития) произошли столь значительные экономические и социальные изменения, что в западноевропейских странах и Японии, с сорокалетним отставанием от США, сформировалось общество потребления (во Франции уровень жизни стал одним из самых высоких в мире).

Зауя – здесь: «святое место» (араб.).

Штурмовой отряд, созданный в 1959 г. во время Алжирской войны, получивший название по имени командира – капитана Жоржа Грийо. В нем служили бывшие бойцы Фронта национального освобождения Алжира. Первые добровольцы этого отряда прибыли прямо из тюрем.

Ахмед *бен Белла* (1916–2012) – деятель алжирского национально-освободительного движения, первый президент Алжира (1963–1965), часто рассматриваемый как «отец алжирской нации».

Здесь: совершенно обязательных (*лат.*).

Большой праздник с жертвоприношениями у мусульман, называемый также малым байрамом.

Военная драма режиссера Рашида Бушареба (2006), в России известна под названием «Патриоты»; действие происходит в 1943 г., герои – алжирцы, присоединившиеся к французской армии для борьбы с врагом.

На набережной Бранли в Париже находится Музей традиционного (примитивного) искусства Азии, Африки, Океании и Америки имени Жака Ширака.

По четвергам во французских школах нет занятий.

Хуари Бумедьен (1932–1978) – крупный государственный деятель Алжира. Был партизаном и одним из командиров Фронта национального движения. В 1965 г. возглавил военный переворот, свергнув утратившего популярность президента Ахмеда бен Беллу. Стал первым председателем Революционного совета Алжира, а затем и Совета министров (1965–1976), второй президент Алжира (1976–1978). Видный деятель движения неприсоединения.

Умм Кульсум (1904–1975) – египетская певица, исполнявшая народные арабские песни. Была очень популярна в арабском мире.

Курица, тушеная с оливками.

Анжанетт Комер (род. 1939) – американская актриса; здесь, скорее всего, имеется в виду вестерн «Аппалуза» (1966) с Марлоном Брандо в главной роли.

Разговение, вечерний прием пищи во время рамадана.

времена меняются (*искаж. англ.*).

Minute («Минута») – основанный в 1962 г. французский сатирический еженедельник крайне правой направленности.

Имеется в виду алкогольный коктейль «Эль Дьябло» на основе текилы и черносмородинового ликера, довольно крепкий.

Смесь специй в североафриканской кухне.

Имеются в виду четверо братьев Далтонов, сперва ограбивших банк в Нью-Йорке, а потом подавшихся на Дикий Запад и прославившихся там как бандиты, – популярные персонажи американского фольклора и герои вестернов.

Пьер Бурдьё (1930–2002) – французский социолог, этнолог, философ и политический публицист, один из наиболее влиятельных социологов XX века.

Международная неправительственная некоммерческая организация, основанная во Франции в 1939 г. и занимающаяся проблемами мигрантов, беженцев и перемещенных лиц. С июня 2013 г. президентом «Симад» является Женевьева Жак, генеральный секретарь ассоциации в 1990-е годы.

Ларба Натх Иратен – город в провинции Тизи-Узу, в центре Кабилии, Алжир, ранее известный как Форт-Националь.

Имеется в виду Парижский погром, расправа с демонстрацией алжирцев против войны в Алжире 17 октября 1961 г. В демонстрации принимали участие около 30 тысяч человек. Многие демонстранты погибли, когда полиция целенаправленно прижала их к берегу Сены, некоторых избивали до потери сознания и сбрасывали в реку. Этой позорной странице истории Франции посвящен фильм Михаэля Ханеке «Скрытое» (2005).

Жорж Марше (1920–1997) – французский политический деятель. С 1972 по 1994 г. – генеральный секретарь Французской коммунистической партии; с 1973 по 1997 г. – депутат Национального собрания Франции.

Сабр – в исламе терпение при исполнении религиозных обязанностей, воздержании от запретного, упорство в Священной войне, благодарность и т. д. Коран предписывает мусульманам быть терпеливыми и стойко переносить все тяготы жизни. Только терпеливые могут добиться успехов в обоих мирах, и заслужить милость Аллаха.

Палимсест – рукопись, написанная на писчем материале после того, как с него счищен прежний текст.

Здесь: «проклятие» (*араб.*).

Эмиль Мишель Чоран (1911–1995) – румынский и французский мыслитель-эссеист. Родился в Румынии, но с 1937 г. жил в Париже, с 1942 г. с Симоной Буэ. Чоран в своих письмах или интервью никогда не говорил о своих отношениях с Буэ.

Канун – закон (араб.).

«*Плавающий остров*» (île flottante) – французское десерт, состоящий из меренги и английского крема.

Митиджа – плодородная равнина на севере Алжира, между Атласом и Сахелем, на юг от города Алжира; сельскохозяйственный центр страны.

Перевод Вяч. Вс. Иванова.

Нобуёси *Араки* (род. 1940) – знаменитый японский фотохудожник. Его фотосерия с изображениями обнаженных молодых женщин, связанных веревками, иногда подвешенных на деревьях, обошла весь мир.

Curriculum vitae – подробное описание профессионального пути человека с элементами автобиографии.

Франц Омар *Фанон* (1925–1961) – франкоязычный вест-индский революционер, социальный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в странах Третьего мира.

Эдуар *Глиссан* (1928–2011) – мартиникский писатель, поэт и литературный критик. Считается одним из самых влиятельных карибских писателей. В своих работах поднимал вопрос постколониальной идентичности и теории культуры.

Мохаммед Мера (1988–2012) – террорист, совершивший с 11 по 19 марта 2012 г. в Тулузе и Монтобанае два нападения на французских военных и одно на еврейскую школу.

Террористический акт в редакции журнала «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo – «Еженедельник Шарли») произошел 7 января 2015 г. в Париже. В результате нападения вооруженных исламских боевиков погибло 12 человек, ранено 11. Главные подозреваемые в совершении террористического акта братья Саид и Шериф Куаши 9 января были уничтожены французскими силовиками в ходе спецоперации. Ответственность за теракт взяли на себя боевики террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (эта организация признана террористической и запрещена на территории России). О причастности к произошедшему также заявили в террористической организации «Исламское государство» (эта организация признана террористической и запрещена на территории России). Террористический акт в редакции стал началом череды нападений во Франции в период с 7 по 9 января 2015 г. Всего жертвами январских терактов стали 17 человек: 14 гражданских и 3 полицейских.

Террористические акты в Париже произошли поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 г. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан» (где около 100 человек были захвачены в заложники). Сто тридцать человек погибли и более чем 350 ранены, 99 из них находились в критическом состоянии. Жертвами стали в основном молодые люди 20–30 лет. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самым масштабным нападением на Париж со времен Второй мировой войны. В стране, всего лишь четвертый раз за ее историю, было введено чрезвычайное положение. В предыдущий раз подобный режим во Франции вводили в 2005 г. после волны беспорядков во французских городах. По числу жертв это также крупнейшее нападение в Европе со времени взрывов в Мадриде в 2004 г. Группировка «Исламское государство» (эта организация признана террористической и запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за нападения, назвав их «11 сентябряпо-французски».

Не от моего имени *(англ.)*.

Теракт в Национальном музее Бардо произошёл 18 марта 2015 года в Тунисе. Ответственность за теракт сразу после его совершения взяла на себя группировка «Исламское государство Ирака и Леванта», однако позже стало известно о причастности к атаке Аль-Каиды (организации признаны террористическими и запрещены на территории России).

Лалла Фатма Н'Сумер (1830–1863) – национальная героиня алжирского народа; во время завоевания Алжира Францией участвовала в боях против французов, попала в плен и умерла, как считается, от тоски. Фатма – берберский вариант произношения арабского имени Фатима. Н'Сумер – прозвище, происходит от названия деревни, в которой она жила. Во время восстания вместе с братом возглавляла отряд добровольцев из деревень Джурджура – горного района на севере Алжира.

М'хамед Иссиахем (1928–1985) – художник, один из основоположников модерна в алжирской живописи.

Катеб Ясин (1929–1989) – выдающийся алжирский поэт, писатель и драматург, один из основоположников всей алжирской литературы.

Исламский фронт спасения – исламистская политическая партия в Алжире, активный участник гражданской войны. В 1991–1992 гг. ИФС едва не пришел к власти на парламентских выборах, но они не были завершены из-за военного переворота. В настоящее время партия запрещена.

Лунис Айт Менгелет (род. в 1950) – известный алжирский певец. Поет на кабийском диалекте берберского языка.

Рене Вотье (1928–2015) – французский кинорежиссер. Снимал, в частности, фильмы о французском колониализме в Африке и Алжирской войне.

«*Битва за Алжир*» (1966) – историческая кинодрама итальянского режиссера Джилло Понтекорво, основанная на реальных событиях войны за независимость Алжира от французского правительства. Фильм снят в традициях итальянского неореализма по мотивам книги Саади Ясефа, одного из лидеров Фронта национального освобождения, который выступил в качестве продюсера и исполнителя одной из главных ролей. Удостоена высшей награды Венецианского кинофестиваля – «Золотого льва». При этом был долгое время запрещен во Франции.

Самый популярный французский толковый словарь.

клянусь богом (*араб.*).

запретный (*араб.*).

Le Nouvel Observateur или L'Obs (фр. «Новый обозреватель») популярный французский еженедельный журнал.

Фадела Амара (урожд. Фатиха Амара; род. 1964) – французская феминистка и политик. Начала свою политическую карьеру как защитница женщин в бедных пригородах. Была государственным секретарем по городской политике в консервативном правительстве премьер-министра Франции Франсуа Фийона (2007–2010).

Рашида Дати (род. 1965) – французский политик, министр юстиции с 18 мая 2007 г. по 23 июня 2009 г. Первая арабская женщина во французском правительстве. Имеет французское гражданство и марокканское подданство.

Наджда Валло-Белкасем (род. 1977) – французский политик марокканского происхождения. Министр по правам женщин (2012–2014), министр национального образования (2014–2017; первая женщина на этой должности).

«Приключения Тинтина» – один из популярнейших европейских комиксов XX века бельгийского художника Эрже. *Дюпон и Дюпон* – два пародийных персонажа-полицейских.

Операция «Часовой» – французская военная операция с участием 10 тысяч солдат и 4700 полицейских и жандармов, развернутая после нападений на Иль-де-Франс в январе 2015 г. с целью защиты уязвимых «точек» территории от терроризма.

Уэд-Шендер – река в Алжире, один из притоков большой реки Уэд-Иссер.

Женские тапочки.

Традиционная берберская одежда, длинный халат с пышными рукавами и остроконечным капюшоном, распространенная среди мужчин и женщин арабоязычных стран Средиземного моря, в основном североафриканских.

Фильм Клода Берри 1986 г., экранизация романа Марселя Паньоля.

все (*англ.*).

Дэ́мьен Хёрст (род. 1965) – известный британский художник и коллекционер, принадлежавший к знаменитой группе «Молодые художники Британии».

У вас нет (*англ.*).

Элизабет Бишоп (1911–1979) – американская поэтесса, эссеист, переводчица и педагог.

Перевод Вяч. Чистякова

доченька моя, детка, деточка (*араб.*); ласковое обращение к младшим.